Бунин

БЕЗ ГЛЯНЦА

ПРОЕКТ ПАВЛА ФОКИНА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Бунин — осколок великой традиции — одним из первых в «железном» веке нашел художественный ответ времени безразличия и беспредела. Затертый в смуте между грозными течениями друзей и врагов, он высился одинокой вершиной, с виду почти «ледяной», но внутри готовой превратиться в вулкан.

Книга продолжает серию документальных повествований о русских писателях XIX—XX веков.

- Бунин без глянца
  -
  - Свой среди чужих, чужой среди своих
  - Личность
    - Облик
    - Характер
    - Творчество
    - Хранитель языковых традиций
    - Мировосприятие
    - Вера
    - Политические взгляды и убеждения
    - Своеобразие ума и мышления
    - Особенности поведения
    - Собеседник
    - Рассказчик
    - Острослов
    - Привычки, пристрастия, страхи
    - Донжуан
    - Любимые блюда и напитки
    - Путешественник
    - Сын
    - Муж
    - С детьми
  - Семья
    - Предки
    - Отец
    - Мать
    - Старший брат
    - Брат
    - Сестра
    - Сын Коля от первого брака с Анной Николаевной Цакни
    - Жена

- Жизнь
  - Детство. Отрочество
  - В Елецкой гимназии
  - Юность. Начало творчества
  - Любовный омут
  - Томление
  - Неудачный брак
  - «Деревня»
  - 1907. По Святой земле
  - «Слишком юный академик»
  - 1911. Египет. Цейлон
  - «Готическая болезнь». Европейские впечатления
  - «Среда»
  - 1917–1919. Окаянные дни
  - 1920. Исход
  - Грасский дневник
  - Последняя любовь
  - «Жизнь Арсеньева»
  - Prix Nobel
  - Париж. «Яшкинская улица»
  - Война. Грасский дневник–2
  - «Темные аллеи»
  - В послевоенном Париже
  - Угасание
- Краткая летопись жизни и творчества И. А. Бунина
- Библиография

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17

- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20

Бунин без глянца
Сост. Павел Фокин и Лада Сыроватко

© Фокин П., составление, вступительная статья, 2009
© Сыроватко Л., составление, 2009
© Оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2009

* * *

Свой среди чужих, чужой среди своих

Чем дороже нам Бунин, тем труднее для нас становится изъяснить иностранцу, в чем заключается его значение и его сила… Мне горько не только оттого вообще, что до сих пор Нобелевская премия не дана русскому, но еще и оттого, что так трудно было бы объяснить европейскому литературному миру, почему именно Бунин достоин этой премии более, чем кто-либо другой.

Владислав Ходасевич

Бунин вошел в историю мировой литературы как первый русский (а точнее — русскоязычный, ибо в графе «гражданство» официально значилось: «без гражданства») лауреат Нобелевской премии. Звание сколь несомненное, столь и сомнительное. Нобелевская премия, как и всякая другая премия, достаточно условное мерило таланта и художественного дара, разве что более мифологизированное и разрекламированное. Но, скажем, кто и где сегодня знает имена Сюлли-Прюдома, Бьернсона, Эчегерай-и-Эйсагирре, Кардуччи, Эйкена, фон Хейденстама, Гьеллерупа, Шпиттелера, Деледды, Карлфельдта, Силланпяя (можно добавить сюда еще десятка полтора-два столь же экзотических даже для филолога имен)? А ведь все они нобелиаты! Каждый отмечен или «за выдающиеся литературные достоинства», или «за многочисленные заслуги», или «за многообразное поэтическое творчество». «За несравненный эпос». «За высокое мастерство». «За серьезные поиски истины, всепроницающую силу мысли, широкой кругозор, живость и убедительность». Или вот, как Харри Мартинсон, лауреат 1974 года, «За творчество, в котором есть все — от капли росы до космоса»!

Бунин — в *их* числе?

Конечно, можно вспомнить, что среди нобелевских лауреатов числятся Киплинг, Метерлинк, Тагор, Гамсун, Шоу, Томас Манн, Гессе, Фолкнер, Жид, Мориак, Хемингуэй, Камю, Сартр, Белль,

Кавабата, Беккет, Солженицын, Маркес (и этот список всем известных имен можно пополнить). Каждый образованный человек если не читал, то, по крайней мере, слышал об этих писателях. Они — золотой фонд мирового культурного наследия. Можно и без казенных формулировок догадаться, за что они отмечены престижной наградой и солидной суммой денег.

Бунин — в одном с *ними* ряду?

Пожалуй, понять место Бунина в искусстве было бы проще, если бы он остался без пресловутой награды (хотя с точки зрения биографической и исторической слава Богу, честь и хвала шведским академикам, что поддержали в бедственную минуту жизни замечательного русского художника, а вместе с ним и всю русскую эмиграцию, нищую, бездомную, кинутую на произвол судьбы, униженную и оскорбленную). Еще Пушкин сказал, что художника нужно оценивать по законам, им самим провозглашенным. И уж точно — не по чужеземным премиям!

Младший современник Льва Толстого, Тургенева и Чехова, Бунин унаследовал от них традиции реалистической эстетики. Жизнь человека предстает в его произведениях во всей полноте красок, звуков, событий — повседневных забот и подвигов, хозяйственных трудов и праздников, страстей, страданий, сомнений и побед. Наедине с природой и в сутолоке города. В часы любовного опьянения и на краю гроба. Его глаз был зорок и наблюдателен, его ухо — чутко и внимательно. Язык его произведений обилен и щедр.

Бунин дружил с Куприным и Горьким. Любил доброжелательный круг московских литераторов-реалистов, многие годы с охотой посещал «Среды» Д. Телешова, где общался с Н. Златовратским, Б. Зайцевым, Л. Андреевым, В. Вересаевым, А. Серафимовичем, С. Найденовым, И. Шмелевым, С. Голоушевым… В их кругу Бунин чувствовал себя «среди своих». Его здесь любили, приветствовали и восхищались. Долгие годы это была поистине *его* среда.

Напротив, напряженно складывались его отношения с лагерем модернистов. Хоть и пробовал печататься в «Весах», и даже издал сборник стихов в «Скорпионе», но с В. Брюсовым контакта не нашел. Неприязненно отзывался и о Бальмонте. Чуждыми оказались А. Блок и Андрей Белый. Скептически смотрел на Н. Гумилева и его «Цех поэтов». Представители авангардных направлений тоже не вызывали симпатии. Если символисты (и выросшие из них акмеисты), на его взгляд, были слишком искусственными и книжными, то футуристы — чересчур уличными и грубыми. Всякое отклонение от правды жизни воспринимал он если не как кощунство, то по меньшей мере как

дурной тон. Экспериментов в искусстве Бунин не признавал. Подчеркнуто выставлял себя последним классиком русской литературы.

Таковым в конце концов его все и признали…

Господь даровал Бунину долгий век, судил жить в эпоху глобальных перемен. Он родился в один год с Лениным, умер спустя несколько месяцев после смерти Сталина. Видел гибель Российской империи, наблюдал за рождением Советской России. На его глазах возникали тоталитарные режимы. «Металися смятенные народы». Человечество изощряло свой интеллект в создании различных средств самоистребления, одновременно скатываясь к нравам дикого варварства: отравляющие газы, танки, боевая авиация, реактивное и ядерное оружие, ГУЛАГ, Освенцим, Бухенвальд и Дахау — не болезненные *видения* Раскольникова и Достоевского, которого Бунин не жаловал именно за «болезненность» его воображения, а *газетные новости*, повседневная реальность, безжалостный факт.

«Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что будет через двадцать — тридцать — сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пытать муравьями, клопами, загонять раскаленный на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом половые части, а в виде самого легкого — пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо, — ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом», — утверждал в «Архипелаге ГУЛАГ» младший современник Бунина Александр Солженицын.

Но Бунин с ума не сошел.

«Да не только чеховские герои, — продолжал свою мысль Солженицын, — но какой нормальный русский человек в начале века, в том числе любой член РСДРП, мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее? То, что еще вязалось при Алексее Михайловиче, что при Петре уже казалось варварством, что при Бироне могло быть применено к 10–20 человекам, что совершенно невозможно стало у Екатерины, — то в расцвете великого двадцатого века в обществе, задуманном по социалистическому принципу, в годы, когда уже летали самолеты, появилось звуковое кино и радио, — было совершено не одним злодеем, не в одном потаенном месте, но десятками тысяч специально обученных людей-зверей над беззащитными миллионами жертв».

Бунин мог поверить.

Более того, знал и предупреждал. В отличие от своего старшего брата Юлия, народника и прогрессиста, никогда не был «чеховским интеллигентом». На своих соотечественников смотрел он трезвым взглядом. Его повесть «Деревня» вызвала шок и упреки в очернительстве (как сказали бы советские критики). Но не только «Деревня», вся бунинская проза довоенного периода не знает компромиссов с интеллигентской мифологией о народе. В интервью «Московской газете» 23 июля 1912 года Бунин говорил: «У нас, несмотря на целые общественные и литературные полосы, касавшиеся самых недр народной жизни, в сущности, русская интеллигенция поразительно мало знает свой народ».

Он видел жестокость, косность, хамство и бессмысленность жизни русской деревни. Мужика и помещика, простолюдина и аристократа, обывателя и артиста, революционера-подпольщика и царя-батюшки — до революции вся Россия, включая Москву и Петербург, оставалась по сути своей деревней (вспомним пушкинский эпиграф к главе «Евгения Онегина»)[1]. 7 октября 1917 года, за две недели до окончательного краха России, Бунин записал в дневнике: «Думал о своей „Деревне“. Как верно там все! Надо написать предисловие: будущему историку — верь мне, я взял типическое».

Но как, откуда?

С детства он был заворожен таинством смерти. Мемуаристы говорят: боялся. Скорее — не мог смириться с ней, бунтовал, возмущался: «Жизнь нам Господь Бог дает, а отнимает всякая гадина». Смерть, точнее ее физическое проявление, была ему отвратительна. Возмущался обрядами: «Умер человек и как можно быстрее его увезти. Я хотел бы, чтобы меня завернули в холст и отправили в Египет, а там положили бы в нишу на лавку и я высох бы. А в землю — это ужасно. Грязь, черви, ветер завывает». На похороны ходил крайне редко (даже не простился с матерью и отцом). Смерти не принимал. Не понимал.

И не мог оторвать взгляда, переключить сознание: «Я именно из тех, которые, видя колыбель, не могут не вспомнить о могиле. Поминутно думаю: что за странная и страшная вещь наше существование — каждую секунду висишь на волоске!» Перед лицом смерти острее чувствовалась божественная красота мира и убожество человеческого образа жизни. Человек как субъект экономической деятельности, как юридическое лицо, как член социума в суетных потугах обогатиться, выслужиться, заявить свое право, обогнать, обворовать, покорить и унизить, лицемерящий в семье и в храме, тайно бесстыдный и

беспринципный, равно как и человек духовный, образованный, воспитанный, добропорядочный и честный, исправный налогоплательщик, гражданин и патриот, готовый сложить голову «за веру, царя и Отечество», служитель муз или просто «добрый парень» обречены сойти на нет, умолкнуть, застыть, истлеть — а звезды будут светить, а ветра — дуть, а море — катить свои волны. Как и сто, и тысячу, и миллион лет назад. Бунин всеми органами ощущал силу мира и — наше/свое бессилие. Калейдоскоп истории, завертевшийся перед глазами в бешеном круговороте, непрерывное странствие по свету, бессчетные встречи и расставания усугубили это чувство. На самом деле пугала не смерть, а бессмысленность жизни. Не только российской.

Абсурд бытия и непостижимый порядок жизни открылись Бунину очень рано. Он не сразу подобрал ключ к их изображению, но, когда им овладел, заговорил так, как никто из его современников. В его прозе появилась безжалостная *зеркальность*: мир предстал одномоментно и детально, но (и только!) в пределах рамы. Шаг в сторону — и ничего нет.

Было ли?

Есть. И пребудет вовеки. Исчезнет лишь тот, кто выйдет из угла отражения, ушедший вдаль — останется в *глубине* перспективы. Такой системы координат русская литература до Бунина не знала. Мир классической литературы располагался *по вертикали*, между небом и землей, раем и адом. Мир Бунина *лежит* перед ним и позади — даже когда он смотрит на звезды. Там нет добра и зла, есть только жизнь и смерть — изобильная жизнь и ненасытная смерть.

Герой рассказа «Чаша жизни» (1913) с говорящей фамилией Горизонтов, человек необычной внешности и склада ума, который «далеко мог бы пойти», прожив вопреки тому размеренную жизнь гимназического учителя, отправляется в финале из родного Стрелецка в Москву:

«— И в Москву, конечно, по делам?

— По делам, — сказал Горизонтов. — Веду переговоры с анатомическим театром Московского императорского университета. Московский императорский университет, получив от меня мою фотографическую карточку во весь рост и предложение купить после смерти моей мой костяк, ответил мне принципиальным согласием.

— Как? — с изумлением воскликнул господин в очках. — Вы продаете собственный скелет?

— А почему бы и нет? — сказал Горизонтов. — Раз эта сделка увеличивает мое благосостояние и не наносит мне никакого

ущерба?

— Но позвольте! — перебил господин в очках. — И вам не странно… да скажу даже — не жутко совершать подобную сделку?

— Ничуть, — ответил Горизонтов. — Надеюсь, что Московскому императорскому университету придется еще не скоро воспользоваться своим приобретением. Надеюсь, судя по тому запасу сил, который есть во мне, прожить никак не менее девяноста пяти лет.

В окне, куда поглядывал он, отвечая, уже отражалась свеча, горевшая в вагонном фонаре, и, отражаясь, как бы висела в воздухе за окном. Проходили мимо косогоры в зеленых хлебах, низко висело над ними облачное небо. Гудело жерло вентилятора, говорили и смеялись в вагоне… А там, в Стрелецке, на его темнеющих улицах, было пусто и тихо. На лавочке возле хибарки сапожника сидел квартировавший у него Желудь, гнутый старичок в кумачной рубашке, и напевал что-то беззаботное. Лежал в своем темном доме уже давно не встающий с постели, седовласый, распухший, с запавшими глазами о. Кир. Дворянин Хитрово был трезв и осторожно ходил за своим гордоном, с ружьем наперевес, по мокрым овсам возле кладбищенской рощи, выпугивая перепелов и наугад стреляя в сумрачный воздух, в мелкий дождь. Вечным сном спали в кладбищенской роще Александра Васильевна и Селихов — рядом были бугры их могил. А Яша работал в своей часовне над склепом купца Ершова. Отпустив посетителей, весь день плакавших перед ним и целовавших его руки, он зажег восковой огарок и осветил свой засаленный халатик, свою ермолку и заросшее седой щетинкой личико с колючими, хитрыми-прехитрыми глазками. Он работал пристально: стоял возле стены, плевал на нее и затирал плевки сливами, дарами своих поклонниц».

Бунин — первый русский писатель-экзистенциалист, нашедший верный художественный ответ наступавшему веку безразличия и беспредела, где все равны — где все равно. Не понятый друзьями-реалистами, не признанный противниками-модернистами, отмеченный европейскими интеллектуалами как *национальный* писатель, «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы», он высился среди них одинокой вершиной — то ли московским Иваном Великим, то ли альпийским Монбланом.

Ледяная ночь, мистраль
(он еще не стих).

Вижу в окнах блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да Бог.
Знает только Он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю…
Холод, блеск, мистраль.

Павел Фокин

Личность

Облик

Вера Николаевна Муромцева-Бунина *(1881–1961), вторая жена И. А. Бунина, автор мемуаров «Жизнь Бунина», прожила с ним более сорока шести лет (с 1907 года):*

С едва пробивающимися усиками ‹…› тонкое лицо с красивым овалом, большие, немного грустные глаза под прямыми бровями. Волосы густые, расчесаны на пробор. Одет в мягкую рубашку, галстук широкий, длинный; однобортный пиджак застегнут на все пуговицы. По рассказам, глаза его были темно-синие, румянец во всю щеку. Сразу было видно, что он из деревни, здоровый юноша [35, 93].

Иван Алексеевич Бунин, *в пересказе А. Седых:*

Были у меня романтические глаза, такие синие, мечтательные. И нежный пушок на щеках, так что меня иногда принимали за молодого еврея. Галстук носил я атласный, двойной, пушкинского времени [43, 192].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Художник Пархоменко, живший в ту пору (в 1891 г. — Сост.) в Орле, рассказывал мне при знакомстве, что у Ивана Алексеевича были очень красивые густые волосы и что ему хотелось его писать [35, 124].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Остался портрет, снятый в Полтаве в 1895 году. ‹…› Иван Алексеевич сильно изменился: стал носить пышные усы, бородку. Крахмальные высокие с загнутыми углами воротнички, темный галстук бабочкой, темный двубортный пиджак. На этом портрете у него прекрасное лицо, поражают глаза своей глубиной и в то же время прозрачностью [32, 128].

Викентий Викентьевич Вересаев *(настоящая фамилия Смидович, 1867–1945), писатель, мемуарист:*

Худощавый, стройный блондин, с бородкой клинышком, с изящными манерами, губы брюзгливые и надменные, геморроидальный цвет лица, глаза небольшие. Но однажды мне пришлось видеть: вдруг глаза эти загорелись чудесным синим светом, как будто шедшим изнутри глаз, и сам он стал невыразимо красив [20, 453].

Николай Дмитриевич Телешов *(1867–1957), прозаик,*

организатор литературно-художественного кружка «Среда», многолетний друг и корреспондент И. А. Бунина:

Высокий, стройный, с тонким, умным лицом, всегда хорошо и строго одетый [52, 40].

Борис Константинович Зайцев *(1881–1972), писатель, многолетний друг Бунина:*

Он сидел за стаканом чая, под ярким светом, в сюртуке, треугольных воротничках, с бородкой, боковым пробором всем теперь известной остроугольной головы — тогда русо-каштановой — изящный, суховатый, худощавый [23, 277].

Андрей Белый *(1880–1934) поэт, прозаик, мемуарист, теоретик символизма:*

Желчный такой, сухопарый, как выпитый, с темно-зелеными пятнами около глаз, с заостренным и клювистым, как у стервятника, профилем, с прядью спадающей темных волос, с темно-русой испанской бородкой, с губами, едва дососавшими свой неизменный лимон [9, 252–253].

Борис Константинович Зайцев:

«На половине странствия нашей жизни», лет в тридцать пять, был он изящен, тонок, горд, самоуверен [22, 397].

Валентин Петрович Катаев *(1897–1986), писатель, в 1914–1918 встречался с Буниным в Одессе:*

[1910-е] Перед нами предстал сорокалетний господин — сухой, желчный, щеголеватый — с ореолом почетного академика по разряду изящной словесности. Потом уже я понял, что он не столько желчный, сколько геморроидальный, но это не существенно. ‹…›

Хорошо сшитые штучные брюки. Английские желтые полуботинки на толстой подошве. Вечные. Бородка темно-русая, писательская, но более выхоленная и заостренная, чем у Чехова. Французская. ‹…› Пенсне вроде чеховского, стальное, но не на носу, а сложенное вдвое и засунутое в наружный боковой карман полуспортивного жакета — может быть, даже в мелкую клеточку.

Крахмальный воротник — или, как тогда говорилось, воротнички — высокий и твердый, с уголками, крупно отогнутыми по сторонам корректно-лилового галстука, подобно уголкам визитных карточек из наилучшего бристольского картона [26, 12–13].

Георгий Аркадьевич Шенгели *(1894–1956), поэт,*

литературовед, переводчик:

Костистое, бледно-зеленое в свете ювелирной витрины лицо: слоновья крутая челюсть, плотно сжатые губы под щетинистыми подстриженными усами, большие, как бы невидящие, глаза.

Валентин Петрович Катаев:

[1912–1916] Бунин имел вид дачника, но не банального дачника-провинциала в соломенной шляпе, рубашке-апаш и парусиновых туфлях, Бунин был дачник столичный, изысканно-интеллигентный, в дорогих летних сандалиях, заграничных носках, в просторной, хорошо выглаженной холщовой рубахе с отложным воротником, со сложенным вдвое стальным пенсне в маленьком наружном карманчике, подпоясанный не пошлым шелковым шнуром с потрепанными кистями ‹…›, а простым, но тоже, видать, очень недешевым, кожаным поясом, за который он иногда, несколько по-толстовски, засовывал руки; шляпу не носил, а уж если особенно сильно припекало, то вдруг надевал превосходнейшую настоящую панаму, привезенную из дальних стран, или полотняный картуз из числа тех, которые летом носили Фет, Полонский [26, 51].

Николай Яковлевич Рощин *(настоящая фамилия Федоров, 1896–1956), писатель, журналист, около двадцати пяти лет с перерывами жил у Буниных в Грассе:*

[1919] Меня встретил высокий, слегка сутулый, сухощавый старик с приподнятым правым плечом, изможденным, до скорбности печальным, темным лицом, в черной шелковой шапочке, похожий на Анатоля Франса. Мы сидели в комнате за большим овальным полированным столом, он все кутался в плед, смотрел на меня своими серо-голубыми, безразлично-внимательными, усталыми глазами, глуховатым медленным голосом расспрашивал о друзьях и обо мне самом [40, 170].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника 1919 г.:*

Он сидел в своем желтом халате и шапочке, воротник сильно отставал, и я вдруг увидела, что он похож на боярина [54, 180].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника 1921 г.:*

Я зажег электричество, взглянул в зеркало: только некоторая сухость и определенность черт, серебристый налет на висках, несколько поблекший цвет глаз да многая душевная опытность отличает меня от прежнего — только это [31, 385].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника 1921 г.:*

20 мая/2 июня 1921. Звонок. Отворяю. Гиппиус. ‹…› Пили чай. К нам вышел Ян в зеленом халате.

— Настоящий Иоанн Грозный! — сказала она протяжно. ‹…›

Потом она стала рассматривать халат Яна, подкладку, и просить Яна, чтобы он надел его наизнанку. Ян вышел в другую комнату и вернулся весь красный.

— Вы настоящий теперь Мефистофель.

Зашла речь о том, что теперь красный цвет вызывает неприятное ощущение.

— Я теперь уже отошел, но в Одессе после большевиков красный цвет доставлял мне настоящие физические мучения, — сказал Ян, — этот халат был сделан еще в шестнадцатом году [55, 34–35].

Николай Яковлевич Рощин:

В тот субботний вечер гостеприимный хозяин (в 1924 г., П. А. Нилус. — Сост.) устроил праздничный ужин. ‹…› Точно в назначенное время, пропуская вперед сероглазую статную свою жену В. Н. Муромцеву, считавшуюся когда-то «первой московской красавицей», вошел самый знатный из гостей. Вошел — и сразу же просто, естественно и полно завладел вниманием всех. ‹…› Куда делись дряблые, обвисшие щеки, равнодушно-усталый взгляд, глухой голос! Я наслаждался всем видом этого моложавого, лишь слегка седеющего человека, его стройной, спортивно-подтянутой фигурой, необыкновенно выразительным тонким лицом — «лицом римского патриция», как принято было говорить о нем, — освещенным блеском умных живых глаз и улыбкой, то юношески-насмешливой, то ласковой и доброй, его сильным и теплым, «играющим» голосом и совершенно лишенной интеллигентской вычурности, меткой, хваткой, яркой, остроумной речью, от которой, как говорил Л. Андреев, «ломит щеки» [40, 171].

Ирина Владимировна Одоевцева *(1901–1990), поэт, прозаик, мемуаристка:*

Он был среднего роста, но держался преувеличенно прямо, горделиво закинув голову. И от этого или оттого, что он был очень строен, казался высоким.

Его красивое, надменное лицо выражало холодное, самоуверенное спокойствие, но светлые глаза смотрели зорко, пристально и внимательно и, казалось, замечали и видели все — хоть на аршин под землей [37, 229].

Томас Манн *(1875–1955), немецкий писатель, нобелевский*

лауреат 1929 г.:

Бунин именно таков, каким я его себе представлял: среднего роста, бритый, с резкими чертами лица, он производит впечатление человека скорее замкнутого, чем разговорчивого [32, 379–380].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова *(1904–1993), художница, ученица Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова, друг семьи Буниных:*

Осанка у него была барская, держался всегда прямо, даже когда опирался на палку. В своей всегдашней английской кепи, загорелый, походил он скорее на моряка, на капитана «дальних плаваний» и страстно любил путешествия ‹…› [32, 310].

Владимир Алексеевич Смоленский *(1901–1961), поэт:*

Одевался он под английского лорда. Было в нем что-то от героя Жюль Верна, от благородного и честного искателя [45, 257].

Василий Семенович Яновский *(1906–1989), публицист, врач:*

Бунин на собраниях или в гостиной был наряден и любезен. Тщательно выбритый, с белым лицом, седой, иногда во фраке, подчеркнуто сухой и подтянутый, дворянин, европеец [59, 313].

Серж Лифарь *(Сергей Михайлович Лифарь, 1905–1986), танцовщик, балетмейстер, педагог, теоретик балета, коллекционер:*

Иван Алексеевич был из породы «вечных лицеистов» — «франтов», — пускай он был богат или бедный. Его канотье был его любимый головной убор. Монокль на черной ленте, на шее «вечный» мотылек — его галстук. Трость в его руках была не нема — она тоже была инструмент искусства. Одежда проглажена, но брюки И. А. были всегда коротки — на вершок? А летом, как и Шаляпин, И. А. любил фланелевые белые [5, 141].

Галина Николаевна Кузнецова *(1900–1976), последняя любовь И. Бунина, романистка. Из дневника:*

7 июня 1927. Он сегодня в первый раз весь в белом, ему это очень идет, он очень сухощав и по-юношески строен [28, 23].

Борис Константинович Зайцев:

Грасс, свет, солнце, море… Иван в соломенном канотье, белой рубашке с короткими рукавами, в белых панталонах и

туфлях белых на босу ногу…

Иван не купается. Просто сидит на берегу, у самой воды, любит море это и солнечный свет. Набегает, набегает волна, мягкими пузырьками рассыпается у его ног — он босой теперь. Ноги маленькие, отличные. Вообще тело почти юношеское.

Засучивает совсем рукава рубашки.

— Вот она, рука. Видишь? Кожа чистая, никаких жил. А сгниет, братец ты мой, сгниет… Ничего не поделаешь.

И на руку свою смотрит с сожалением. Тоска во взоре [22, 338–339].

Ирина Владимировна Одоевцева:

У него узкие, аристократические ноги, и он, как он сам не раз признавался, гордится ими. «По рукам и ногам порода видна» [37, 270].

София Юльевна Прегель *(1897–1972), поэт, редактор и издатель журнала «Новоселье» (1942–1950):*

Меня поражала способность Ивана Алексеевича преображаться. Вспоминаю Beausoleil над Монте-Карло, где незадолго до Второй мировой войны жили Бунины. Пасхальный стол с недоеденным куличом и обезглавленной сырной пасхой, несколько сине-красных яиц. За столом Бунин в каком-то странном одеянии говорит со мной об Одессе. Дальше все, как во сне: Бунин уходит к себе, мы остаемся, продолжаем домашний разговор, и вот, неожиданно для всех, появляется Иван Алексеевич. Он в светло-сером костюме, в петлице у него белая гвоздика. Морщин как не бывало. Он полон неистребимой молодости. Сейчас Бунин спустится в Монте-Карло. Он загадочно улыбается, и всем становится весело [32, 353].

Георгий Викторович Адамович *(1892–1972), поэт, литературный критик:*

С возрастом он стал красивее и как бы породистее. Седина шла ему, шло и то, что он сбрил бороду и усы. Появилось в его облике что-то величавое, римско-сенаторское, усиливавшееся с течением дальнейших лет [3, 112].

Владимир Пименович Крымов *(1878–1968), авантюрист, предприниматель, издатель первого в России «журнала красивой жизни» «Столица и усадьба» (1913–1917):*

Бунин постарел, но по-прежнему красивый мужчина. Совсем бритый, совсем Будда. Во всяком случае, мэтр. Так себя и держит [27, 201].

Никита Алексеевич Струве *(род. 1931), публицист, профессор русской литературы, директор издательства «ИМКА-Пресс», внук П. Б. Струве:*

Иван Алексеевич производил сильное впечатление. Чем? Своей скульптурной силой. В нем была какая-то отточенность. ‹…› Весь его облик был внешне неподвижным, что-то в нем было такое именно статуарное… Он казался каким-то холодным, замороженным [51, 41–42].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова *(1904–1993), художница (псевд. Loguine), ученица Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова. Примыкала к так наз. «Парижской школе». В эмиграции с 1920 г. Друг семьи Буниных:*

Лицо Бунина описать трудно. Все черты его лица были подвижны. Складки около глаз, морщины продольные на лбу, немного отвисшие щеки, раздвоенный волевой подбородок и, особенно, рот и губы были настолько подвижны, что казался Бунин «многоликим». Даже нос, немного орлиный, казалось, менялся.

Глаза небольшие, глубоко посаженные освещали это особенное лицо, и тоже молниеносно изменялось их выражение, и даже их цвет: голубой, серый, зеленоватый. Был в них молодой блеск и даже задор, искрящийся юмор и тайная грусть, и ласка, порой даже гнев, возмущение, даже ярость.

Когда И. А., всегда куря и сам увлекаясь, что-то рассказывал, то было необычайно интересно следить за сменой выражений его «многоликого» лица. Был он «неуловим» и поэтому не любил позировать для портретов, и даже для фотографий [32, 310].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Я, сидя с ним около его камина или перед окном нашей комнаты, часто удивляюсь, как меняется его внешность. В продолжение какого-нибудь часа он будто проходит разные эпохи жизни. То он кажется старым-престарым старцем, то человеком средних лет, то молодым. Его выразительное лицо меняется невероятно быстро, преображается под влиянием настроения, чувств и мыслей [37, 257].

Никита Алексеевич Струве:

Помню я его сразу после войны (Второй мировой. — Сост.), 75-летним, моложавым, благообразным. Невысокий (хотя себя считал ростом выше среднего), но очень прямой, нарочито подтянутый, несгибающийся, чуть деревянный [50, 249].

Банин *(Ум-эль Бану Асадуллаева, 1905–1992), азербайджанская писательница, жившая во Франции:*

Как всегда прямой, элегантный, одетый с иголочки, в этот вечер он казался только что выстиранным, накрахмаленным, выглаженным, обновленным, — чистеньким ребенком семидесяти шести лет, пахнущим лавандой. Тропическая жара превратила Париж в раскаленную печь. ‹…› На Бунине была поверх рубашки легкая белая куртка. Все это, как и волосы, сверкало белизной — он был великолепен [53].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма в редакцию журнала «Октябрь», 25 марта 1948 г.:*

Вопреки совершенно нелепым вымыслам Юрия Жукова («На Западе после войны», десятая кн. «Октября» за прошлый год) я не «маленький и сухонький», а выше среднего роста, худощавый, но широкий в кости и в плечах, держусь твердо и прямо, — «фигура-то у вас, папаша, еще знаменитая!» — сказал мне один пленный красноармеец; назвать мое лицо «рафинированным лицом эстета» может только круглый дурак; губами я никогда не жую, пенсне не ношу — только прикладываю к глазам, когда смотрю вдаль; голос имею не «скрипучий», а еще настолько звучный, что, когда читаю в зале перед тысячной публикой, слышно в самых дальних углах [19, 76].

Ирина Владимировна Одоевцева:

На верхней площадке он останавливается, разворачивает длинный пестрый шарф, закутывающий его шею, и расстегивает пальто, зашпиленное сверху большой английской булавкой.

Эта английская булавка — без нее он и в Париже не обходится зимой — всегда удивляла меня. Ведь Бунин очень занят своей наружностью и элегантностью [37, 241].

Александр Васильевич Бахрах *(1902–1985), литературный критик, мемуарист, с 1940 по 1944 год жил у Буниных в Грассе:*

Обычно до завтрака он не одевался и появлялся в столовой в потрепанном бархатном шлафроке с ермолкой на голове и с дымящейся, вставленной в неприглядный вишневый мундштучок папиросой во рту. Эта самая ермолка и грошовый мундштучок то и дело куда-то исчезали. Ермолка подло проваливалась за кресла, мундштучок прятался в ворохах рукописей, за стопкой книг [8, 70].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Бунин сидит в кресле перед камином, в длинном халате из верблюжьей шерсти, в ночных туфлях и… широкополой синей полотняной шляпе.

Я еще никогда не видела его в таком виде и, боясь выдать свое удивление, отвожу глаза и смотрю в огонь. Халат и туфли — хотя только восемь часов вечера, куда бы ни шло, но эта нелепая шляпа!..

Я знаю, что Анатоль Франс и Андре Жид в старости тоже увлекались «головными уборами». ‹…›

Но шляпа Бунина все же бьет все рекорды нелепости. Она похожа на птицу, распустившую крылья, на птицу, присевшую на его голову перед дальнейшим полетом. На синюю птицу [37, 242].

Зинаида Алексеевна Шаховская *(1906–2001), поэт, прозаик, литературный критик, журналист, мемуаристка:*

Как будто с 1939 года по 1948-й прошло не так уж много времени ‹…› но совсем новое чувство овладело нами, когда мы снова вошли в квартиру на ул. Оффенбах. Чувство это было — жалость, и не только потому, что из углов глядела бедность: маленький, хилый старичок стоял перед нами, и я почувствовала, что ему стыдно за свою немощь. Он сразу подтянулся, впрочем, когда нас увидел, и едва сел в кресло, как из тщедушного тела поднялся так хорошо нам знакомый, крепкий голос прежнего Бунина, чудесная русская речь, лицо прояснилось старым обаяньем [57, 211].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Бунин сидит в кресле у окна нашей комнаты (в марте 1948-го. — Сост.). В окне — «дальний закат, как персидская шаль». На фоне заката четко обрисовывается его гордый тонкий профиль, похожий на профиль какого-то римского императора на античной медали [37, 281].

София Юльевна Прегель:

Он похож на ощипанного орла, и на лицо его уже легли нехорошие тени, предвестники конца [32, 352].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

— А что вы обо мне пишете? ‹…›

Я: «А внешностью, я пишу, вы похожи на Вольтера».

Бунин, недовольно: «На Суворова. А в молодости, поверьте мне, я был широкоплеч» [57, 214].

Владимир Михайлович Зернов *(1904–1990), потомственный врач, сотрудник Пастеровского института в Париже, лечил Бунина в последние годы его жизни:*

Раз я пришел к Буниным с моим сыном, которому было тогда 4 года. Иван Алексеевич, худой, изможденный, одетый в белую пижаму, сидел в своей кровати. Мой сын, увидев его, сказал: «Это дед Мороз, но больной дед Мороз», хотя Иван Алексеевич не носил бороды и усов и, как будто, не мог иметь ничего общего с тем внешним обликом, каким изображают обычно деда Мороза, но в этом детском определении было что-то очень меткое. Для ребенка дед Мороз представляется, прежде всего, кем-то безусловно добрым, торжественным и красивым, но вместе с тем и необычным. В лице Ивана Алексеевича, в последние годы его жизни, было все это — и некая торжественность, и доброта, и строгость, и, прежде всего, лицо красивое, необычное, его нельзя было не заметить, нельзя не обратить внимания [32, 361].

Характер

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма М. Алданову. 31 июля — 1 августа 1947 г.:*

Всегда боюсь, что кто-то несколько любящий меня вдруг во мне разочаруется, — так пусть же поменьше любит меня [58, 135].

Борис Константинович Зайцев. *Из письма А. К. Бабореко. 3 октября 1966 г.:*

Иван был одареннейшая и своеобразнейшая фигура, — и большой шарм, и много нелегкого [5, 132].

Николай Яковлевич Рощин:

Вокруг имени И. А. Бунина крепкой стеной стоит нелепая легенда о «холодном академике», «оскорбленном помещике», «надменном олимпийце». Тот, кто перешагнул эту стену, тот знает редкое обаяние этого удивительного, нежного и доброго, деликатного и неистощимо жизнерадостного человека [32, 438].

Андрей Седых *(Яков Моисеевич Цвибак, 1902–1994), журналист, мемуарист, корреспондент газет «Последние новости» и «Сегодня» (Париж), главный редактор газеты «Новое русское слово» (США), в нобелевские дни секретарь И. А. Бунина:*

Много раз слышал я такой отзыв:

— Какой холодный, ледяной писатель!

Так говорили те, кто совершенно не чувствовали Бунина и не понимали его произведений, в которых есть всегда глубокая, волнующая страстность. ‹…› Таков был Бунин в жизни — вечно мятущийся, беспокойный. Он мог усилием воли внезапно совладать с собой, побороть душевную тревогу и казаться холодным, далеким, учтиво безразличным. И только немногие знали, какой это давалось ему ценой и что именно происходило в душе писателя в минуты этого деланного, внешнего спокойствия [43, 186].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Слишком он ни на кого не похож, и часто ему не нравится то, что я привыкла считать чуть ли не за непреложную истину. Он, правда, ничего не навязывает, только бросит какое-нибудь замечание, — если сразу не схватишь, не поймешь, то разъяснять не станет, не станет и убеждать [35, 333].

Андрей Седых:

В нем была какая-то неподдельная стыдливость — Бунин не любил показывать на людях свою обнаженную душу. Пошлость презирал он во всех ее проявлениях и задыхался от гнева, когда слышал по своему адресу плоские комплименты. Но не страдал он и самоуничижением и как-то, уже после получения Нобелевской премии, с немного иронической важностью сказал мне:

— Что же, и я не последний писатель земли русской.

Когда позже мы вернулись к этой теме, Бунин уже совсем серьезно и твердо объяснил:

— Я человек самолюбивый. Не люблю срамиться. Держу свечку перед грудью [43, 186].

Георгий Викторович Адамович:

У Бунина ‹…› был редкостный слух к фальши, к «педали»: чуть только он слышал фальшь, впадал в ярость [35, 11].

Антонин Петрович Ладинский *(1896–1961), поэт, исторический романист, мемуарист:*

Все, что характерно для Бунина как для писателя, характеризовало его и как человека. Как и в своих писаниях, он был способен сказать резкое слово, определить человека одним словом и не любил мягкотелости [36, 214].

Александр Васильевич Бахрах:

Когда он в плохом настроении, он любит кого-нибудь изругать, выставить в смешном свете, очень метко схватывая уязвимые места «противника». Получается очень зло, но злоба выкипает в нем немедленно и без остатка. Поругается, успокаивается, и настроение тут же улучшается.

— Кого бы выругать? — обращается иногда к окружающим [8, 101–102].

Викентий Викентьевич Вересаев:

Был капризен и привередлив, как истеричная красавица. Например, когда его приглашали участвовать в литературном вечере, он ставил непременным, совершенно категорическим условием, что будет выступать первым. И — приезжал вместо 8 часов в 10. Устроители волновались, звонили ему по телефону, но выпускать кого-нибудь раньше него не осмеливались. Делало его таким окружавшее его поклонение. Если же он встречал решительный отпор, то сразу отступал [20, 454].

Александр Васильевич Бахрах:

Он был несколько труслив и нерешителен, когда дело касалось, если можно так в данном случае выразиться, «мелочей», но иной раз почти героичен, когда дело шло о чем-то действительно существенном и принципиальном [8, 181–182].

Александр Васильевич Бахрах:

Иван Алексеевич часто не замечал того, чего заметить не хотел, того, из чего ему пришлось бы сделать какие-то не улыбающиеся ему выводы [8, 41].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Все его дурные черты как бы скользили по поверхности. Они оставались внешними и случайными, вызванными трудными условиями его жизни или нездоровьем. К тому же его нервная система была совершенно расшатана. Нельзя забывать, что нервность он получил в «проклятое» наследство не только от отца-алкоголика, но и от мученицы матери, слишком много видевшей горя с самого начала своего замужества. Да, он был очень нервен. Но кто из русских больших писателей не был нервным? Все они были людьми с ободранной кожей, с обнаженными нервами и вибрирующей совестью [37, 235–236].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи И. В. Одоевцевой:*

Я вообще легко плачу, — это у меня наследственное — романтическая певучесть и слезоточивость сердца, — от отца. Плакал, да и теперь плачу по разным поводам — от горя, от обиды, от радости. Особенно много от любовных огорчений. И ревности. Я ведь очень ревнив, и это такая мука [37, 253].

Александр Васильевич Бахрах:

Бунин был по природе застенчив. Был он застенчив, несмотря на видимость агрессивности, на врожденную насмешливость, на великое множество бьющих в точку злых стрел, направленных против своих современников, иногда даже литературных друзей, на унаследованную им от отца любовь к нецензурной ругани, на то, что ему иногда в применении к себе хотелось бы употребить некий «pluralis majestatis»[2].

‹…› Нередко он был неспособен принять то или иное решение, которое подсказывалось ему разумом или практическими соображениями, не в силах был обрубить с размаха единым ударом какие-то угнетавшие его «узлы» именно из-за своей… застенчивости. Но и обратно, этой же полускрытой стороной его характера можно объяснить… некоторые его

«эскапады», некоторые едва ли не спровоцированные им самим инциденты, в которых погодя — наедине с собой — он неизменно раскаивался и их болезненно переживал. [8, 56–57].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Комплексов у него было много, а уверенности в себе, кроме как в писателе, не много. ‹…›

Кроме своего отщепенства от «подобающей» ему среды, Бунин также тяжело переживал, несмотря на всю свою славу, что он был самоучкой, что не окончил гимназии, что не имел университетского образования [57, 204–208].

Георгий Викторович Адамович:

Бунин, при всей своей внешней, открытой порывистости, был человеком с душевными тайниками, куда никому не было доступа. Вера Николаевна рассказала мне, например, что за всю совместную с ней жизнь он никогда, ни единым словом не упомянул о своей рано умершей матери, которую горячо любил. «Как-то, забывшись, что-то хотел сказать о ней и сразу осекся, побледнел и умолк» [3, 125].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

И. А. был очень скрытным, очень внутренне замкнутым человеком [32, 310–311].

Александр Васильевич Бахрах:

По природе своей Бунин был крайне недоверчив, но провести его, думается, ничего не стоило. Он был упрям, но его легко было переубедить, хотя по прошествии короткого срока он неминуемо возвращался к своей исходной точке, охотно забывая, что успел изменить свое мнение [8, 184].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи И. В. Одоевцевой:*

Характер у меня тяжелый. Не только для других, но и для меня самого. Мне с собой не всегда легко. А «vivre loin de moi même»[3], как жил, по его словам, Анатоль Франс, — не могу, не научился. Прав Малларме: «Поэт должен быть несчастен». А я все-таки… прежде всего поэт. Поэт! А уж потом только прозаик [37, 251].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из письма В. Зайцевой. Июнь 1943 г.:*

Я думаю, что Яну тяжело не от внешних условий. Тяжело ему будет везде [21, 326].

Нина Николаевна Берберова *(1901–1993), писательница, мемуаристка:*

Он любил смех, он любил всякую «освободительную» функцию организма и любил все то, что вокруг и около этой функции [10, 294].

Александр Васильевич Бахрах:

Обычно сдержанный, иной раз, чего-то недослышав или не разобравшись в том, что ему было сказано, он мог вдруг разъяриться, вспыхнуть, наговорить кучу ненужных слов, приносивших вред только ему самому. Впрочем, должен оговориться и подчеркнуть, что за четыре с небольшим года жизни под его кровлей подобные вспышки, сопровождаемые громом и молниями, я мог наблюдать не больше двух-трех раз [8, 41].

Николай Дмитриевич Телешов:

Это был человек, что называется, — непоседа. Его всегда тянуло куда-нибудь уехать. Подолгу задерживался он только у себя на родине, в Орловской губернии, в Москве, в Одессе и в Ялте, а то из года в год бродил по свету и писал мне то из Константинополя, то из Парижа, из Палестины, с Капри, с острова Цейлона [52, 41].

Борис Константинович Зайцев:

Оседлости не любил Бунин — нынче здесь, завтра уже в Петербурге, а то и в Крыму, или вдруг взяли да уехали они с Найденовым на Рождество в Ниццу — тогда виз не требовалось! [23, 278]

Валентин Петрович Катаев:

Как-то Бунин сказал мне, что если бы он был очень богат, то не стал бы жить на одном месте, заводить хозяйство, квартиру, библиотеку, гардероб, а путешествовал бы по всему земному шару, останавливаясь в хороших, комфортабельных гостиницах и живя там столько, сколько живется, а как только надоест — отправлялся бы налегке в другое место: один-два чемодана с самым необходимым. Ничего лишнего. Грязную сорочку не отдавать в стирку, а просто выбрасывать, потому что гораздо интереснее и легче купить новую. Костюмы и ботинки — то же самое. В чемодане же — записные книжки, бумага и всякие мелочи, к которым привык.

— Вроде вашей пепельницы?

— Именно.

Он говорил в шутливом тоне, но, я думаю, в этом заключалась большая доля правды.

На меня производило впечатление, что Бунины живут всегда как бы на бивуаке, среди чужой мебели, чужих картин, драпри, посуды, ламп. Своего у них было лишь одежда, да постели, да пара плоских кожаных английских чемоданов с наклейками заграничных отелей [26, 89].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Он ‹…› встает, подобрав полы халата, и мелкой, шаркающей походкой идет в комнату Веры Николаевны. Я за ним.

— Не могу долго сидеть на одном месте, хоть в другую комнату, такую же поганую, перейти, все же не так тоскливо. Будто легче дышать.

Он садится в обитое пестрым ситцем кресло около окна.

— Я ведь бродник. Что, никогда не слыхали такого слова? Это такие казаки-бродники бывали. Не могли усидеть на месте, все их тянуло бродить. Таков и я всю жизнь был. Ведь я почти весь мир объездил. Где только я не был? — Он вздыхает и закрывает глаза: — А теперь вот сиднем сижу, выйду на полчаса и обратно в свою конуру. Устал [37, 272].

Александр Васильевич Бахрах:

Не было у него ‹…› того, что неуклюже именуется «локальпатриотизмом». Он любил Москву, но не менее уютно чувствовал себя в Одессе или в отцовском полуразоренном имении. Любил дальние странствия, Восток, Стамбул, который не переставал называть по инерции Константинополем, но затем полюбил скалистый средиземноморский островок с его почти бутафорской красотой, и, кажется, нигде он так усердно и усидчиво не работал, как именно на Капри. А затем он полюбил Париж, полюбил вполне искренне, но еще больше — тихий Грасс, окружавшие городок жасминные и розовые поля, малопривлекательные для глаза, вид на Эстерель, в ясные дни — вид на бесшумное море. В Грассе он чувствовал себя совсем «дома». ‹…› Бунину было хорошо там, где он мог спокойно работать, совершать прогулки, иногда встречать людей, ему симпатичных. А что было на заднем плане — в сущности, было для него второстепенным [8, 135].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

11 февраля 1932. Ян ‹…› ничем не может себя забавлять — он даже ни в одну игру не играет. Это важная черта в его характере.

Он может наслаждаться только подлинной жизнью, и никакая игра ни в какой области его не занимает [55, 214].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

10 сентября 1930.

— Бывает с вами, И. А., — говорю я, — чтобы вы ловили себя на том, что невольно повторяете чей-нибудь жест, интонацию, словечко?

— Нет, никогда. Это, заметьте, бывает с очень многими. Сам Толстой признавался, что с ним бывали такие подражанья. Но вот я, сколько себя помню, никогда никому не подражал. Никогда во мне не было восхищенья ни перед кем, кроме только Толстого.

— И ты воображаешь, что это хорошо? — спросила В. Н. (Бунина. — *Сост.*)

— В вас есть какая-то неподвижность, — сказала я.

— Нет, это не неподвижность. Напротив, я был так гибок, что за мою жизнь во мне умерло несколько человек. Но в некоторых отношениях я был всегда тверд, как какой-нибудь собачий хвост, бьющий по стулу…

И он показал рукой как… [28, 167–168]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Ни мстительности, ни зависти, ни мелочности мне никогда не приходилось видеть в Бунине. Напротив — он был добр и великодушен. Даже очень добр и великодушен. И по-настоящему щедр. Так, он в 1930 году, прочитав талантливую первую книгу «Кадеты» Леонида Зурова, жившего в Эстонии, выписал его к себе, и с той поры и до самой своей смерти содержал его и заботился о его литературной карьере, хотя пребывание Зурова в его семье принесло Бунину много огорчений и неприятностей.

Но, кроме Леонида Зурова, у Буниных в Грассе часто гостил и Николай Рощин, по прозванию «Капитан». От него, как и от Зурова, Бунин видел мало радости — и полное отсутствие благодарности.

Гостили в Грассе и другие, несмотря на то что, по определению самого Ивана Алексеевича, в те времена — до получения Нобелевской премии — в доме Бунина «жили впроголодь и часто обедали через день». Бунин любил окружать себя теми, кого считал своими учениками и последователями, и часто появлялся в Париже в сопровождении своей свиты. Злые языки прозвали ее «бунинским крепостным балетом» [37, 235].

Александр Васильевич Бахрах:

С людьми его отношения осложнялись тем, что подчас он мог убедить себя, что «коль любить, так без оглядки» (имею, конечно, в виду только сферу дружеских отношений). Он способен был привязаться к человеку, заранее зная все его недочеты, не считаясь с ними и — больше того, — может быть, не вполне ясно сознавая, чем ему данный человек потрафил: полюбился, и все тут… Зато редко когда он мог подолгу ненавидеть [8, 133].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из письма А. К. Бабореко. 5 января 1959 г.:*

Я менее злопамятного человека не знаю, чем он. Когда проходил известный срок того или другого отношения к нему человека, он забывал почти все [6, 79].

София Юльевна Прегель:

Веселый человек, желчный и нежный, умеющий и обласкать и выругать, духовный сын всего самого лучшего, что было в девятнадцатом столетии. Но это не живой анахронизм: он современен как никто [32, 353].

Творчество

Иван Алексеевич Бунин. *В записи И. В. Одоевцевой:*

Главное — пишите только о страшном или о прекрасном. Как хорошо ни изобразите скуку, все равно скучно читать. Только о прекрасном и страшном — запомните [37, 230].

Антонин Петрович Ладинский:

В писательском ремесле больше всего он ценил правдивость, свежесть образа, наблюдательность, хорошую писательскую находку в виде какого-нибудь острого положения или редкого словечка, точный и вкусный эпитет, а в стихах — высокую мысль [36, 219–220].

Николай Дмитриевич Телешов:

Любивший культурное общество и хорошую литературу, много читавший и думавший, очень наблюдательный и способный ко всему, за что брался, легко схватывавший суть всякого дела, настойчивый в работе и острый на язык, он врожденное свое дарование отгранил до высокой степени [52, 41].

Викентий Викентьевич Вересаев:

Поразительно было в Бунине то, что мне приходилось наблюдать и у некоторых других крупных художников: соединение совершенно паршивого человека с непоколебимо честным и взыскательным к себе художником.

И рядом с этим никакое ожидание самых крупных гонораров или самой громкой славы не могло бы заставить его написать хоть одну строчку, противоречащую его художественной совести. Все, что он писал, было отмечено глубочайшею художественною адекватностью и целомудрием [20, 454].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи Н. А. Пушешникова:*

Я, вероятно, все-таки рожден стихотворцем. ‹…› Для меня главное — это найти звук. Как только я его нашел — все остальное дается само собой. Я уже знаю, что дело кончено. Но я никогда не пишу того, что мне хочется, и так, как мне хочется. Не смею. Мне хочется писать без всякой формы, не согласуясь ни с какими литературными приемами. Но какая мука, какое невероятное страдание литературное искусство! Я начинаю писать, говорю самую простую фразу, но вдруг вспоминаю, что подобную этой фразе сказал не то Лермонтов, не то Тургенев.

Перевертываю фразу на другой лад, получается пошлость, изменяю по-другому — чувствую, что опять не то, что так пишет Амфитеатров или Брешко-Брешковский… Многие слова — а их невероятно много — я никогда не употребляю, слова самые обыденные. Не могу. Иногда за все утро я в силах, и то с адскими муками, написать всего несколько строк. Я не знаю, как должен оплачиваться такой анафемский труд. А между тем я получаю по тысяче рублей за лист. И говорят, что это много. Я ехал на пароходе как-то с В. И. Немировичем-Данченко. Он сказал: «Ну что, разве вы, новые, литераторы?! Я пока доеду, здесь на пароходе напишу целый роман». В сущности говоря, все литературные приемы надо послать к черту! Пусть критики едят за это сколько угодно. Иначе никогда ничего путного не напишешь. Может быть, к старости я что-нибудь путное напишу. В сущности говоря, со времени Пушкина и Лермонтова литературное мастерство не пошло вперед. Были внесены новые темы, новые чувства и проч., но самое литературное искусство не двинулось. Проза Лермонтова и Пушкина остались не превзойдены ‹…›

Я всю жизнь испытываю муки Тантала. Всю жизнь я страдаю от того, что не могу выразить того, что хочется. В сущности говоря, я занимаюсь невозможным занятием. Я изнемогаю от того, что на мир я смотрю только своими глазами и никак не могу взглянуть на него как-нибудь иначе [7, 246–248].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Сад наполнился лунным светом.

— Пойдем, посмотрим на море, — предложил Ян.

И когда мы с радостью все вышли на воздух, воскликнул:

— Боже, как хорошо! И никогда-то, никогда, даже в самые счастливые минуты, не можем мы, несчастные писаки, бескорыстно наслаждаться! Вечно нужно запоминать то или другое, чувствовать, что надо извлечь из него какую-то пользу [35, 300].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи И. В. Одоевцевой:*

Вот вам, я знаю, не нравится обилие описаний природы у меня. Вам они скучны. А ведь нельзя отделить человека от природы, ведь каждое движение воздуха — движение нашей собственной жизни. Мы слиты с природой, мы часть ее. Это надо чувствовать. Если не любить природы, не можешь любить и понимать человека. А тогда и писать не о чем и незачем. Мало ли какие приятные занятия можно, кроме писания, найти. Да и писание совсем не приятное занятие, а изнурительный труд. И

мука [37, 270].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи В. П. Крымова:*

Сколько жизненной силы уходит на работу, читают и думают, что вот так, между прочим, походя написал, не знают того, что о сюжете думаешь неделями и месяцами, а какая-нибудь фраза не ложится уютно, так полночи не спишь [27, 204–205].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

По складу его характера он не может работать дальше, не «отвязавшись» от предыдущего [28, 45].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи Т. Д. Муравьевой-Логиновой:*

Я всегда советую молодым писателям не поддаваться одному вдохновенью. Нельзя творить, как птица поет. Надо строить. Если дом строить — нужен план, и каждый кирпич к кирпичу подогнать и скрепить. Работать надо! В большой талантливости, в блеске — опасность. Слишком легко вам все дается! [32, 308]

Валентин Петрович Катаев:

Мысль о ежедневном труде Бунин несколько развил.

— Писать стихи надо каждый день, подобно тому, как скрипач или пианист непременно должен каждый день без пропусков по нескольку часов играть на своем инструменте. В противном случае ваш талант неизбежно оскудеет, высохнет, подобно колодцу, откуда долгое время не берут воду. А о чем писать? О чем угодно. Если у вас в данное время нет никакой темы, идеи, то пишите просто обо всем, что увидите. Бежит собака с высунутым языком, — сказал он, посмотрев в окно, — опишите собаку. Одно, два четырехстишия. Но точно, достоверно, чтобы собака была именно эта, а не какая-нибудь другая. Опишите дерево. Море. Скамейку. Найдите для них единственно верное определение. Опишите звук гравия под сандалиями девочки, бегущей к морю с полотенцем на плече и плавательными пузырями в руках. Что это за звук? Скрип не скрип. Звон не звон. Шорох не шорох. Что-то другое — галечное, — требующее единственного неповторимого, верного слова. ‹…› Наконец опишите воробья… ‹…› Каждый предмет из тех, какие окружают вас, каждое ваше чувство есть тема для стихотворения. Прислушивайтесь к своим чувствам, наблюдайте окружающий вас мир и пишите. Но пишите так, как вы чувствуете, и так, как вы видите, а не так, как до вас чувствовали и видели другие поэты, пусть даже самые гениальные. Будьте в искусстве независимы.

Этому можно научиться. И тогда перед вами откроется неисчерпаемый мир подлинной поэзии. Вам станет легче дышать [26, 30].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

8 августа 1927. Говорили вчера о писании и о том, как рождаются рассказы. У И. А. это начинается почти всегда с природы, какой-нибудь картины, мелькнувшей в мозгу, часто обрывка. Так, «Солнечный удар» явился от представления о выходе на палубу после обеда, из света в мрак летней ночи на Волге. А конец пришел позднее. «Ида» тоже от воспоминания о зале Большого московского трактира, о белоснежных столах, убранных цветами; «Мордовский сарафан», где, по его собственным словам, сказано «о женском лоне» то, что еще никем не говорилось и не затрагивалось, ведет начало от какой-то женщины, вышивавшей черным узором рубаху во время беременности. Часто такие куски без начала и конца лежали долгое время, иногда годы, пока придумывался к ним конец [28, 35].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

7. V.40. Перечитал свои рассказы для новой книги. Лучше всего «Поздний час», потом, м. б., «Степа», «Баллада».

Как-то мне, — как бывает у меня чаще всего ни с того, ни с сего, — представилось: вечер после грозы и ливня на дороге к ст. Баборыкиной. И небо и земля — все уже угрюмо темнеет. Вдали над темной полосой леса еще вспыхивает. Кто-то на крыльце постоялого двора возле шоссе стоит, очищая с голенищ кнутовищем грязь. Возле него собака… Отсюда и вышла «Степа».

«Поздний час» написан после окончательного просмотра того, что я так нехорошо назвал «Ликой».

«Музу» выдумал, вспоминая мои зимы в Москве на Арбате и то время, когда однажды гостил летом на даче Телешова под Москвой.

В феврале 1938 г. в Париже проснулся однажды с мыслью, что надо дать что-нибудь в «Посл. Н.» в покрытие долга, вспомнил вдруг давние зимы в Васильевском и мгновенно в уме мелькнула суть «Баллады» — опять-таки ни с того, ни с сего [13, 436].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи А. Седых:*

Вот думают, что история Арсеньева — это моя собственная жизнь. А ведь это не так. Не могу я правды писать. Выдумал я и мою героиню. И до того вошел в ее жизнь, что, поверив в то, что

она существовала, ‹…› влюбился в нее ‹…› Беру перо в руки и плачу. Потом начал видеть ее во сне. Она являлась ко мне такая же, какой я ее выдумал ‹…› Проснулся однажды и думаю: Господи, да ведь это, может быть, главная моя любовь за всю жизнь. А оказывается, ее не было [44].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи А. В. Бахраха:*

Заглавия рассказов не должны ничего объяснять ‹…› это дурной тон. С какой стати давать читателю сразу же ключ, пускай он хоть немного поломает себе голову над заглавием [8, 73].

Николай Дмитриевич Телешов:

Работать он мог очень много и долго: когда гостил он у меня летом на даче, то, бывало, целыми днями, затворившись, сидит и пишет; в это время не ест, не пьет, только работает; выбежит среди дня на минутку в сад подышать и опять за работу, пока не кончит [52, 41].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

И. А. пишет по 3–4 печатных страницы в день. Пишет один раз рукой, перед обедом дает перепечатывать их В. Н., исправляет и дает переписывать уже на плотной бумаге с дырочками мне.

Вечером ходит со мной гулять и говорит о написанном. Пишет он буквально весь день, очень мало ест за завтраком, пьет чай и кофе весь день. Вот уже больше месяца, если не полтора, длится такой режим. Нечего говорить, что он поглощен своим писанием полностью. Все вокруг не существует [28, 265].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

Главное, что часто изумляло меня в И. А., — что он бывает удивительно смиренен в своем ремесле. Возьмет маленький кусочек и выполняет его с почти педантической тщательностью. А потом оказывается, что собрание таких кусочков дает блестящий фельетон. Часто я сама дивлюсь скромности его требований, я в сравнении с ним нетерпелива, требовательна, хочу все чего-то огромного… а он напишет что-нибудь крохотное и радуется сам: как хорошо написал!

Это изумительная черта в таком гордом, нетерпимом часто человеке [28, 219–220].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

Он сидит по 12 часов в день за своим столом и если не все время пишет, то все время живет где-то там ‹…› Глядя на него, я думаю об отшельниках, о мистиках, о йогах — не знаю, как

назвать еще, словом, о всех тех, которые живут вызванным ими самими миром [28, 266].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи Т. Д. Муравьевой-Логиновой:*

Я пишу по утрам. Все мои — да и вы наверно — упиваетесь утренним кофе, хрустите круасанами, — а я не могу этого. Ничего не ем, пока пишу до завтрака. Не могу оторваться, а если пью, то только спиртное — горло промочить [32, 302].

Галина Николаевна Кузнецова:

Во время писания к нему можно было смело войти в кабинет, взять что нужно и уйти — он никогда не сердился, может быть, даже не замечал входившего. Думаю, вообще трудно найти среди писателей более легкого, нетребовательного человека, каким он был, когда писал. Можно было дивиться его смирению, когда он начинал с какой-нибудь самой скромной маленькой картинки, сценки, когда он, столь прославленный в своем изобразительном искусстве, подолгу вглядывался в себя, чтобы поточнее выразить то единственное, что надлежало сказать при описании старухи-побирушки «в прямых чулках на сухих ногах» или «по-вдовьи свернувшейся» на крыльце собаки [6, 224].

Валентин Петрович Катаев:

Обычно, внимательно и терпеливо выслушав мой новый рассказ от начала до конца, Бунин не вдавался в его подробное обсуждение, а ограничивался двумя-тремя коротенькими замечаниями по поводу того, где у меня хорошее место и где плохое; почему именно одно плохо, другое — хорошо; и какие нужно из этого сделать практические выводы.

Он всегда касался мелочей, но неизменно приводил их к важным сообщениям. Так, например, я узнал, что в литературе нет запретных тем: важно лишь, с какой мерой такта будет об этом сказано, и я навсегда усвоил себе несколько бунинских рекомендаций: такт, точность, краткость, простота, но, разумеется, — и Бунин это подчеркивал много раз, — он говорил не о той простоте, которая хуже воровства, а о простоте как следствии очень большой работы над фразой, над отдельным словом — о совершенно самостоятельном видении окружающего, не связанном с подражанием кому-нибудь, будь то хоть сам Лев Толстой или Пушкин, то есть об умении видеть явления и предметы совершенно самостоятельно и писать о них абсолютно по-своему, вне каких бы то ни было литературных влияний и реминисценций.

В особенности Бунин предостерегал от литературных штампов, всех этих «косых лучей заходящего солнца», «мороз крепчал», «воцарилась тишина», «дождь забарабанил по окну» и прочего ‹…›.

К числу мелких литературных штампов Бунин также относил, например, привычку ремесленников-беллетристов того времени своего молодого героя непременно называть «студент первого курса», что давало как бы некое жизненное правдоподобие этого молодого человека и даже его внешний вид: «студент первого курса Иванов вышел из ворот и пошел по улице», «студент первого курса Сидоров закурил папиросу», «студент первого курса Никаноров почувствовал себя несчастным».

— До смерти надоели все эти литературные студенты первого курса, — говорил Бунин [26, 70–71].

Никита Алексеевич Струве:

Что меня в нем поразило — и что потом я встречал и у других писателей — необычайное внимание. Это исходило от его психической напряженности. У Мандельштама есть прекрасная формула: внимание — главная доблесть поэта. Внимание, которое проявил писатель, меня покорило. Он всегда воспринимал человека в его индивидуальности, не массу, а каждого в отдельности. И этот взгляд писателя на мальчика четырнадцати лет — я его хорошо помню. Эта обостренность меня настолько поразила, что я понял ее как основную часть писателя [51, 43].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

Идем по набережной Круазет. Среди пальм масса гуляющих. Много иностранцев.

— Вот сфотографировал, — смеется И. А., — вон ту, что впереди. У меня ведь не глаз, а настоящий фотографический аппарат. Чик-чик и готово. Навсегда запечатлел. А вот та, что вихляет бедрами, в коротких штанишках, и тот, с ослиными ушами, — не видели? Мимо прошли. А еще художница! [32, 307]

Валентин Петрович Катаев:

Бунин в прекрасном, несколько саркастическом настроении. Он искоса смотрит на могучую даму, как бы прислушиваясь к шелковому треску ее корсета. Можно подумать, что он собирается тут же, не сходя с места, ее описать. Но описать не вообще, а одним штрихом. Сразу видно, что он ищет этот единственный, совершенно точный штрих, и я вместе с тем понимаю, что он втайне дает мне литературный урок.

Затем по его лицу я вижу, что он нашел необходимый штрих и что его находка драгоценна и единственна. Он делает рукой легкий жест, как будто бы издали проводит вокруг лица толстой дамы магический музыкальный овал.

Все замирают, ожидая, что он скажет.

— Так-с, — говорит он, делая указательным пальцем в воображаемом овале две запятушки кончиками вверх, в разные стороны. — Вам, Елена Васильевна, не хватает маленьких черных усиков, и вы вылитый… Петр Великий.

И вдруг мы все увидели лицо Петра [26, 52–53].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Перед кафе на деревянной стойке — корзины с устрицами.

Рыжеволосый, веснушчатый парень в розовой рубашке открывает устрицы кривым ножом и укладывает их на блюдо со льдом.

— Ишь, как ловко работает. Молодец! — восхищается Бунин. — А ведь это нелегко. Я пробовал открыть устрицу. Никак не мог. А он — раз и готово! Без промаха, без осечки.

Парень, понимая, что иностранный господин заинтересовался им, особенно быстро и щеголевато работает ножом.

— Две дюжины, — заказывает ему Бунин. — Самых крупных.

Парень широко улыбается и, взглянув на нас зеленовато-серыми влажными глазами, с еще большей энергией начинает орудовать ножом.

— Вы заметили, — говорит Бунин, входя в кафе, — что у него глаза похожи на устриц?

— А ведь правда, на устриц, — соглашаюсь я радостно. — Такие странные, будто скользкие, неприятные. Как я сразу не догадалась? На устриц! Будто нарочно у продавца устриц глаза, как две устрицы [37, 262].

Александр Васильевич Бахрах:

— Пишут, пишут братья-писатели, а скольких вещей они и не знают…

— ?

— Ничего не знают о тучах, о деревьях, да и о людях… Не ведают самых элементарных законов физики, не знают анатомии, свойств человеческого тела.

Разговор этот происходил у стоянки автобуса. Мы отправлялись в Ниццу.

— Вот у женщины, стоящей подле вас, на ногах выдаются синие жилки. А что это значит, никто и не знает, а я по этим жилкам да еще по каким-нибудь едва заметным признакам,

которые большинство из пишущих не замечает, опишу вам ее наружность, многие детали ее лица, ее жизнь. Я как-то сидел в ресторане с Борисом Зайцевым. Неподалеку от нас ужинал какой-то лысый господин. Я и говорю Зайцеву: «Борис, погляди на его уши, на его манеру есть, на то, как он сидит, и расскажи мне про него». Зайцев поглядел, задумался и, отшутившись, переменил разговор. А я, кажется, мог бы тут же биографию этого господина написать. Для писателя это полезнейшая игра.

А Алданов, прекрасный писатель, издали женщины от мужчины, кажется, не отличит. А ведь он совсем не близорук! ‹…›

А у Леонида Андреева Иуда на закате взошел на Елеонскую гору… распростер руки, и «тень его казалась черным распятием». И эффект-то какой дешевый. Но не в этом дело: я ему заметил: «Леонид, а ведь солнце-то заходит с другой стороны Мертвого моря».

«Ты вечно о пустяках», — недовольно возразил мне Андреев.

Но ведь это не пустяки. Надо уметь привирать [8, 85].

Александр Васильевич Бахрах:

Он написал рассказ, один из героев которого — известный московский врач, первоначально именовался Николаем Михайловичем Данилевским. Рассказ был уже начисто отстукан на машинке, когда, проглядывая машинопись, он вдруг решил перекрестить своего героя в Григория Яковлевича. Пришлось все заново переписывать.

— Не все ли равно, каково имя-отчество Данилевского?

— О, нет. Надо, чтобы имя подходило к герою, чтобы оно сливалось с его обликом. Неужели вы не почувствовали, что первое сочетание не подходит к персонажу? Мог ли он быть Николаем Михайловичем? Надо, чтобы герой ужился со своим именем, чтобы оно его не коробило. Я часто примеряю имя — потом вижу, что оно не подходит, режет ухо, и тогда меняю его. Это необъяснимая, таинственная магия имен. Можно потопить хорошую вещь неудачным, неподходящим подбором имен.

И на его письменном столе я видел длинные списки имен и фамилий, разбитые на категории, на национальности, по областям, по сословиям, длинные выписки из святцев, которые он внимательно изучает с этой целью [8, 107].

Александр Васильевич Бахрах:

Работал он не только над своими рассказами, по несколько раз им переписывавшимися. Одновременно он записывал в различные тетрадки с картонными обложками различных цветов, до которых был большой любитель, какие-то словечки, обрывки

будущих диалогов для еще нерожденных произведений, составлял списки пришедших ему на память областных выражений (к которым, собственно, никогда не прибегал) и даже списки ругательств, собирал по категориям имена и отчества для своих будущих героев, придумывал им фамилии, уверяя, что для каждого писателя необычайно важно дать своему герою подходящее имя и что неудачно окрещенный герой одним своим именем способен погубить любое произведение. ‹…› Вижу теперь перед глазами эти длинные колонки имен и фамилий, расположенные по категориям: купцы, мещане, дворяне, татары, евреи, учителя, доктора, писатели и т. д. [8, 176].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи А. В. Бахраха:*

Гоголь, конечно, гениальный писатель. Смешно это отрицать, но разрешите мне его не очень любить. ‹…› Где он мог выкопать этакие мертворожденные фамилии, как Яичница, Земляника, Подколесин, Держиморда, Бородавка, Козопуп? Ведь это для галерки — это даже не смешно, это просто дурной тон. Даже в фамилии «Хлестаков» есть какая-то неприятная надуманность, что-то шокирующее. Да и Антон Павлович со своим Симеоновым-Пищиком, несмотря на весь свой вкус, сел в калошу. Нет, удачная фамилия — важнейшая для писателя вещь. Полюбуйтесь только фамилиями у Толстого — это подлинные алмазы [8, 107–108].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

— Ты много записываешь? — спросила я.

— Нет, очень мало. В ранней молодости пробовал, старался, по совету Гоголя, все запомнить, записать, но ничего не выходило. У меня аппарат быстрый, что запомню, то крепко, а если сразу не войдет в меня, то, значит, душа моя этого не принимает и не примет, что бы я ни делал [35, 333].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма М. Алданову. 2 сентября 1947 г.:*

В молодости я очень огорчался слабости своей выдумывать темы рассказов, писал больше из того, что видел, или же был так лиричен, что начинал какой-нибудь рассказ, а дальше не знал, во что именно включить свою лирику, — сюжета не мог выдумать или выдумывал плохонький… А потом случилось нечто удивительное: воображение у меня стало развиваться «не по дням, а по часам», как говорится, выдумка стала необыкновенно легка, — один Бог знает, откуда она бралась, когда я брался за перо, очень, очень часто еще совсем не зная, что выйдет из начатого рассказа, чем он кончится (а он очень часто

кончался совсем неожиданно для меня самого, каким-нибудь ловким выстрелом, которого я не чаял): как же мне после этого, после такой моей радости и гордости, не огорчаться, когда все думают, что я пишу с такой реальностью и убедительностью только потому, что обладаю «необыкновенной памятью», что я все пишу «с натуры», то, что со мной самим было, или то, что я знал, видел! Всякая «натура» входила в меня, конечно, всю жизнь и очень сильно, но ведь одно дело — сидеть и описывать то дерево, что у меня под окном, — или заносить в записную книжку кое-что об этом дереве, — и совсем другое дело — писать «Игната», сидя на Капри: неужели Вы думаете, что для того, чтобы написать зимнюю ночь, в которую Игнат шел с вокзала в свое село, в Извалы, я вынимал записные книжки? [58, 138]

Иван Алексеевич Бунин:

23. II.16. Дневник — одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие [54, 125].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи Г. Н. Кузнецовой:*

Нет ничего лучше дневника. ‹…› Тут жизнь, как она есть — всего насовано. Нет ничего лучше дневников — все остальное брехня! Разве можно сказать, что такое жизнь? В ней всего намешано… Вот у меня целые десятилетия, которые вспоминать скучно, а ведь были за это время миллионы каких-то мыслей, интересов, планов… Жизнь — это вот когда какая-то там муть за Арбатом, вечереет, галки уже по крестам расселись, шуба тяжелая, калоши… Да, что! вот так бы и написать… [28, 96]

Александр Васильевич Бахрах:

Как-то во время прогулки Бунин стал подробно рассказывать мне о том, что он ведет дневник, и, чуть смутившись, добавил, что невольно делает это с оглядкой на печать.

— Ведь это профессиональная деформация, — добавил он, улыбнувшись, но одновременно уверял, что ему, вероятно, было бы стыдно, если бы эти дневники он увидел в печати. — Впрочем, о многом я не мог писать, хотя бы об отношениях с некоторыми женщинами. Ведь об этом нельзя рассказывать. Впрочем, как бы там ни было и что бы с моими дневниками ни случилось, полный их текст никогда не увидит света. ‹…›

А в другой раз Бунин признавался, что записывать виденное или протокольно отмечать пережитое противно его природе. «Я умею только выдумывать» [8, 120].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

И. А. говорил мне, как надо было бы писать дневник:

— Надо, кроме наблюдений о жизни, записывать цвет листьев, воспоминание о какой-то полевой станции, где был в детстве, пришедший в голову рассказ, стихи… Такой дневник есть нечто вечное [28, 115].

Александр Васильевич Бахрах:

На его письменном столе много папок и тетрадей в твердых переплетах. В них он заносит всякую всячину, материалы для будущей работы, выписки из книг. На толстой холщовой тетради крупными каллиграфическими буквами наклейка с надписью: «Копилка» — и ниже: «Земля и люди» [8, 73].

Вера Николаевна Бунина:

На творчество Бунина путешествия действовали всегда очень плодотворно. Писать же он должен был в спокойной обстановке, в простой, но удобной для него комнате. Он всегда утверждал, что знает, в какой комнате он может писать, а в какой нет [35, 192].

Валентин Петрович Катаев:

Он сказал мне, что никогда не пользуется пишущей машинкой, а всегда пишет от руки, пером.

— И вам не советую писать прямо на машинке. После того, как вещь готова в рукописи, можно перепечатать на машинке. Но само творчество, самый процесс сочинения, по-моему, заключается в некоем взаимодействии, в той таинственной связи, которая возникает между головой, рукой, пером и бумагой, что и есть собственно творчество. ‹…› Когда вы сочиняете непосредственно на пишущей машинке, то каждое выстуканное вами слово теряет индивидуальность, обезличивается, в то время как написанное вами собственноручно на бумаге, оно как бы является матерьяльным, зримым следом вашей мысли — ее рисунком, — оно еще не потеряло сокровенной связи с вашей душой — если хотите, с вашим организмом, — так что если это слово фальшиво само по себе, или не туда поставлено, или неуместно, бестактно, то вы это не только сейчас же ощутите внутренним чутьем, но и тотчас заметите глазами по некоторому замедлению, убыстрению и даже изменению почерка. Одним словом, ваш почерк — единственный, неповторимый, как часть вашей души — просигнализирует вам, если что: «Не то!»… [26, 74].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

Ручку он держит между третьим и четвертым пальцами, а не между вторым и третьим, как все люди [28, 33].

Валентин Петрович Катаев:

Он писал темно-зелеными чернилами автоматической ручкой с золотым пером, если не ошибаюсь, фирмы «Монблан», причем до конца исписанную страницу не промокал, а нетерпеливо откладывал в сторону сохнуть; если же он что-нибудь вписывал в записную книжку, то махал ею перед собой, чтобы страничка скорее высохла [26, 68].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Ян спросил: «Зачем писатель зачеркивает? Затем, что хочет уничтожить. А потом — веяние Гофмана, Щеголева (литературоведы, пушкинисты. — Сост.) стараются восстановить варианты. От этого повеситься надо!» [55, 156]

Александр Васильевич Бахрах:

Когда он обрекал пламени свои черновики, он сам очень старательно засовывал их в свою печурку, сам их поджигал и не отходил от печурки до тех пор, пока не превращался в пепел последний листок покрытых его красивым почерком бумаг [8, 176].

Николай Дмитриевич Телешов:

К произведениям своим всегда относился крайне строго, мучился над ними, отделывал, вычеркивал, выправлял и вначале нередко недооценивал их. Так, один из лучших своих рассказов — «Господин из Сан-Франциско» — он не решался отдать мне, когда я составлял очередной сборник «Слово»; он считал рассказ достойным не более как для фельетона одесской газеты. Насилу я убедил его напечатать в «Слове», которое пользовалось среди читателей большим вниманием и спросом [52, 41].

Александр Васильевич Бахрах:

Все последние годы его жизни, те периоды, когда он мог еще работать, ушли, главным образом, не на писание нового, а на пересмотр и переработку почти всех его старых произведений. Уже однажды сжатые тексты, отредактированные им для собрания сочинений, изданного «Петрополисом», еще раз подвергались изменениям, еще раз им до сухости сжимались, заново — в который раз? — вытравлялось все, что казалось ему лишним, водянистым, недостаточно определенным или слишком лиричным [8, 178].

Антонин Петрович Ладинский:

У меня не было случая наблюдать за процессом его творчества и неловко было залезать в его святая святых, но я часто видел, как он правил корректуру своих рассказов, так как писал в той же газете («Последние новости». — Сост.), что и он. ‹Бунин› проходил в редакторский кабинет. Там он нацеплял на нос старомодное пенсне, брал гранки в руки и вдруг становился серьезным. В этой нахмуренной строгости выражалось его сознание ответственности за написанное. Он понимал, что это последний момент, когда еще можно изменить фразу, найти другой эпитет, исправить ошибку. Гранки он правил очень тщательно, не считаясь с тем, что одно новое слово, вставленное в строку, потребует перебора всего абзаца. Закончив корректуру, Бунин писал своим крупным и четким почерком: «так печатать» и ставил подпись [36, 222].

Галина Николаевна Кузнецова:

Он был снисходительнее многих в том, что касалось критики его самого, замечаний по поводу какого-нибудь выражения в его рукописи, — выслушивал эти замечания внимательно, и если находил, что верно, исправлял. Был болезненно чувствителен к внешнему виду своей только что перепечатанной рукописи, хотел, чтобы бумага всегда была чистая, лента в машинке яркая, был неумолимо требователен к знакам препинания, находя их такими же важными, как дыхание в пении. Он сам готовил свои книги к печати и отсылал их в таком виде и с такими точными пометками для печатающих, что, казалось, дальше уже и делать над ними нечего…

Он хотел, чтобы все было совершенно [6, 225].

София Юльевна Прегель:

Вспоминаю, что в каком-то из рассказов, присланном им для журнала «Новоселье», меня смутил один предлог. Написала Ивану Алексеевичу, и он тут же ответил, что это непростительная небрежность переписчика и отчасти его собственная: недосмотрел. Если б рассказ напечатали в первоначальной редакции, он был бы в отчаянии. ‹…› А знаки препинания Ивана Алексеевича! О них можно написать поэму. Каждая запятая оправдана, и не только синтаксически… [32, 353]

Марк (Мордух) Вениаминович Вишняк *(1883–1976), публицист, политический деятель, юрист, ответственный секретарь редакции журнала «Современные записки»:*

И. А. Бунин, как известно, с почти болезненной щепетильностью относился ко всякому печатаемому им слову, порядку расположения слов, пунктуации и т. п. До последней минуты перед выпуском книги не переставал он посылать в ускоренном порядке письма («пневматички») или телеграммы со слезной мольбой «непременно», «обязательно» опустить или вставить такое-то слово или изменить знак препинания. «Заклинаю Вас — дайте мне корректуру еще раз!! Это совершенно необходимо!! Иначе сойду с ума, что напутаю что-нибудь». Или — «давать рукопись „в окончательном виде“ невозможно. Многое уясняется только в корректуре. Если хотите меня печатать, терпите. Чудовищно, непостижимо, но факт: Толстой потребовал от „Сев‹ерного› вестника“ сто корректур „Хозяина и работника“. Во сколько раз я хуже Толстого? В десять? Значит — пожалуйте 10 корректур. А я прошу всего две!!» — «Ради Бога, не торопите меня с присылкой рукописи. Чем больше пролежит она у меня, тем будет лучше для всех: для типографии, для меня, для потомства, для славы эмиграции». И так почти каждый раз [19, 138].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма М. Алданову. 31 июля — 1 августа 1947 г.:*

Горячо прошу, прямо умоляю, не читать меня, если у Вас не будет собрания моих сочинений издания «Петрополиса», — до всяких других изданий ради Бога не касайтесь: я идиотичен, психопатичен насчет своих текстов, вспомню вдруг, например, что в таком-то рассказе моем не вычеркнуто в первом издании какое-нибудь лишнее, глупое слово — и готов повеситься, кричу, как Толстой, когда вспоминал что-нибудь неприятное из своих слов или поступков, на весь дом: а-а-а! [58, 135]

Хранитель языковых традиций

Иван Алексеевич Бунин. *«Окаянные дни»:*

22 апреля 1919. Совершенно нестерпим большевистский жаргон. А каков был вообще язык наших левых? «С цинизмом, доходящим до грации… Нынче брюнет, завтра блондин… Чтение в сердцах… Учинить допрос с пристрастием… Или — или: третьего не дано… Сделать надлежащие выводы… Кому сие ведать надлежит… Вариться в собственном соку… Ловкость рук… Нововременские молодцы…» А это употребление с какой-то якобы ядовитейшей иронией (неизвестно над чем и над кем) высокого стиля? Ведь даже у Короленко (особенно в письмах) это на каждом шагу. Непременно не лошадь, а Росинант, вместо «я сел писать» — «я оседлал своего Пегаса», жандармы — «мундиры небесного цвета» [17, 95].

Александр Васильевич Бахрах:

Очень долго он не хотел примириться с новой орфографией, серьезно уверяя, что никакое слово «без твердого знака не стоит на обеих ногах», а затем картинно пояснял, что «лес» без «яти» теряет весь свой смолистый аромат, тогда как в «бесе» через «е» уже исчезло все дьявольское! [8, 121]

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма главе Издательства имени Чехова Н. Р. Вредену. 9 сентября 1952 г.:*

Думаю, что для меня, классически кончающего ту славную литературу, которую начал вместе с Карамзиным Жуковский, а говоря точнее — Бунин, родной, но незаконный сын Афанасия Ивановича Бунина и только по этой незаконности получивший фамилию «Жуковский» от своего крестного отца, — для меня (одного) могло бы Ваше издательство сделать исключение (издавать книги по старой орфографии. — Сост.). Но вот не сделало [16, 149].

Владимир Брониславович Сосинский *(Брониславович Сосинский-Семихат; 1900–1987), писатель, литературный критик:*

Совершенным анекдотом звучит коротенькое, из одной фразы состоящее предисловие И. Бунина к «Темным аллеям», вышедшим в Нью-Йорке уже после победы Советского Союза над фашизмом: «Прошу считать эту книгу напечатанной по старой орфографии», поскольку давно уже во всех типографиях мира линотипные матрицы русских старых букв были сданы на переплавку [46,

379].

Георгий Викторович Адамович:

Однажды, отвечая Ивану Алексеевичу на вопрос, из-за чего поссорились два молодых парижских поэта, я сказал:

— Недоразумение у них произошло на почве…

Бунин поморщился и перебил меня:

— На почве! Бог знает как все вы стали говорить по-русски. На почве! На почве растет трава. Почва бывает сухая или сырая. А у вас на почве происходят недоразумения. ‹…› Неужели вы не чувствуете, что это «на почве» звучит по-газетному? А хуже нашего теперешнего газетного языка нет ничего на свете [3, 117].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Бунин требовал, чтобы говорили: «у вас хороший или плохой вид», и считал «вы хорошо или плохо выглядите» недопустимым [37, 231].

Валентин Петрович Катаев:

Что это за Иисус Христос в белом венчике из роз? Он (А. Блок в поэме «Двенадцать». — Сост.), вероятно, хотел сказать в веночке. Венчик — это не веночек, а совсем другое. Тут даже нет элементарного чутья русского языка. Типичнейший модернизм! [26, 84]

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма А. Седых. 15 января 1951 г.:*

Есенин отлично знал, что теперешний читатель все слопает. Нужна рифма к слову «гибель» — он лепит наглую х… «выбель». Вам угодно прочесть, что такое зимние сумерки? Пожалуйста:

Воют в сумерки долгие, зимние
Волки *грозные* (!) с тощих полей,
По дворам в догорающем инее
Над застрехами храп лошадей…

Почему храпят лошади в зимние сумерки? Каким образом они могут храпеть над застрехами? Молчи, лопай, что тебе дают! Благо никто уже не знает теперь, что застрехой называется выступ крыши над стеной. Не знает и Адамович — он вряд ли знает даже и то, что такое лошади! И умиляется до слез, как «блудный сын» (Есенин) возвращается к родителям в деревню, погибшую оттого, что возле нее прошло — уже 100 лет тому назад, шоссе, от которого «мир таинственный» деревни «как ветер, затих и *присел*»

[43, 218].

Александр Васильевич Бахрах:

— А вы много знаете русских слов для обозначения зада? (Сказал даже грубее!)

— ??

— А есть прекрасные: сахарница, хлебница, усест. Помните — да вы, конечно, помнить не можете — у Бенедиктова про наездницу, которая гордится «усестом красивым и плотным». Жалко, что у меня нет здесь стихотворений Бенедиктова. Я бы вам непременно прочитал вслух. Они гораздо звучнее Бальмонта, да и умнее, но это само собой разумеется [8, 111].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

Он часто говорит с печалью и некоторой гордостью, что с ним умрет настоящий русский язык — его остроумие (народный язык), яркость, соль.

Правда, пословицы и песни часто неприличные, но как это сильно, метко, резко выражено [28, 33].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма М. Алданову. 23 августа 1947 г.:*

Это ‹…› в моем естестве — и пейзаж, и язык, и все прочее — язык и мужицкий, и мещанский, и дворянский, и охотницкий, и дурачков, и юродов, и нищих… ‹…› И клянусь Вам — никогда я ничего не записывал; последние годы немало записал кое-чего в записных книжках, но не для себя, а «для потомства» — жаль, что многое из народного и вообще прежнего языка и быта уже забыто, забывается… [58, 136–137]

Мировосприятие

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

9/22 января 1922. «Я как-то физически чувствую людей» (Толстой). Я все физически чувствую. Я настоящего художественного естества. Я всегда мир воспринимаю через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду — и как остро, Боже мой, до чего остро, даже больно! [55, 62]

Борис Константинович Зайцев:

Он обладал необыкновенным чувственным восприятием мира, все земное, «реальное» ощущал почти с животной силой — отсюда огромная зрительная изобразительность, но все эти пейзажи, краски, звуки, запахи, — обладал почти звериной силой обоняния, — думаю, подавляли его в некоем смысле, не выпускали как бы из объятий [21, 329].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи И. В. Одоевцевой:*

Меня иногда красота пронзает до боли. Иногда я, несмотря ни на что, чувствую острое ощущение блаженства, захлестывающего, уносящего меня, даже и теперь. Такое с ума сводящее ощущение счастья, что я готов плакать и на коленях благодарить Бога за счастье жить. Такой восторг, что становится страшно и дышать трудно. Будто у меня, как, помните, у Мцыри, в груди пламя и оно сжигает меня. Или нет. Будто во мне не одна, а сотни человеческих жизней. Сотни молодых, безудержных, смелых, бессмертных жизней. Будто я бессмертен, никогда не умру [37, 282].

Николай Алексеевич Пушешников *(1882–1939), племянник И. Бунина, переводчик, мемуарист:*

Иван Алексеевич говорил, глядя на тень от дыма из паровоза, пробегавшую по полям, и на круглые белые клубы его, таявшие в прозрачном блестящем воздухе: какая это большая радость — существовать. Только видеть, хотя бы видеть лишь один вот этот дым и вот этот свет. Если бы у меня не было рук и ног ‹…› и я бы только мог сидеть за калиткой на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то это не мешало бы мне быть счастливым. Одно нужно: только видеть и дышать. Я всегда повторяю: ничто не дает такого наслаждения, как краски [7, 240].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

…Шли по парку, полному пальм, кактусов самой

разнообразной формы, похожих то на гигантских инфузорий, то на пресмыкающихся, то на толстые зеленые подошвы, утыканные иглами. Восхищались великолепными агавами, имеющими форму громадных роз или тюльпанов зеленого цвета. Я остановила И. А. у кустов мелких красных роз, свисавших сверху гибкими ветками. Он посмотрел и сказал: «Нет, в моей натуре есть гениальное. Я, например, всю жизнь отстранялся от любви к цветам. Чувствовал, что, если поддамся, буду мучеником. Ведь я вот просто взгляну на них и уже страдаю: что мне делать с их нежной, прелестной красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразишь! И, чуя это, душа сама отстраняется, у нее, как у этого кактуса, есть какие-то свои щупальцы: она ловит то, что ей надо, и отстраняется от того, что бесполезно» [28, 50].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи И. В. Одоевцевой:*

Для меня природа так же важна, как человек. Если не важнее. И всегда так было. Вот я недавно перечитал свои юношеские записки. Ведь я писал их только для себя. Мне и в голову не приходило их показывать кому-нибудь, даже брату Юлию. А сколько описаний ветра, облаков, травы, леса, столько в них встреч с природой! Я писал о природе гораздо больше, чем о людях, с которыми сталкивался. Я любил, я просто был влюблен в природу. Мне хотелось слиться с ней, стать небом, скалой, морем, ветром.

Я мучился, не умея этого высказать словами. Я выходил утром страстно взволнованный и шел в лес, как идут на любовное свидание. Как остро я любил жизнь и все живое. До страсти. Пастернак назвал свой сборник стихов «Сестра моя — жизнь». Но для меня жизнь была не только сестра, а сестра, и мать, и любовница, и жена — вечная женственность [37, 283].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи Т. Д. Муравьевой-Логиновой:*

Да, чувствую в себе всех предков своих… и дальше, дальше чувствую свою связь со «зверем», со «зверями» — и нюх у меня, и глаза, и слух — на все — не просто человеческий, а нутряной — «звериный». Поэтому «по-звериному» люблю я жизнь. Все проявления ее — связан я с ней, с природой, с землей, со всем, что в ней, под ней, над ней. И смерти я не дамся ни за что. Боюсь я ее — ох, как боюсь [32, 302].

Нина Николаевна Берберова:

У Бунина не было чувства людей, у него в сильной степени было чувство себя самого; и при его почти дикарском

эгоцентризме Бунин вовсе не умел ни брать, ни давать в личном общении, а часто бывал и настороже: как бы не задели его дворянского (и литературного) достоинства, и считал, что писателю прежде всего надо быть наблюдательным человеком. «Вот подметить, что края облаков — лиловые» [10, 306].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Как ни удивительно, Бунин всегда наслаждался каждым, даже мимолетным общением с природой. Каждый порыв ветра, прозрачность воздуха, надвигающаяся гроза, перемена освещения — все регистрировалось им мгновенно, волновало и радовало.

Он был неразрывно связан с природой, и связь эта ощущалась им иногда не только как радость, но и как мучение — настолько была она самодовлеющей, все себе подчиняющей, настолько прелесть мира до боли восхищала и терзала его.

Зрение, слух и обоняние были у него развиты несравненно сильнее, чем у обыкновенных людей.

— У меня в молодости было настолько острое зрение, — рассказывал он, — что я видел звезды, видимые другим только через телескоп. И слух поразительный — я слышал за несколько верст колокольчики едущих к нам гостей и определял по звуку, кто именно едет. А обоняние — я знал запах любого цветка и с завязанными глазами мог определить по аромату, красная это или белая роза. Это было какое-то даже чувственное ощущение.

Раз со мной такой случай произошел. Поехали мы с моей первой женой, Аней, к ее друзьям, на дачу под Одессой. Выхожу в сад вечером и чувствую — тонко, нежно и скромно, сквозь все пьянящие, роскошные запахи южных цветов тянет резедой.

— А у вас тут и резеда, — говорю хозяйке.

А она меня на смех подняла:

— Никакой резеды нет. Хоть у вас и нюх, как у охотничьей собаки, а ошибаетесь, Ваня. Розы, олеандры, акации и мало ли что еще, но только не резеда. Спросите садовника.

— Пари, — предлагаю, — на 500 рублей.

Жена возмущена:

— Ведь проиграешь!

Но пари все же состоялось. И я выиграл его. Всю ночь до зари во всех клумбах — а их было много — искал. И нашел-таки резеду, спрятавшуюся под каким-то широким, декоративным листом. И как я был счастлив! Стал на колени и поцеловал землю, в которой она росла. До резеды даже не дотронулся, не посмел, такой она мне показалась девственно невинной и недоступной. Я плакал от радости [37, 253].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

Бунину были необходимы различные люди, как и различная природа, а не только ее красоты. Без людей и природы Бунин жить не мог — тосковал без них и творчески иссякал. Но «людской материал» исчерпывался им быстро. Бунин вдруг остывал, на лице его, столь выразительном, появлялась усталость. Тогда он вставал и поднимался к себе, чаепитие продолжалось без него.

Было бы неверно сказать, что Бунин относился к людям только по-писательски, как к «материалу». Был у него и живой интерес к их участи. Совсем не был он «сух», как иногда казалось [32, 315].

Иван Алексеевич Бунин:

Всю жизнь не понимал я никогда, как можно находить смысл жизни в службе, в хозяйстве, в политике, в наживе, в семье. ‹…› Я с истинным страхом смотрел всегда на всякое благополучие, приобретение которого и обладание которым поглощало человека, а излишество и обычная низость этого благополучия вызывали во мне ненависть — даже всякая средняя гостиная с неизбежной лампой на высокой подставке под громадным рогатым абажуром из красного шелка выводили меня из себя [15, 127–128].

Иван Алексеевич Бунин:

Нет, это только ничего не значащая случайность — то, что мне суждено жить не во времена Христа, Тиверия, Не в Иудее, не на острове Кипре, а в так называемой Франции, в так называемом двадцатом веке. За всю долгую жизнь с ее бумагами, чтением книг, странствиями и мечтами я так убедил себя, будто я знаю и представляю себе огромные пространства места и времени, столько я жил в воображении чужими и далекими мирами, что мне все кажется, что я был всегда, во веки веков и всюду. А где грань между моей действительностью и моим воображением, которое есть ведь тоже действительность, тоже жизнь?

Печаль пространства, времени, формы преследует меня всю жизнь. И всю жизнь, сознательно и бессознательно, то и дело я преодолеваю их. Но на радость ли? И да — и нет.

Я жажду жить и живу не только своим настоящим, но и своей прошлой жизнью и тысячами чужих жизней, современным мне и прошлым, всей историей всего человечества со всеми странами его. Я непрестанно жажду приобретать чужое и претворять его в себе. Но зачем? Затем ли, чтобы на этом пути губить себя, свое я, свое время, свое пространство, — или затем, чтобы, напротив,

утвердить себя, обогатившись и усилившись чужим? [31, 386]

Иван Алексеевич Бунин:

Не раз испытывал я нечто поистине чудесное. Не раз случалось: я возвращаюсь из какого-нибудь далекого путешествия, возвращаюсь в те степи, на те дороги, где я некогда был ребенком, мальчиком, — и вдруг, взглянув кругом, чувствую, что долгих и многих лет, прожитых мною, как не бывало. ‹…› Это совсем не воспоминание прошлого: нет, просто я опять прежний, опять в том же самом отношении к этим полям и дорогам, к этому тамбовскому небу, в том же самом восприятии и их и всего мира, как это было вот здесь, вот на этом проселке в дни моего детства, отрочества. ‹…› Нет слов передать всю боль и радость этих минут, все горькое счастье, всю печаль и нежность их! [31, 384]

Иван Алексеевич Бунин:

Я прожил почти полвека. Но мне когда-то сказали это — то, что я родился в таком-то году, в такой-то день и час: иначе я не знал бы не только дня своего рождения, — а следовательно, и счета прожитых мною лет, — но даже и того, что я существую в силу именно рождения. Да и вообще странна основа моей жизни: стоит мне мало-мальски задуматься над этой жизнью — тотчас же непонимание, ничем не разрешающееся удивление. Это как когда смотришься в зеркало: что это такое, кто это такой, которого я вижу, который есть и о котором я думаю, и кто собственно на кого смотрит? Опасное занятие, с ума можно сойти.

Полагают, что лишь человек дивится своему собственному существованию и что в этом его главное отличие от прочих темных существ, которые еще в раю, в неведении, в недумании о себе. Если так, отличие немалое. Надо только прибавить, что и люди отличаются друг от друга — степенью, мерой этого удивления. Что до меня, то повторяю: я отмечен этим свойством очень явственно [31, 383–384].

Иван Алексеевич Бунин. *20 февраля 1911:*

Я именно из тех, которые, видя колыбель, не могут не вспомнить о могиле. Поминутно думаю: что за странная и страшная вещь наше существование — каждую секунду висишь на волоске! Вот я жив, здоров, а кто знает, что будет через секунду с моим сердцем, которое, как и всякое человеческое сердце, есть нечто такое, чему нет равного во всем творении по таинственности и тонкости? И на таком же волоске висит и мое счастье, спокойствие, то есть жизнь, здоровье всех тех, кого я

люблю, кем я дорожу даже больше, чем самим собою… За что и зачем все это? [54, 83]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

17 мая 1930. За обедом разговор о смерти. Ян возмущается обрядами. — «Умер человек и как можно быстрее его увезти. Я хотел бы, чтобы меня завернули в холст и отправили в Египет, а там положили бы в нишу на лавку и я высох бы. А в землю — это ужасно. Грязь, черви, ветер завывает». Говорил он об этом с изумительным спокойствием. Говорил, что не может видеть крепа [55, 178].

Вера

Иван Алексеевич Бунин:

Как только я узнал из книжечки какого-то протоиерея Рудакова, что был некогда «рай или прекрасный сад», и увидел на картинке «древо познанья добра и зла», с которого кольцами свивается на длинноволосую, нагую Еву искуситель, я тотчас же вообразил, почувствовал, да так и остался на весь век с чувством, что я был в этом «прекрасном» саду [34].

Борис Константинович Зайцев:

Не хочу сказать, что был для него закрыт высший мир — чувство Бога, вселенной, любви, смерти, — он это все тоже чувствовал, особенно в расцветную свою полосу, и чувствовал с неким азиатско-буддийским оттенком. Будда был ему чем-то близок. Но вот чувство греха, виновности вполне отсутствовало [22, 398].

Иван Алексеевич Бунин:

12 февраля 1911 г., ночью, в Порт-Саиде. ‹…› Суздальская древняя иконка в почерневшем серебряном окладе, с которой я никогда не расстаюсь, святыня, связующая меня нежной и благоговейной связью с моим родом, с миром, где моя колыбель, где мое детство, — иконка эта уже висит над моей корабельной койкой. «Путь Твой в море и стезя Твоя в водах великих и следы Твои неведомы…» Сейчас, благодарный и за эту лампу, и за эту тишину, и за то, что я живу, странствую, люблю, радуюсь, поклонюсь Тому, Кто незримо хранит меня на всех путях моих своей милосердной волей, и лягу, чтобы проснуться уже в пути. Жизнь моя — трепетное и радостное причастие вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною. Продли, Боже, сроки мои! [11, 423]

Николай Алексеевич Пушешников:

20 апреля 1918 года. Вечером опять у Ивана Алексеевича. Он только что пришел из церкви. Глаза заплаканы.

— После всей этой мерзости, цинизма, убийств, крови, казней я был совершенно потрясен. Я так исстрадался, я так измучился, я так оскорблен, что все эти возвышенные слова, иконостас золотой, свечи и дивной красоты песни произвели на меня такое впечатление, что я минут пятнадцать плакал навзрыд и не мог удержаться. Все, что человечество создало самого лучшего и

прекрасного, все это вылилось в религию… Да, только в редкие минуты нам дано это понимать [33, 164].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

10/23 января ‹1922›. Ночью вдруг думаю: исповедаться бы у какого-нибудь простого, жалкого монаха где-нибудь в глухом монастыре под Вологдой! Затрепетать от власти его, унизиться перед ним, как перед Богом… почувствовать его как отца… [55, 62]

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

20 сент./3 окт. 1922. Поет колокол St. Denis. Какое очарование! Голос давний, древний, а ведь это главное: связующий с прошлым. И на древние русские похож. Это большое счастье и мудрость пожертвовать драгоценный колокол на ту церковь, близ которой ляжешь навеки. Тебя не будет, а твой колокол, как бы часть твоя, все будут и будет петь — сто, двести, пятьсот лет [55, 78].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

9 февр. 1923. За обедом говорили с Яном о загробной жизни. Ян верит в бессмертие сознания, но не своего я [55, 89].

Нина Николаевна Берберова:

Будучи абсолютным и закоренелым атеистом (о чем я много раз сама слышала от него) и любя пугать и себя, и других (в частности, бедного Алданова) тем, что черви поползут у них из глаз и изо рта в уши, когда оба будут лежать в земле, он даже никогда не задавался вопросами религии и совершенно не умел мыслить абстрактно [10, 295].

Никита Алексеевич Струве:

Верил ли Бунин во что-нибудь? Конечно, он верил в слово, в писательство, в красоту природы, в себя, в свою литературную ценность. Но за всем этим великолепием ‹…› скрывался мучительный страх, страх смерти, уничтожения, небытия. ‹…›

Умом своим Бунин верил в Бога, но сердца своего ему не отдал [50, 249–251].

Андрей Седых:

[Бунин] был совершенно непримирим (в вопросах религиозного характера. — Сост.), ни на какие компромиссы не шел; между прочим, он Блока возненавидел в значительной степени за его богохульство в «Двенадцати». Этого он совершенно

не переносил [5, 210].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма А. Седых. 18 декабря 1949 г.:*

P. S. Вы не должны огорчаться за Блока. Это был перверсный актер, патологически склонный к кощунству: только Демьян Бедный мог решиться на такую, например, гнусность, как рифмовка (в последнем мерзком куплете «Двенадцати») — мне даже трудно это писать! — рифмовка «пес — Христос». Только последний негодяй мог назвать Петра Апостола (пришедшего в Рим на Распятие — и потребовавшего, чтобы Его распяли вниз головой, ибо Он считал, что недостоин быть распятым обычно, так, как распят был Христос) «дураком с отвислой губой», а Блок именно так и написал: «дурак с отвислой губой Симон удит рыбу». И это — о Петре, красота души котрого даже увеличивала эту красоту, — вспомните, как горячо кинулся защищать Христа (ухо отсек), как отрекся трижды от Него и как плакал потом… [43, 209–210]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

6 января 1950. ‹…› Леня (Зуров. — Сост.) задал Яну вопрос: Почему в ранних ваших стихах и потом в «Храме Солнца» у вас душа религиозная, а затем вы как-то от этого закрылись? — Ян ничего не ответил [55, 395].

Политические взгляды и убеждения

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Полдня переписывала дневник Яна. Как по-разному переживали мы большевиков. У него все уходило в ярость, в негодование [55, 80].

Иван Алексеевич Бунин:

6/19.6.21. Париж. Что так быстро (тотчас же, чуть не в первый день) восстановило меня против революции («мартовской»)? Кишкин, залезший в генерал-губернаторский дом, его огромный «революционный» бант (красный с белым розан), страстно идиотические хлопоты этой психопатки К. П. Пешковой по снаряжению поездов в Сибирь за «борцами», своевольство, самозванство, ложь — словом, все то, что всю жизнь ненавидел [55, 41].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

26 мая 1918. Двинулись в 11 ч. 20 м. утра. В 12 ч. без 10 м. мы на «немецкой» Орше — за границей. Ян со слезами сказал: «Никогда не переезжал с таким чувством границы! Весь дрожу! Неужели наконец я избавился от власти этого скотского народа!» Болезненно счастлив был, когда немец дал в морду какому-то большевику, вздумавшему что-то сделать еще по-большевицки [54, 145].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

17 февраля / 2 марта 1919. Говорили о большевиках. Ян считает их всех негодяями, не верит в фанатизм Ленина.

— Если бы я верил, что они хоть фанатики, то мне не так было бы тяжело, не так разрывалось бы сердце [54, 175].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

13/26 декабря 1919. Вчера мы пили вино. Ян возбудился, хорошо говорил о том, что он не может жить в новом мире, что он принадлежит к старому миру, к миру Гончарова, Толстого, Москвы, Петербурга. Что поэзия только там, а в новом мире он не улавливает ее. Когда он говорил, то на глазах у него блестели слезы. Ни социализма, ни коллектива он воспринять не может, все это чуждо ему. Близко ему индивидуальное восприятие мира. Потом он иллюстрировал:

— Я признавал мир, где есть I, II, III классы. Едешь в заграничном экспрессе по швейцарским горам, мимо озер к морю.

Утро. Выходишь из купе в коридор, в открытую дверь видишь лежит женщина, на плечах у нее клетчатый плед. Какой-то особенный запах. Во всем чувствуется культура. Все это очень трудно выразить. А теперь ничего этого нет [54, 266–267].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

1/14 февраля 1922. Все едут в Берлин, падают духом, сдаются, разлагаются. Большевики этого ждали… Изумительные люди! Буквально во всем ставка на человеческую низость! Неужели «новая прекрасная жизнь» вся будет заключаться только в подлости и утробе? Да, к этому идет. Истинно мы лишние [55, 66].

Иван Алексеевич Бунин:

Жить в вечной зависимости от гнева или милости разнузданного человека-зверя, человека-скота, жить в вечном страхе за свой приют, за свою честь, за собственную жизнь и за жизнь и честь своих родных, близких, жить в атмосфере вечно висящей в воздухе смертельной беды, кровной обиды, ограбления, погибать без защиты, без вины, по прихоти негодяя, разбойника — это несказанный ужас, это мы все — уже третий год переживающие «великую русскую революцию», — должны хорошо понимать теперь. И наш общий долг — без конца восставать против всего этого, без конца говорить то, что известно каждому мало-мальски здравому человеку и что все-таки нуждается в постоянном напоминании. Да, так жить дальше просто невмоготу. Да, пора одуматься подстрекателям на убийство и справа и слева, революционерам и русским и еврейским, всем тем, кто уже так давно, недоговаривая и договаривая, призывает к вражде, к злобе, ко всякого рода схваткам, приглашает «в борьбе обрести право свое» или откровенно ревет на всех перекрестках: «Смерть, смерть!» — неустанно будя в народе зверя, натравливая человека на человека, класс на класс, выкидывая всяческие красные знамена или черные хоругви с изображением белых черепов [5, 209].

Никита Алексеевич Струве:

К большевизму ‹…› он относился всегда с отвращением, в котором было, пожалуй, больше брезгливости, чем ненависти, — как к чему-то предельно уродливому [50, 250].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

16. V. 41. 10 1/2 часов вечера. Зуров слушает русское радио. Слушал начало и я. Какой-то «народный певец» живет в каком-то

«чудном уголке» и поет: «Слово Сталина в народе золотой течет струей…» Ехать в такую подлую, изолгавшуюся страну! [55, 314]

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

30. XII. 41. Хотят, чтобы я любил Россию, столица которой — Ленинград, Нижний — Горький, Тверь — Калинин — по имени ничтожеств, типа метранпажа захолустной типографии! Балаган [55, 340].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма М. Алданову. 20 апреля 1953 г.:*

Позовет ли опять меня в Москву Телешов — не знаю, но хоть бы сто раз меня туда позвали и была бы в Москве во всех отношениях полнейшая свобода, а я бы мог двигаться, все равно никогда не поехал бы я в город, где на Красной площади лежат в студне два гнусных трупа [58, 150].

Василий Семенович Яновский:

По своему характеру, воспитанию, по общим впечатлениям Бунин мог бы склониться в сторону фашизма; но он этого никогда не проделал. Свою верную ненависть к большевикам он не подкреплял симпатией к гитлеризму. Отталкивало Бунина от обоих режимов, думаю, в первую очередь их хамство! [59, 320]

Своеобразие ума и мышления

Георгий Викторович Адамович:

У Бунина был очень острый ум, лишенный, однако, всего, что можно было бы отнести к способностям аналитическим. Ошибался он в оценках редко, — в особенности, когда речь шла о прошлом, — но объяснить, обосновать свое суждение не мог [3, 151].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Каким умным, талантливым собеседником был Бунин, и как убеждалась я, слушая его, что никакое образование не может заменить ум, безо всякой ученой подготовки способный к восприятию всего, что существует в мире. Как быстро, как точно понимал И. А. то, что он слышал, да и всю таинственность человеческой природы. Регистр его был широк — и академизм прекрасно уживался в нем с самой простонародной зоркостью, как и высокий стиль — с крепким черноземным словом [57, 204].

Георгий Викторович Адамович:

Он был на редкость умен. Но ум его с гораздо большей очевидностью обнаруживался в суждениях о людях и о том, что несколько расплывчато можно назвать жизнью, чем в области отвлеченных логических построений [3, 114].

Василий Семенович Яновский:

Придраться к Бунину, интеллектуально беззащитному, было совсем не трудно. Как только речь касалась понятий отвлеченных, он, не замечая этого, терял почву под ногами. Лучше всего ему удавались устные воспоминания, импровизации — не о Горьком или Блоке, а о ресторанах, о стерляди, о спальных вагонах Петербургско-Варшавской железной дороги [59, 311].

Петр Александрович Нилус *(1869–1943), прозаик, художник, друг И. Бунина:*

Отличался ‹…› Бунин ‹…› феноменальной памятью: стоило ему внимательно прочитать стихотворение, даже большое, в 20–30 строк, и он его передавал с точностью фотографа [32, 432].

Иван Алексеевич Бунин. *Из наброска письма Ю. Л. Сазоновой:*

Память у меня на что-нибудь более или менее обыденное, простое, бывшее со мной и при мне, на дни, на годы, на лица —

словом на все то, что порой перечисляется моими критиками, даже ниже средней. Зато в меня сильно входит и без конца тайно живет во мне то общее, что было воспринято мной, для меня вполне бессознательно, в тот или иной период моей жизни, в той или иной стране, в той или иной природе, в той или иной человеческой среде, в том или ином быту, в том или ином бытовом языке[4].

Александр Васильевич Бахрах:

С цифрами он был не в ладу. ‹…› У него не было достаточно терпения, чтобы что-то считать или производить какие-то арифметические действия. Когда дело касалось единиц, он был весьма расчетлив, потому что ощущал вес и значение каждой единицы. Но коль скоро дело касалось сотен или тысяч, он был неумеренно щедр — реальность больших цифр он себе не представлял [8, 184–185].

Федор Августович Степун *(1884–1965), философ, писатель, критик:*

Не надо забывать, что греческое слово «теория» означает не мышление, а созерцание. Талант Бунина это помнит. Бунин думает глазами, и лучшие страницы его наиболее глубоких вещей являются живым доказательством того, что созерцание мира умными глазами стоит любой миросозерцательной глубины. У Бунина же зрение предельно обострено; ему отведены не только орлиные глаза для дня, но и совиные для ночи. Поистине он все видит [47, 157].

Борис Константинович Зайцев:

Поехали втроем — он, я и Галина, в городок Бар. ‹…› Иван, как всегда, в канотье своем, во всем белом, веселый и оживленный, вышел с нами из вагончика на «вокзале» ‹…› — и вдруг быстро, легко подскочил ко мне, остановился и стал в упор разглядывать, словно врач для диагноза. Отлично помню почти вплотную придвинутое лицо, многолетне знакомые глаза, в них выразился теперь почти ужас. Но и на леопарда он был похож, вот сейчас кинется…

— Это козел! — сказал он сдавленно, все с тем же ужасом. — Это страшный козел! Страшный козел!

Мы с Галиной чуть не прыснули со смеху. Не то было смешно, что он нашел во мне нечто козлиное, но тот почти мистический страх, который выразился на его лице, несколько даже побледневшем. Точно встретил неожиданно… фавна — вот заиграет он сейчас на тысячелетней дудочке. Но я не заиграл, на

ногах у меня шерсти не оказалось, просто туфли белые, и копыт под ними тоже не было.

Ну, разумеется, пустяк и мелочь. Но Иван вообще был одареннейшей, особенной натурой. Это о себе он знал и об этом говорил. «Не раз чувствовал я себя не только прежним собою — ребенком, отроком, юношей, но и своим отцом, дедом, прадедом, пращуром, в свой срок кто-то должен, и будет, чувствовать себя мною».

Не удивительно, что и меня, сотрудника «Современных Записок», ощутил он вдруг неким козлоногим, древнего происхождения [22, 401].

Особенности поведения

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

Он в жизни был «на сцене» и отлично пользовался этим своим даром. Вера Николаевна правильно говорила, что у него все данные первоклассного актера [32, 310–311].

Викентий Викентьевич Вересаев:

Он был очарователен с высшими, по-товарищески мил с равными, надменен и резок с низшими; начинающие писатели, обращавшиеся к нему за советом, выскакивали от него, как из бани, — такие уничтожающие, раскатывающие отзывы давал он им. В этом отношении он был полною противоположностью Горькому или Короленко, которые относились к начинающим писателям с самым бережным вниманием. Кажется, нет ни одного писателя, которого бы ввел в литературу Бунин. Но он усиленно протаскивал молодых писателей, окружавших его поклонением и рабски подражавших ему, как, например, поэта Николая Мешкова, беллетриста Н. Г. Шкляра и др. С равными он был очень сдержан в отрицательных отзывах об их творчестве, и в его молчании всякий мог чувствовать как бы некоторое одобрение [20, 454].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

И. А. был опять, как всегда с чужими, тонко и очаровательно любезен. ‹…› Говорил все время благодушным и любезным, почти царственным тоном. ‹…› Он большой актер в жизни. Я знаю, что так надо общаться с людьми, но воспоминанье о его часто невозможных ни для печати, ни для произношения словечках, о его резкости временами заставляли меня в душе улыбаться. Впрочем, эта общедоступная любезность все покрывает нивелирующим лаком, и дома он оригинальнее [28, 54].

Ирина Владимировна Одоевцева:

В домашнем быту Бунин сбрасывал с себя все свое величие и официальность. Он умел быть любезным, гостеприимным хозяином и на редкость очаровательным гостем, всегда — это выходило само собой — оставаясь центром всеобщего внимания.

Он бывал естествен, весел и даже уютен. От величественности не оставалось ни малейшей тени.

Но когда ему это казалось нужным, он сразу, как мантию, накидывал на себя всю свою величественность [37, 231].

Александр Васильевич Бахрах:

У себя дома Бунин приемов не любил. Роль гостеприимного хозяина была ему не по душе, хотя в ограниченном кругу он эту роль всегда выполнял с блеском и со свойственной ему словесной щедростью сыпал всякими остротами и эпиграммами… Не раз мне приходилось быть свидетелем того, как он разыгрывал шаржи на знакомых и друзей и в первую очередь изображал коллег по перу, всегда метко, иногда зло, никогда не злобно. Актер он был вообще первоклассный, и не надо удивляться тому, что в свое время Станиславский настойчиво предлагал ему включиться в труппу Художественного театра. Впрочем, в данном случае Станиславский не был тонким психологом: Бунин и театр, Бунин и дисциплина — две «вещи несовместные» [8, 21–22].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Он был неизменно мил с нами и очень забавно передразнивал мою картавость. Впрочем, передразнивал он не только меня, но и всех друзей и недругов, дарил «всем сестрам по серьгам», как он сам говорил, рассыпая искрометно блестящие карикатурные портреты [37, 231].

Василий Семенович Яновский:

Натуральной склонностью обиженного в молодости Бунина было высмеять, обругать, унизить. Когда богатый купец угощал Бунина хорошим обедом, он, показывая независимость, привередничал, браковал вина, гонял прислугу, кричал:

— Да если бы мне такую стерлядь подали в Москве, так я бы…

Глядя на него, можно было легко поверить, что в России неплохие люди, единственно чтобы показать самостоятельность, мазали горчицей нос официантам и били тяжелые зеркала [59, 314].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Мы сели за стол, Бунин брезгливо отодвинул тарелку:

— Я сегодня ничего есть не могу. Мне что-то с утра нездоровится.

Вера Николаевна испуганно замигала и со своего места громко зашептала:

— Ян, неудобно. Ешь! Ведь они так потратились.

Я с трудом удержала смех. Я уже знала, что Бунин почти всегда, придя в гости, грозил, что он сегодня есть не станет, что, впрочем, не мешало ему тут же проявлять отличный аппетит.

Так, конечно, случилось и на этот раз.

Закусив и выпив, Бунин принялся изображать в лицах общих знакомых, как всегда, неподражаемо талантливо передразнивая их. ‹…› После обеда Буниным, как всегда, овладела «охота к перемене мест», и мы, не споря с ним, погрузились вшестером в такси и отправились на Монпарнас, где кочевали из кафе в кафе, нигде не засиживаясь [37, 96].

Владимир Пименович Крымов:

В личном общении Бунин был иногда неприятен, он выделял себя над всеми, не переносил сравнений с другими писателями, считал это для себя оскорбительным: он несравним, он — Бунин. На этой почве мы с ним несколько раз ссорились, он вообще позволял себе выражения резкие и обидные, но спокойно принимал и отпор, если он был сделан в остроумной форме, и никакой обиды не было, сохранялись дружеские отношения. ‹…›

Резкость Бунина была интересна и красочна, божьи коровки обычно скучны [27, 203].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Да, Бунин мог быть иногда очень неприятен, даже не замечая этого. Он действительно как будто не давал себе труда считаться с окружающими. Все зависело от его настроения. Но настроения свои он менял с поразительной быстротой и часто в продолжение одного вечера бывал то грустным, то веселым, то сердитым, то благодушным.

Он был очень нервен и впечатлителен, чем и объяснялась смена его настроений. Он сам сознавался, что под влиянием минуты способен на самые сумасбродные поступки, о которых потом жалел.

— И зачем только я его огорчил? — с недоумением спрашивал он. — Ах, как нехорошо вышло. Зря человека обидел… [37, 232]

Александр Васильевич Бахрах:

Бывали ‹…› вечера, когда Бунин неожиданно «вскипал», разозлившись на не угодившее ему какое-нибудь словцо, и на следующее утро адресовал своему без вины виноватому «обидчику» пропитанное ядом и не всегда вполне цензурными выражениями письмо. Впрочем, опустив его в почтовый ящик, он сразу же о своем поступке сожалел. Но что было ему делать? Я знавал одного беллетриста, ‹…› который такое бунинское послание застеклил и на видном месте повесил у себя в столовой [8, 22].

Андрей Седых:

В выражениях он ‹…› никогда не стеснялся. Будущему издателю писем Бунина придется немало слов в них заменить многоточиями. Вот один случай, связанный с любовью Бунина к крепкому слову.

Ехали мы как-то ночью в такси. В те годы множество шоферов такси в Париже были русские. Узнать их можно было сразу по акценту, по тому, как сосредоточенно сидели они за рулем, держась за него двумя руками, даже по крепким, каким-то особенно русским затылкам. Но на этот раз мы не узнали — дали адрес, и шофер повез по темным улочкам, дальней дорогой, и Бунин вдруг начал ругаться сочными, отборными словами. Шофер обернулся к нам и добродушно, словно вся эта ругань к нему не относилась, сказал:

— А вы, господин, должно быть из моряков? Ловко выражаетесь.

— Я не моряк, — как-то строго и скороговоркой ответил Бунин. — Я — почетный академик по разряду изящной словесности.

Тут шофер просто покатился со смеху и долго потом еще не мог успокоиться:

— Академик!.. Да… Действительно, изящная словесность! [43, 187–188]

Нина Николаевна Берберова:

Он любил главным образом так называемые детские непечатные слова на г, на ж, на с и так далее… [10, 293]

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Как-то приехала я из Брюсселя; И. А. встретил меня на вокзале. ‹…› Мы сели в такси, и по дороге Иван Алексеевич, с обычной своей остротой, принялся рассказывать все, что произошло в русском литературном Париже, выражаясь крепко и по-русски, о своих и моих собратьях. Жаль, что не было тогда еще кассет, чтобы сохранить неповторимую (и нецензурную) речь академика. А когда мы выходили из такси, то, обернувшись к нам с веселым лицом, шофер сказал: «Приятно было покатать гордость нашей эмиграции. Я прямо заслушался — ох, и хорошо же Вы знаете русский язык!» — и отказался взять на чай [57, 204].

Галина Николаевна Кузнецова:

По живости своего темперамента он многих бранил, но часто тут же, в той же фразе, напоминал обо всем талантливом, обещающем, что находил в них. Бранил он легко, очень легко, но

это зависело от многого: он был безгранично требователен к себе и хотел того же от других [29].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Любил он уважение, но не терпел лести и остался в моей памяти умным, талантливым, беспредельной честности писателем, работавшим, несомненно, безо всякой оглядки на читателя, хотя славу и почет ценил очень, а в деньгах нуждался почти всю жизнь. ‹…› Чествования любил, но считал, что всюду надо соблюдать свое достоинство, и выражал он это мастерским невниманием к присутствующим, по-актерски высокомерничая, с прекрасно дозированными мгновениями «шармантности» [57, 202–203].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи И. В. Одоевцевой:*

Люблю лесть. Даже самую грубую, неприкрытую… Но тонкая лесть, конечно, еще приятнее. В лавке Суханова спрашиваю приказчика как-то, хороши ли вновь полученные консервы из налимьей печенки, а он отвечает почтительно: «Кто их знает, Иван Алексеевич. Не пробывал-с. „Темные аллеи“. А вот чайную колбасу могу рекомендовать. Прелесть. „Митина любовь“, да и только-с!» Вот как польстить сумел [37, 287].

Марк Алданов *(настоящая фамилия Ландау, 1886–1957), прозаик, публицист, близкий друг Буниных:*

Несмотря на всю свою славу, Бунин был до конца своих дней очень чувствителен и к лестным, и к нелестным отзывам [4].

Василий Семенович Яновский:

Одно из самых потрясающих признаний, сделанных Буниным (их было не много) ‹…› Раз в «Доминике» (кафе в Париже. — Сост.) поздно ночью, пропустив последнее метро, он мне сказал:

— Даже теперь еще… как только увижу свое имя в печати, и вот тут, — он поскреб пядью у себя в области сердца, — вот тут чувство, похожее на оргазм! [59, 197]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Бунин утверждал, что нечестолюбивых писателей нет и быть не может. Только одни это скрывают и ловко прикидываются скромными [37, 108].

Владимир Михайлович Зернов:

Помню Бунина-лауреата на обеде у С. В. Рахманинова. Сергей Васильевич слушает внимательно и словно немного

снисходительно, как Бунин рассказывает о происхождении своего древнего рода, о своей поездке в Стокгольм. ‹…› Бунину это нужно, нужен и древний род, и торжество его признания, и слава, и хочется, чтобы эта слава была мировой, всемирной, с лаврами, цветами и рукоплесканиями.

А Рахманинов слушает его, как царь, владеющий безграничным царством, для которого вся эта слава и блеск только «суета и томление духа». Но слушает его доброжелательно, с живым интересом, иногда вставляя свои, немного шутливые, замечания [32, 358].

Антонин Петрович Ладинский:

Как и у всякого человека, были у Ивана Алексеевича и маленькие слабости. Он очень гордился своим дворянством, писал и говорил, что его род уже дал России двух поэтов: Жуковского, сына Бунина и пленной турчанки, и Анну Бунину, а также многих государственных деятелей. Поверим Бунину на слово, хотя что-то не приходилось встречать государственных деятелей в российской истории с такой фамилией, и едва ли это были чиновники выше губернаторского ранга [36, 222–223].

Владимир Пименович Крымов:

Бунин был известен тем, что он нередко кричал: «Я — дворянин Бунин!» Он гордился тем, что он дворянин. «Писателем может стать каждый, если научится хорошо писать, а дворянином надо родиться…» [27, 203]

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Проведший детство и юность в захолустном мелкопоместном быту, молодость и зрелость — среди интеллигенции все же разночинной ‹…› И. А. сохранил ностальгию по дворянскому миру, к которому, он помнил крепко, он принадлежал ‹…›. Барство и род уважал он в себе и в других как что-то имеющее некую ‹…› нравственную ценность [57, 204–205].

Ирина Владимировна Одоевцева:

То, что Бунин был особенный человек, чувствовали многие, почти все.

Мы с ним однажды зашли купить пирожные в кондитерскую Коклена на углу Пасси, где я бывала довольно часто.

В следующее мое посещение меня спросила, смущаясь, кассирша:

— Простите, пожалуйста, но мне очень хочется узнать, кто этот господин, приходивший с вами позавчера?

Я не без гордости ответила:

— Знаменитый русский писатель.

Но ответ мой не произвел на нее должного впечатления.

— Писатель, — разочарованно повторила она. — А я думала, какой-нибудь гран-дюк. Он такой… такой, — и она, не найдя подходящего определения, характеризующего Бунина, принялась отсчитывать мне сдачу.

Мне часто приходилось замечать, что Бунин притягивал к себе взгляды прохожих на улице [37, 298–299].

Собеседник

Георгий Викторович Адамович:

Все встречавшиеся с Буниным знают, что он почти никогда не вел связных, сколько-нибудь отвлеченных бесед, что он почти всегда шутил, острил, притворно ворчал, избегал долгих споров. Но как бывают глупые пререкания на самые глубокомысленные темы, так бывает и вся светящаяся умом и скрытой содержательностью речь о пустяках. У Бунина ум светился в каждом его слове, и обаяние его этим усиливалось [3, 128–129].

Василий Семенович Яновский:

С ним нельзя было, да и не надо было, беседовать на отвлеченные темы. Не дай Бог заговорить о гностиках, о Кафке, даже о большой русской поэзии: хоть уши затыкай. Любил он чрезмерно Мопассана, которого французы не могли считать великим писателем, как и американцы Эдгара По! ‹…› Боже упаси заикнуться при Бунине о личных его знакомых: Горький, Андреев, Белый, даже Гумилев. Обо всех современниках у него было горькое, едкое словцо, точно у бывшего дворового, мстящего своим мучителям-барам. ‹…›

Вспоминаю ночные часы, проведенные в обществе Бунина, и решительно не могу воспроизвести чего-нибудь отвлеченно ценного, значительного. Ни одной мысли общего порядка, ни одного перехода, достойного пристального внимания… Только «живописные» картинки, кондовые словечки, язвительные шуточки и критика — всех, всего! Кстати, Толстой крыл многих, но обидели его не Горький с Блоком, а Шекспир и Наполеон. ‹…›

Это был умный, ядовитый, насмешливый собеседник, свое невежество искупавший шармом [59, 313–317].

Серж Лифарь. *Из письма А. К. Бабореко. 6 февраля 1974 г.:*

Язык его был как лезвие бритвы. Большей частью ядовитое, когда он не щадил никого [5, 141].

Георгий Викторович Адамович:

Меня смущал и стеснял его иронический тон в беседах, правда, добродушный. Бунин подтрунивал «над всеми вами, декадентами» и вдруг пристально смотрел в глаза, когда говорил что-нибудь, по его мнению, существенное, важное, будто проверяя: понял, одобрил или ничего не понял и потому заранее отвергает? Спорить он не любил, споры быстро прекращал… [3, 113]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Возражений он не переносил. Он привык к тому, что все благоговейно слушают его, не решаясь прервать.

Как-то на другом обеде, когда Бунин был на редкость в ударе и без устали рассказывал о дореволюционной жизни Москвы и о Художественном театре, — один из гостей вдруг прервал его:

— Позвольте, Иван Алексеевич, а по моему мнению…

Бунин через плечо окинул его уничтожающим взглядом и с нескрываемым изумлением почти пропел:

— По вашему мнению, — растягивая и подчеркивая «вашему». — Скажите, пожалуйста… — будто не допуская возможности своего мнения у человека, осмелившегося прервать его.

Тот настолько смутился, что, багрово покраснев, уже не в силах был высказать «своего мнения», а Бунин, брезгливо усмехнувшись и пожав плечами, продолжал, как ни в чем не бывало, свой рассказ, не отдавая себе отчета, что он смертельно обидел человека [37, 232–233].

Георгий Викторович Адамович:

Не уверен, что правильно было бы назвать его блестящим собеседником, златоустом, по-французски «козэром», кем-то вроде Анатоля Франса. ‹…› Ораторских способностей у Бунина не было никаких, в противоположность Мережковскому… ‹…› Бунин вовсе не был красноречив. Но когда он бывал в «ударе», был более или менее здоров, когда вокруг были друзья, его юмористические воспоминания, наблюдения, замечания, подражания, шутки, сравнения превращались в подлинный словесный фейерверк. Он был не менее талантлив в устных рассказах, чем в писаниях… [3, 113]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Ему нужно и интересно было вести разговоры только о том, что в данное время его занимает [35, 456].

Нина Николаевна Берберова:

Трудно общаться с человеком, когда слишком есть много запретных тем, которых нельзя касаться. С Буниным нельзя было говорить о символистах, о его собственных стихах, о русской политике, о смерти, о современном искусстве, о романах Набокова… всего не перечесть. Символистов он «стирал в порошок»; к собственным стихам относился ревниво и не позволял суждений о них ‹…› смерти он боялся, злился, что

она есть; искусства и музыки не понимал вовсе; имя Набокова приводило его в ярость. Поэтому очень часто разговор был мелкий, вертелся вокруг общих знакомых, бытовых интересов. Только очень редко, особенно после бутылки вина, Бунин «распускался», его прекрасное лицо одушевлялось лирической мыслью, крупные, сильные руки дополняли облик, и речь его лилась — о себе самом, конечно, но о себе самом не мелком, злобном, ревнивом и чванном человеке, а о большом писателе, не нашедшем себе настоящего места в своем времени [10, 300–301].

Георгий Викторович Адамович:

В беседе с глазу на глаз он держался гораздо более сдержанно. Ему нужна была аудитория, хотя бы самая маленькая, в два-три человека, и тогда он расцветал, тогда бывал неутомим и, казалось, сам наслаждался портретами и карикатурами, которые рисовал [3, 116].

Рассказчик

Ирина Владимировна Одоевцева:

Он все видел как-то по-своему и находил для всего новые, неожиданные сравнения и определения [37, 231].

Марк Алданов:

Бунин всегда говорил превосходно. Искусство рассказчика у него дополнялось даром имитатора. Когда он бывал в ударе, просто нельзя было не заслушаться [4].

Николай Яковлевич Рощин:

Неуловимое изменение в чертах сухого красивого лица… Жест непередаваемый, но точный, незаметный излом походки, голоса — и перед вами сторож у шалаша караулки, сельский дьячок, армейский офицер, мещанин-прасол, пастух, декадентская поэтесса, мужик, гробовщик. Странно, непостижимо… [32, 438]

Нина Николаевна Берберова:

Как я любила его стиль в разговоре, напоминавший героя «Села Степанчикова», Фому Фомича Опискина: «называйте меня просто ваше превосходительство», и его крепкое рукопожатие, разговоры о «дворянских родинках» и «дворянских ушах» и вообще обо всем «дворянском» — я такого, конечно, не слыхала никогда даже от дедушки Караулова! Здесь было что-то древнее, феодальное, а ему вместе с тем всегда хотелось быть с молодыми, быть самому молодым. Как я любила его рассказы (взятые готовыми из старых повестей) о собаках — муругих, брудастых, которые опсовели, которые заложились, полвопегие, подуздые; о трактирах на главной орловской улице — поди, проверь их, вероятно, половина выдумана вот сейчас, на месте, а все вместе — чудо как хорошо! [10, 292]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Он, как никто, умел заставлять слушающего переживать вместе с ним все его чувства и мысли, видеть его глазами, слышать его ушами. Он делился со слушателем своей радостью, своим горем, делал его участником своей жизни, до такой степени приобщая его к своим переживаниям, что тому часто казалось, что дело идет о нем самом, а не о Бунине. Граница, отделяющая Бунина от его слушателя, как бы исчезала.

— Это какая-то магия, гипноз, — рассказывал мне один очень

нервный и впечатлительный поклонник Бунина. — Я просто боюсь его. Мы как-то ехали с ним в поезде, одни в купе. Бунин был очень взволнован, жаловался на свою судьбу. А я слушал и все с ним вместе переживал. И так же, как он, волновался. И вдруг он говорит — рука затекла, болит. И я чувствую, что и у меня болит рука — его рука у меня болит, понимаете? Я встал, вышел в коридор. Так всю дорогу и простоял. Мне страшно было. Я будто потерял себя… [37, 249]

Александр Васильевич Бахрах:

И еще: часто он говорил одному одно, а другому другое — о том же самом, смотря по настроению [8, 23].

Острослов

Иван Алексеевич Бунин:

Род наш значится в шестой книге. А гуляя как-то по Одессе, я наткнулся на вывеску «Пекарня Сруля Бунина». Каково! [8, 97]

Георгий Викторович Адамович:

Некий молодой писатель, из «принципиально передовых и левых», выпустил книгу рассказов, послал ее Бунину — и при встрече справился, прочел ли ее Иван Алексеевич и каково его о ней мнение.

— Да, да, прочел, как же!.. Кое-что совсем недурно. Только вот что мне не нравится: почему вы пишете слово «Бог» с маленькой буквы?

Ответ последовал гордый:

— Я пишу «Бог» с маленькой буквы, потому что «человек» пишется с маленькой буквы!

Бунин с притворной задумчивостью:

— Что же, это, пожалуй, верно… Вот ведь и «свинья» пишется с маленькой буквы! [3, 141]

Иван Алексеевич Бунин. *В записи Г. В. Адамовича:*

Странные вещи попадаются в Библии, ей-Богу! «Не пожелай жены ближнего твоего, ни вола его, ни осла его…» Ну, жену ближнего своего я иногда желал, скрывать не стану. И даже не раз желал. Но осла или вола… нет, этого со мной не бывало! [3, 153]

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Бунин о Жиде: «Вот переписываются два нобелевских лауреата. Весь мир ждет не дождется, когда все это будет опубликовано. А письма вот о чем. Жид мне: „От астмы дали мне очень хорошее средство, удушье по ночам почти исчезло“, а Бунин ему: „От кашля очень помогают сюпозитуары из эвкалипта, что же касается геморроев, то их надо лечить так…“ Вот тебе и слава!» [57, 213]

Андрей Седых:

Парижские «молодые» поэты, далеко уже к этому времени и не молодые, считали бунинскую поэзию старомодной и «несозвучной». ‹…› Однажды на Монпарнасе ‹…› некий захудалый поэт сказал Бунину:

— Мы вас любим не за стихи.

— Я вас тоже люблю не за стихи, — ответил ему Бунин [43,

211].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма М. Алданову. 30 марта 1950 г.:*

До чего Москва лишена юмора ‹…› передо мной «советская» открытка, на обороте которой картинка: множество гусей на пруде — и подпись: «Гуси колхоза имени К. Либкнехта». Воображаю, что говорят мужики, стараясь выговорить это знаменитое имя [58, 142].

Николай Яковлевич Рощин:

Деревенскими ‹…› прибаутками, поговорками, присказками И. А. мог бы занять внимание слушателя на двое суток, нет слова в русском языке, на которое он не ответил бы острым, метким народным словом [32, 438].

Привычки, пристрастия, страхи

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

Курил он беспрерывно (окурками были наполнены и пепельница, и блюдечко) [32, 302].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Обыкновенно он гулял один.

— Терпеть не могу, не переношу, — объяснял он свое пристрастие к одиночеству, — чтобы со мной рядом этакий ротозей порол всякую чепуху или, что еще хуже, восхищался идиотски: «Ах, какое фантастическое облако! А нарисовать — ведь не поверят!» А если шагает молча и смотрит, как корова на новые ворота, — тоже противно, тоже злит меня. Значит, брюхом всю эту красоту переживает. Сдерживаюсь, чтобы не послать его ко всем чертям в преисподнюю, где ему уже место заготовлено. И уж какое тут наслаждение возможно!.. [37, 252]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Он на редкость хорошо сидел в седле, любил охоту, его приводили в восторг трубный глас и гон в осенних лесах [35, 74].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи А. В. Бахраха:*

А у вас есть нелюбимые буквы? Вот я терпеть не могу букву «ф». Мне даже выводить на бумаге это «ф» трудно, и в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. В последнюю минуту — священник уже стоял у купели — старая нянька сообразила и с воплем прибежала к моей матери: «Что делают… что за имя для барчука!» Наспех назвали меня Иваном, хоть это тоже не слишком изысканно, но, конечно, с Филиппом несравнимо. Именины мои приурочили ко дню празднования перенесения мощей Иоанна Крестителя из Гатчины в Петербург. Так, строго говоря, я и остался на всю жизнь без своего святого ‹…› А прости Господи, каким образом рука Иоанна Крестителя могла очутиться в Гатчине, я до сих пор не разгадал.

Но что все-таки могло произойти — «Филипп Бунин». Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал [8, 96].

Александр Васильевич Бахрах:

Бунин, как и многие русские писатели, боялся «дурного глаза», боялся пройти под раскрытой лестницей или — за

отсутствием того зайца, который, перебежав дорогу, помешал Пушкину бежать из Михайловского, — содрогался, если его путь перебегала черная кошка. Он не сел бы за стол, если бы оказался тринадцатым. Впрочем, как мне кажется, все это было скорее «театром для себя», чем подлинным чувством. Во всяких суевериях он ощущал дань традициям. Зато с каким-то странным безразличием, даже с долей презрения относился к картам и картежникам. Мастей он совершенно не различал [8, 121].

Антонин Петрович Ладинский:

Он очень боялся болезней. Если простуженный подходил к нему слишком близко, Бунин махал на него руками: «Не заражайте меня вашими чиханьями…» [36, 222]

Александр Васильевич Бахрах:

Он был очень падок на всякие патентованные лекарства, едва увидев у кого-нибудь неведомую ему коробочку, старался и для себя заполучить такую же, затем тщательно изучал составные части данного фармацевтического препарата и уверял, что разбирается в лекарствах лучше любого доктора. Можно без преувеличения сказать, что его коллекция фармацевтических флаконов и коробочек могла стать предметом зависти любой аптеки, особенно в военное время. Этой своей «коллекцией» человек, враждебный любому виду коллекционирования, заполнил до краев несколько чемоданов [8, 120–121].

Никита Алексеевич Струве:

Страх (смерти. — Сост.) в последние годы принимал уродливые формы: гостям, пришедшим с мороза или мало-мальски простуженным, он не протягивал руки, боясь заразы [50, 251].

Серж Лифарь. *Из письма А. К. Бабореко. 6 февраля 1974 г.:*

Боялся он душевнобольных и протестовал о принятии в (Русский Дом для престарелых и обедневших, Juan-Les-Pins. — Сост.) Вацлава Нижинского, которого туда я рекомендовал [5, 140–141].

Нина Николаевна Берберова:

Бунин не хотел входить в лифт, на днях где-то лифт едва не раздавил его: он шагнул в пустую клетку, а лифт в это время спускался и кто-то вытащил его, и он теперь боялся лифтов [10, 292].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

7. IX.1940. Уже давным-давно не могу видеть без отвращения бород и вообще волосатых людей [13, 450].

Александр Васильевич Бахрах:

Он панически боялся всего, что извивалось, что ползало по земле, не только змей, не только неприятных своим видом ужей, но даже безобидных маленьких ящериц, которые в солнечные дни ползали по нагретым камням на террасе бунинской виллы. Я смеялся над его страхами, потому что маленькие ящерицы были «симпатичны» и, казалось мне, чистоплотны.

— Вы их не знаете, — объяснял мне Бунин, — вы не думаете о том, что их предками были страшнейшие ящеры, какие-то там игуанодоны, картинки которых я с величайшим омерзением где-то недавно видел. Наверное, они сохранили инстинкт предков и только подрастут — черт знает что наделают! [8, 52]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

У него мистический ужас перед змеями, но его всегда к ним тянет, и он долго не может оторваться от них, следя с какой-то мукой в глазах за их извилистыми движениями [35, 352].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

Укус змеи нечто совсем особое, мистически странное, незапамятно древнее.

Летом 23 года мы с Моисеенко ехали в автомобиле из Грасса в Тулон. Моисеенко в какой-то долине остановил машину, чтобы что-то исправить в ней, я перескочил с шоссе через канаву, лег головой к ней в траву, хотел отдохнуть, покурить, как вдруг услыхал, как что-то змеей мелькнуло возле меня и в то же мгновение я, от моего постоянного патологического ужаса к змеям, так дико взбросил ноги в воздух, что дугой перелетел через канаву назад и стал на ноги на шоссе — сделал то, что мог бы сделать лишь какой-нибудь знаменитый акробат или мой древний пращур, тигр, барс. — Мы не подозреваем, какие изумительные силы и способности еще таятся в нас с пещерных времен [55, 94].

Александр Васильевич Бахрах:

Ни к чему не обязывающее «пристрастие» к членам различных династий было для него своего рода маленьким и безобидным развлечением, непривычность которого его и привлекала, да и то не дольше, чем в течение одного какого-нибудь дня. Редко можно было встретить человека, у которого,

как у Бунина, не было ни малейших наклонностей к собиранию каких-либо «сувениров». Вот и нашлось что-то, что ему «раритеты» заменяло [8, 134].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

С младенчества ‹…› любил небесные светила [35, 46].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

Ночью с 28 на 29 авг‹уста› 23 г. Проснулся в 4 часа, вышел на балкон — такое божественное великолепие сини неба и крупных звезд, Ориона, Сириуса, что перекрестился на них [55, 97].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

Он любит цветы издали, говоря, что на столе они ему мешают и что вообще цветы хорошо держать в доме тогда, когда комнат много и есть целый штат прислуги. Последнее — один из образчиков его стремления всегда все преувеличивать, что вполне вытекает из его страстной, резкой натуры.

Впрочем, пахнущие цветы он любит и как-то раз даже сам попросил нарвать ему букет гелиотропа и поставить к нему в кабинет [28, 19–20].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма Карамзиной. 3 сентября 1938 г.:*

Запах «табака» один из самых любимых моих, очень меня волнующий [31, 673].

Иван Алексеевич Бунин:

23. V.42. Опять думал нынче: прекраснее цветов и птиц в мире ничего нет. Еще — бабочек [55, 349].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

Ян сказал, что черные дрозды его любимая птица. — «Как это говорит о весне» [55, 113].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

Его деревенская натура не терпит никаких ухищрений над природой. Так не любит он фонтанов, парков, Булонского леса [28, 105].

София Юльевна Прегель:

К книгам Иван Алексеевич относился равнодушно и отнюдь не был коллекционером. Такое занятие казалось ему скучным, неувлекательным [32, 353].

Александр Васильевич Бахрах:

С книгами Бунин нередко обращался как вандал, вырывал из них отдельные страницы, уничтожал неугодные ему иллюстрации… [8, 60]

Никита Алексеевич Струве:

Дашь Бунину книгу на прочтение — и он вернет ее, всю расчерченную красным карандашом, считая не без основания, что такою вольностью придает ей цену. Властным почерком он разукрасил лист литературной энциклопедии на букву Б. Портрет во всю страницу Демьяна Бедного снабдил следующим решительным комментарием: «Этот мерзавец, этот скот называется в Москве поэтом» [50, 250].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

Давно замечаю в И. А. такую черту: он просит дать что-нибудь почитать. Я выбираю ему какую-нибудь талантливую книгу и советую прочесть. Он берет ее и кладет к себе на стол у постели. Постепенно там нарастает горка таких книг. Он их не читает, а покупает себе где-нибудь на лотке какие-нибудь марсельские анекдоты, религиозные анекдоты XIX века, какое-нибудь плохо написанное путешествие. Вчера, застав его за перечитыванием купленного так «Дневника горничной» Мирбо, спросила, почему он предпочитает такое чтение. Он сначала шутил, потом ответил:

— Видишь ли, мне не нужны мудрые или талантливые книги. Когда я беру… что попало и начинаю читать, я роюсь себе впотьмах, и что-то смутно нужное мне ищу, пытаюсь вообразить какую-то французскую жизнь по какой-то одной черте… а когда мне дается уже готовая талантливая книга, где автор сует мне свою манеру видеть — это мне мешает… [28, 258]

Иван Алексеевич Бунин. *В записи И. В. Одоевцевой:*

Терпеть не могу библиотечных книг. ‹…› Предпочитаю читать собственные [37, 246].

Александр Васильевич Бахрах:

Он уверял, что газета, кем-либо до него прочитанная, вместе со своей свежестью теряет для него всякий интерес [8, 175].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

Раз в неделю ходим в синема. Фильмы, правда, одна неудачней другой, но мы с И. А. не можем отлучиться от тяги к

синема и, побранив одну, идем на другую. ‹…› Вчера была картина с ковбоями и скачкой, что особенно любит И. А. [28, 54]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Бунин, несмотря на скудость средств, всегда путешествует в train bleu[5], в первом классе [37, 240].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Ян всегда в новом городе прежде всего искал самое высокое место… [35, 429]

Марк Алданов:

С холодными, ледяными странами у Ивана Алексеевича всегда связывалось впечатление о страшном, о самом страшном. Много он путешествовал — и никогда в такие страны не ездил [4].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

— Как странно, что, путешествуя, вы выбирали все места дикие, окраины мира, — сказала я.

— Да. Вот дикие! Заметь, что меня влекли все некрополи, кладбища мира! Это надо заметить и распутать! [28, 265]

Ирина Владимировна Одоевцева:

— Меня всегда, как ни странно, тянуло к кладбищам, — заявляет он… ‹…› Сколько я их на своем веку перевидал. И даже писал о них. ‹…›

И, сделав паузу:

— А страсть к кладбищам — русская, национальная черта. ‹…› В праздничные дни провинциальный город… ‹…› великодержавный Санкт-Петербург — как будто все в нем одном. На праздниках на кладбище фабричные всей семьей отправлялись — пикником — с самоваром, закусками, ну и, конечно, с водочкой. Помянуть дорогого покойничка, вместе с ним провести светлый праздник. Все начиналось чинно и степенно, ну, а потом, раз, как известно, веселие Руси есть пити, напивались, плясали, горланили песни. Иной раз и до драки и поножовщины доходили, до того даже, что кладбище неожиданно украшалось преждевременной могилой в результате такого праздничного визита к дорогому покойничку [37, 272].

Александр Васильевич Бахрах:

Он часто называет себя «последний из могикан». А когда бывает в дурном настроении, повторяет: «Я — нищий старик».

Впрочем, страх материальной катастрофы преследует его с раннего детства и, кажется, никогда не покидал с того времени, как разорился его отец [8, 105–106].

Наталия Владимировна Кодрянская *(1901–1983), писательница, мемуаристка:*

Самым ненавистным днем в году был для него день рождения и никогда он его не праздновал. «Еще один год прибавился», — говорил он и старался куда-нибудь уехать [32, 346].

София Юльевна Прегель:

Иван Алексеевич любил сниматься. На одних фотографиях он похож на римского патриция, на других — на немощного старика. И то и другое соответствовало действительности. Некоторыми снимками Иван Алексеевич гордился, как гордился он красотой своей первой жены… [32, 356]

Андрей Седых:

Бунин был до болезненного требователен к своей наружности, и портреты, печатавшиеся в газетах, постоянно его раздражали. В конце концов он выбрал один, старый, 1923 года, и этот, по его настоянию, мы помещали постоянно [43, 185].

Александр Васильевич Бахрах:

«Злых людей на свете много» — была одна из любимых его присказок, которую он вставлял в разговор кстати и некстати [8, 33].

Донжуан

Серж Лифарь. *Из письма А. К. Бабореко:*

«Ухажор» И. А. был страстный. Любил нравиться, «соблазнять», «ловеласничал» [5, 141].

Александр Васильевич Бахрах:

Я никогда не замечал, чтобы он завидовал чужой славе (говорил, что некогда сам славой «объелся»), деньгам (были и они у него), физическим данным, но рассказы о чужих успехах у женщин неизменно его будоражили и как-то угнетали. Он хотел, чтобы его считали донжуаном, и иной раз любил пространно повествовать о своих былых похождениях. Впрочем, должен отметить, что в этой области полет его фантазии был довольно ограничен [8, 185].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Как и все большие русские писатели, Бунин был целомудрен, о половых извращениях как-то даже как будто и не подозревал. Не было в нем ни сладострастного сюсюканья плохих писателей, ни незадумчивой веселости французских галантных авторов, ни полнокровной жизнерадостности Рабле, ни извращенности современников [57, 214].

Александр Васильевич Бахрах:

Когда он начинает ругаться или говорить слишком откровенно о вещах, о которых принято молчать (а это он очень любит), Вера Николаевна с болью в сердце замечает:

— Ян, около тебя точно бес какой-то стоит. Не греши.

— Ну положим, что же в том, что я говорю, греховного? Ведь я говорю о самой прекрасной вещи в мире. Только ради нее и стоит родиться. Не могу же я всегда рассуждать на богословские темы или писать рассказы о молодых священниках, как тебе теперь нравится. В любви, любовном акте есть что-то божественное, таинственное и жуткое, а мы не ценим. Надо дожить до моих лет, чтобы до конца ощутить всю несказанную мистическую прелесть любви. Описать это словами невозможно. Это непередаваемо. Главное ведь всегда ускользает. Сколько я ни пробовал — не получается или получается около, где-то рядом, но сути словами не поймать, на крючок не нацепить. Да это не я один — этого еще никто не выразил и не выразит [8, 110].

Ирина Владимировна Одоевцева:

— Я почти с самого детства, как только стал сознательно читать и понимать, очень много думал о героях и героинях романов. О героинях больше, чем о героях, и это меня удивляло. Женщины были мне как-то ближе, понятнее, их образы для меня полнее воплощались. Они как будто жили перед моими глазами, и я не только сочувствовал их горестям и радостям, но и соучаствовал в их жизни. Я влюблялся в героинь романов. Они снились мне. Даже днем иногда я чувствовал их присутствие. Сижу, бывало, за столом у себя и зубрю немецкие вокабулы ‹…› и вдруг чувствую, что кто-то стоит за моей спиной, наклоняется надо мной, кладет мне руку на плечо и легкая душистая прядь волос касается моей щеки. Я оглядывался — никого. Комната пуста, и дверь плотно закрыта — меня охватывает такая тоска. Такое одиночество. Хоть о стенку головой.

Он вздыхает и, помолчав, продолжает:

— Да, все эти женщины и девушки из романов, в которых я поочередно был фантастически влюблен, играли большую роль в моем тогдашнем диком одиночестве. Я жалел, что мне никогда не придется встретиться с ними. Как я жалел, да еще и сейчас жалею, что никогда не встречался с Анночкой.

— С Анночкой? — удивленно переспрашиваю я. — С какой Анночкой?

— С Анной Карениной, конечно. Для меня не существует более пленительного женского образа. Я никогда не мог и теперь еще не могу без волнения вспоминать о ней. И о моей влюбленности в нее.

— А Наташа Ростова? Для меня Наташа…

Но он не дает мне договорить.

— Ну уж нет, простите. Никакого сравнения между ними быть не может. В начале Наташа, конечно, прелестна и обаятельна. Но ведь вся эта прелесть, все это обаяние превращается в родильную машину. В конце Наташа просто отвратительна. Неряшливая, простоволосая, в капоте, с засранной пеленкой в руках. И вечно или беременная, или кормящая грудью очередного новорожденного. Мне беременность и все, что с нею связано, всегда внушали отвращение. Не понимаю, как можно восхищаться женщиной, которая «ступает непроворно, неся сосуд нерукотворный, в который небо снизошло» — как выразился Брюсов. Страсть Толстого к детопроизводству — ведь у него самого было семнадцать детей — я никак, несмотря на все мое преклонение перед ним, понять не могу. Во мне она вызывает только брезгливость. Как, впрочем, я уверен, в большинстве мужчин. А вот женщины, те действительно часто одержимы ею [37, 281–282].

Александр Васильевич Бахрах:

— Иван Алексеевич, вы никогда не пробовали составить свой донжуанский список?

— Увы. Это уже дело далекого прошлого, но мысль отменная. Если найдется у меня свободное время, обязательно примусь за его составление. Только теперь уже многих имен не помню… Но ваш «бестактный» вопрос пробудил во мне целый рой воспоминаний… Какое золотое время — молодость! Сколько бывает тогда побед, сколько встречается на пути прекрасных и пленительных женщин. Жизнь быстро уходит, и мы вовремя не умеем ничего ценить как следует. Начинаем ценить, когда все уже позади, когда уже поздно. ‹…›

Нет, мне легче было бы составить не донжуанский список, а список утерянных возможностей. Он, вероятно, был бы много длиннее! [8, 90–91]

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Репутацию свою Дон Жуана Бунин всячески поддерживал, и нет сомнения, что женщин он любил со всей страстностью своей натуры (но Дон Жуан женщин-то не любил). Мне почему-то в донжуанство его не верилось, и легкое его «притрепыванье», типично русское, принималось мною за некую игру, дань вежливости. Все это было скромно, несколько провинциально и даже юношески — так молодость пробует свои силы, а старость хочет показать, что в ней задержалась юность. Думаю, что всерьез принимали ухаживания Ивана Алексеевича только милые, доверчивые и не очень искушенные вниманием знаменитости (иностранных увлечений у него как будто не было) [57, 207].

Александр Васильевич Бахрах:

На Монпарнасе он старался ‹…› ухаживать за молодыми (и средних лет!) поэтессами, которые каждое его слово готовы были принять за чистую монету и уже мысленно скакать с ним в Венецию, в силу давней традиции безответственно упоминаемую им для того, чтобы возбудить к себе больше интереса. Благо Венеция в те годы из-за трудности путешествий и всяких виз была «за семью морями», а зато совсем поблизости была русская забегаловка, и туда за полночь он любил повести очередную Джульетту и опрокинуть в ее компании рюмку-другую водки с горячим пирожком [8, 22].

Василий Семенович Яновский:

Бунин интересовался сексуальной жизнью Монпарнаса; в

этом смысле он был вполне западным человеком — без содроганий, проповедей и раскаяния. Впрочем, свободу женщин он считал уместным ограничить, что сердило почему-то поэта Ставрова [59, 314].

Александр Васильевич Бахрах:

Во время одной из наших вечерних прогулок Бунин, усевшись на свой «любимый» пень, стал повествовать о своих былых любовных победах, признаваясь, что в юношеские годы в отцовской усадьбе, несмотря на разорение, он все еще почитался «барчуком» и это открывало ему многие двери, но тогда по неопытности он инициативу проявлять не умел. А потом, когда его известность начала расти и, по его словам, женщины льнули к нему, он неизменно проявлял робость и страшился осложнений. Кстати, он утверждал, что в женщине его необычайно привлекают дефекты речи — картавость, неправильное произношение какой-нибудь буквы делают для него женщину неотразимой!

А однажды после долгого разговора о том о сем он довольно неожиданно, как бы ставя на них ударение, процитировал слова Байрона, сказавшего, что «часто бывает легче умереть за женщину, чем жить с ней». Было вполне очевидно, что эту фразу он где-то случайно прочитал, однако почему-то эти по-байроновски парадоксальные слова его, не терпевшего парадоксов, взволновали, и в его интонациях можно было ощутить подлинно трагический оттенок [8, 74].

Любимые блюда и напитки

Владимир Алексеевич Смоленский:

Любил он все «первоклассное». Помню, как-то сказал он мне: «Пьете вы здесь всякую дрянь! Угощу вас хорошей шведской водкой». И повез меня в какой-то шведский бар, в котором его знали, так как бармен называл его Mr. Bounine. Водка была действительно хороша [45, 257].

Нина Николаевна Берберова:

Однажды в гастрономическом магазине он при мне выбирал балык. Было чудесно видеть, как загорелись его глаза, и одновременно было чуть стыдно приказчика и публики [10, 295].

Антонин Петрович Ладинский:

Мы уселись с Буниным за свободный столик и заказали по рюмке «мара». Есть такая французская крестьянская водка. Помню, Бунин понюхал рюмку и сказал:

— Хороший мар, новыми сапогами пахнет!

Это было вполне бунинское определение. Действительно, как и сливовица, мар припахивает немного кожей [31, 689].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Напитки каждой страны Яна очень интересуют. Он говорит, что через вина он познает душу страны [35, 347].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

Бунин пьет коньяк — у него и фляжка всегда с собой, с крышкой-стаканчиком [32, 307].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

27 окт./9 ноября 1921. Сколько я мог пить почти безнаказанно по вечерам ‹…› как вино переполняло, раскрывало душу, как говорилось, как все восхищало — и дружба, и осень, и обстановка чудесного дома! [55, 56]

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

Развели огонь из шишек среди камней. В прованском масле кипел тонко нарезанный картофель — любимые «фрит» Ивана Алексеевича [32, 308].

Ирина Владимировна Одоевцева:

С ветчиной у Бунина сложные отношения и счеты. Еще

до войны доктор однажды предписал ему есть ветчину за утренним завтраком. Прислугу Бунины никогда не держали, и Вера Николаевна, чтобы не ходить с раннего утра за ветчиной, решила покупать ее с вечера. Но Бунин просыпался ночью, шел на кухню и съедал ветчину. Так продолжалось с неделю, Вера Николаевна стала прятать ветчину в самые неожиданные места — то в кастрюле, то в книжном шкафу. Но Бунин постоянно находил ее и съедал. Как-то ей все же удалось спрятать ее так, что он не мог ее найти. Но толку из этого не получилось. Бунин разбудил Веру Николаевну среди ночи: «Вера, где ветчина? Черт знает что такое! Полтора часа ищу», — и Вера Николаевна, вскочив с постели, достала ветчину из укромного места за рамой картины и безропотно отдала ее Бунину.

А со следующего же утра стала вставать на полчаса раньше, чтобы успеть купить ветчину к пробуждению Бунина [37, 277–278].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма Т. М. Алдановой, 1 апреля 1946 г.:*

Забыл написать Вам о Ное еще и то, что особенно завидую тому, как великолепно он был обеспечен, помимо всего прочего, пропитанием: подумайте — 7 пар чистых и 7 нечистых, среди которых были, конечно, и свиньи, одно из самых любимых моих кушаний (в виде колбас, сосисок, жареной буженины) [58, 134].

Путешественник

Борис Константинович Зайцев:

Странная вещь: этому без конца русскому человеку ‹…› орловско-елецкому дворянину, гордившемуся древностью своего рода, чрезвычайно созвучны и благодетельны оказались экзотические страны, океаны («Воды многие») [22, 445].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма издателю Боссару. 21 июля 1921 г.:*

Я много жил в деревне, много путешествовал и по России и за границей: в Италии, в Сицилии, в Турции, на Балканах, в Греции, в Сирии, в Палестине, в Египте, в Алжирии, в Тунизии, в тропиках. Я стремился «обозреть лицо мира и оставить в нем чекан души своей», как сказал Саади ‹…›[6].

Николай Алексеевич Пушешников. *Из дневника:*

В купе жарко, обдает паром. Темнеет. Начинаем размещать вещи и устраиваться на ночь. Иван Алексеевич взваливает чемодан наверх, бранится, что он не входит, но потом, добившись все-таки того, что ему хотелось, и расставив вещи, как ему казалось нужным, садится в изнеможении на диван и закуривает папиросу. Затем надевает черную кожаную куртку с кожаной красной подкладкой, натягивает на лоб черную шелковую шапочку и, достав из чемодана складной серебряный подсвечник, зажигает свечу на столике у окна и начинает просматривать свои сафьяновые тетради со стихами. За окном виден каляный лес, мокрый и облезлый под дождем, и он задергивает гардину. Но смутно-золотая стрелка тянется, темнит тенями стол, колеблется и водит свет, во время остановок слышно, как барабанит дождь по крыше и стеклу, и он оставляет тетради и складывает их в чемодан. Делать нечего — и мы в сотый раз начинаем обсуждать предстоящее путешествие.

Иван Алексеевич говорит, что он никогда не чувствует себя так хорошо, как в те минуты, когда ему предстоит большая дорога [7, 239].

Ирина Владимировна Одоевцева:

— Рельсы, — говорит Бунин, — всегда будят во мне мою ненасытную страсть к путешествиям. Ведь больше всего на свете я люблю путешествия. И воспоминания о них. Я объездил чуть ли не весь мир. В одном Константинополе был тринадцать раз. А вот Японии и Китая так и не удалось увидеть. Я и сейчас жалею об

этом.

Он с чисто восточной роскошью и богатством образов, сведений и деталей рассказывает об Африке, о Цейлоне, об Индии [37, 257].

Иван Алексеевич Бунин:

В море, в пустыне, непрестанно чуя над собой высшие Силы и Власти и всю ту строгую иерархию, которая царит в мире, особенно ощущаешь, какое высокое чувство заключается в подчинении, в возведении в некий сан себе подобного (то есть самого же себя) [11, 440].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

17. IV.40. ‹…› Вот, кажется, теперь уже несомненно: никогда мне не быть, напр., на Таити, в Гималаях, никогда не видать японских рощ и храмов и никогда не увидеть вновь Нила, Фив, Карпана, его руин, пальм, буйвола в грязи, затянутого илом пруда… Никогда! Все это будет существовать во веки веков, а для меня все это кончено навсегда. Непостижимо [13, 432].

Сын

Иван Алексеевич Бунин:

«Чти отца и матерь твою» — что, казалось бы, может быть проще и беднее этих слов? А меж тем скорее солнце сойдет с своего пути, чем потеряют они свою повелительную силу и свою святость, ибо во веки веков будет свято чувство рожденного к родившим его, к тем, которые всей силой своей любви сохранили его в пору его слабости и беззащитности. Да и так ли уж проста она, эта нежнейшая из заповедей? Она говорит: «Чти отца и матерь твою», — и прибавляет: «Дабы продлились дни твои». К чему оно здесь, это добавление о долготе дней? И о чем идет в нем речь? О награде от Бога за почтительность? Нет, смысл заповеди гораздо глубже. Она говорит: чувство связи, — а не может быть связи без почитания, — чувство единства с родившими тебя, с жизнью отцов твоих, расширяет твою собственную, личную, краткую жизнь; возвышая их, воздавая сыновнюю дань своим отцам, утружденным жизненным бременем, таинством Бытия и любовью к тебе, ты возвышаешь самого себя, то есть существо, во всем подобное им: ты их порождение, их плод; чти же древо, давшее плод, если притязаешь быть и сам достойным почитания, ибо не может быть плода доброго с недоброго древа; единая жизнь совершает свое таинственное странствование через тела наши, — стремись же ощущать это единство и благоговей: в нем твое бессмертие (долгота дней) и самоутверждение [11, 426].

Ирина Владимировна Одоевцева:

(Об отце. — Сост.) Иван Алексеевич всегда говорил с любовью и почти с восторгом, восхищался его талантливым, легким, веселым нравом. И ни разу при мне не осудил его. Отца он идеализировал и не мог говорить о нем без волнения.

— Ах, какой это был чудесный, талантливый человек! — часто повторял он.

Мать свою он обожал. Мать его действительно была своего рода святой. Мученицей. Но как мог он ни в чем не упрекнуть отца и даже с юмором описывать сцену — мать карабкается ловко, как белка, на дерево, а отец вроде охотника стреляет в нее?

Об отце Бунин говорил:

— Редко можно себе представить более очаровательного человека. Барин, дворянин, аристократ с головы до ног, до конца ногтей на ногах. И какой талантливый, просто физически

талантливый. Как он на гитаре играл и пел! Как о Севастополе рассказывал! Прелесть!

Даже о легкомыслии отца он отзывался с похвалой. Даже оно казалось ему достоинством, а не недостатком. И никогда ни одного упрека.

— Я, признаюсь, унаследовал от отца, — говорил он, — легкомыслие. Но к нему, к сожалению, примешалась меланхолия и грусть моей матери, отчего у меня такой сложный, трудный характер. Отец был солнечный, ясный, веселый, не то что я [37, 285–286].

Лидия Валентиновна Рышкова-Колбасникова *(1883–1972), троюродная племянница Бунина:*

Иван Алексеевич был похож лицом на мать. Он очень любил ее, заботился о ней, был нежным сыном [25, 60].

Иван Алексеевич Бунин:

Мать была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным, я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого…

С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Всё и все, кого любим мы, есть наша мука, — чего стоит один этот вечный страх потери любимого! А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, — к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем более, что, в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью: сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст! [14, 272]

Юлий Алексеевич Бунин *(1857–1921), старший брат писателя, публицист, общественный деятель:*

Из всех нас отсутствовал при кончине матери Ваня, уехавший в Москву, так как говорит, что совершенно не выносит таких событий. К тому же ему совершенно необходимо окончить повесть («Деревня». — Сост.) в августе, и он работает не вставая [6, 148].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Мы с Иваном Алексеевичем уехали в Москву: мать настаивала, чтобы он не присутствовал во время ее кончины, так как всякая смерть на него действовала ужасно, и она это знала, знала, что он с детства боялся потерять ее [6, 149].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

12 октября 1917. Светлый, прохладный, по свету похожий на летний день, — превосходный. Оглянулся — нежно и грустно защемило сердце — там, в роще лежит мама, которая так просила не забывать ее могилы и у которой на могиле я никогда не был [13, 103].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Мать благословила его родовой чубаровской иконкой в серебряной почерневшей ризе — трапеза Трех Странников у Авраама. Иван Алексеевич никогда с тех пор не расставался с нею. Она висела над его постелью, где бы он ни ночевал. Стояла она и в возглавии его все четыре дня, пока его тело пребывало дома, висит и теперь на том месте, где висела при нем [35, 92].

Муж

София Юльевна Прегель:

Мария Самойловна (Цетлина. — Сост.) не раз говорила мне, что Бунин беззаветно любил Веру Николаевну. Это понимали не все. Но Мария Самойловна не могла забыть, как Бунин метался по квартире, ежеминутно подбегая к окну: Вера Николаевна опаздывала на полчаса, и он был вне себя и своим волнением заразил окружающих [32, 356].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Я смотрю на часы на руке.

— Уже четверть четвертого. Жорж будет беспокоиться — куда я пропала.

Он кивает.

— Конечно, будет. Как не беспокоиться, когда он так вас любит, слишком сильно любит. Толку от такой любви никакого. Ни вам, ни ему. Одно беспокойство и мученье. Знаю. И как еще знаю — по опыту. А поделать ничего нельзя — приходится терпеть. Теперь он, конечно, с ума сходит, а вернетесь вы — закатит вам скандал. И еще какой! Все как полагается. Это и есть великая любовь, посланная богами смертным, как наказание и лютая казнь. Самая неподдельная, великая любовь.

— А Веру Николаевну вы тоже так любите? — неожиданно спрашиваю я и, смутившись от собственной бестактности ‹…›. Но у Бунина, должно быть, другое представление о бестактности. Он с полной готовностью отвечает:

— Веру Николаевну? Нет. Совсем другое дело. Даже сравнивать дико. Люблю ли я ее? Разве я люблю свою руку или ногу? Разве я замечаю воздух, которым дышу? А отсеки мне руку или ногу или лиши меня воздуха — я изойду кровью, задохнусь — умру. ‹…› Да, без нее я вряд ли могу жить. Но сказать, что я ее люблю, — он недоумевающе разводит руками. — Нет, или, вернее, люблю, как себя, не замечая этого. Ведь о том, что я люблю себя, я не помню и даже рассержусь, если кто-нибудь назовет меня «самолюбцем». Возможно, что это и есть самый высокий, правильный род любви — по завету Христа: «Люби ближнего, как самого себя». Без преувеличений, трагедий и мук. Не замечая своей любви. Она часть меня, составная, неотъемлемая часть меня. Яснее я объяснить не могу. Но с ней разлуку мне бы пережить не удалось. — И, помолчав, заканчивает: — Всегда благодарю Бога, до последнего моего вздоха благодарить Его буду за то, что он послал мне Веру

Николаевну [37, 260].

София Юльевна Прегель:

Ивана Алексеевича пугает мысль о том, что Вера Николаевна будет жить без него. «Ты не растеривайся, Вера, слышишь, не растеривайся…» Это его слова. Их не раз повторяла Вера Николаевна. А потом, уже после смерти Ивана Алексеевича, она сказала (мы стояли на площадке лестницы): «Да, бывало тяжело, но скучно с ним никогда не было» [32, 352–353].

Иван Алексеевич Бунин. *Запись в тетрадке на первой странице:*

Дай тебе, Господи, еще много лет и здоровья, драгоценная моя!

1/14 Октября 1951 г. Париж. Ив. Бунин [55, 402].

С детьми

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

Детей он любил органически, так же как любил жизнь. Дети были для него воплощением чистоты, воплощением всего расцветающего. Залогом того, что совершается, того, что будет синонимом движения. Бунин сам всегда был в движении, в стремлении… в пути [32, 312].

Иван Алексеевич Бунин. *В запии И. В. Одоевцевой:*

А детей, хотя у меня и нет «родительской страсти», я все-таки очень люблю, — задумчиво говорит он. — Да, я очень люблю детей. Милых, добрых, умных, как почти все дети. Ведь злые, капризные, глупые дети исключение. Они почти всегда карикатуры своих родителей. В моей семье, хоть нас никак не воспитывали и мы были на редкость свободны, все дети, каждый по-своему, были милы, добры и умны. Должно быть, оттого, что у нас были по-настоящему хорошие родители. ‹…› Как это ни странно, мне очень редко приходилось по-настоящему сталкиваться, сближаться с детьми. Их как-то всегда было мало вокруг меня, в моей жизни и в том, что я писал. Детская психология меня особенно не интересовала. А детей, когда мне приходится с ними встретиться по-настоящему, когда они входят в мою жизнь, как вот Олечка (Жирова. — Сост.), — очень люблю ‹…› [37, 291].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

Нельзя вспоминать о грасской жизни Буниных, не уделив немного внимания Олечке. Эта маленькая девочка внесла в их жизнь своей непосредственностью, своей живостью, своим чутким сердцем — то тепло, которого им обоим так недоставало. Если бы не ревность матери (Елены Жировой, «Ляли». — Сост.), никогда бы они с Олечкой не расстались. ‹…›

Олечка могла входить к «Ване», даже когда он работал. Влезала к нему на колени с книжкой или картинками. Он писал для нее и говорил с ней шуточными стихами. Олечка заливалась смехом. Как серебряный колокольчик, звучал ее смех в кабинете, и раздавался раскатистый смех Ивана Алексеевича. Насмеявшись вдоволь, они расставались. Отпустив счастливую девочку, с бодростью, точно глотнув свежего воздуха, — принимался он снова за работу. «„Ваня“ дружит со всей комнатой», — говорила она. ‹…›

Я не знаю, писал ли Бунин о детях или для детей, — но когда

они встречались на его пути — умел он с ними говорить, как кудесник, как чародей, и покорял их сердца! (32, 312, 314]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Помню, я как-то случайно зашла к Буниным. Дверь мне открыла Вера Николаевна.

— Ян с Олечкой в столовой свой новый танец отплясывает, пойдемте полюбуемся на них, — весело предложила она.

И я действительно «полюбовалась», от удивления остановившись на пороге столовой. Надменный, гордый Нобелевский лауреат, казалось, превратился в семилетнего мальчика и самозабвенно, восторженно скакал и прыгал вокруг стола с прехорошенькой маленькой девочкой. Увлеченный танцем, он даже не повернулся, чтобы узнать, кто пришел. Должно быть, он даже не слышал звонка. Но Олечка уже бежала ко мне и вежливо, как полагается благовоспитанной девочке, поздоровалась со мной.

— Мы с Ваней танцуем новый танец, — деловито объяснила она. — Он его только сегодня выдумал. Он уже много танцев выдумал, — и она поощрительно, как старшая младшему, улыбнулась ему. — Он у меня умный, Ваня.

И Бунин весь засиял лучистыми морщинами ответной улыбки.

В тот день мне было дано впервые увидеть совсем другого, нового Бунина. Я и не предполагала, что в нем столько детского и такой огромный запас нежности.

С Олечкой он не только играл, исполнял все ее капризы и слушался ее. Рассердившись на него, она ставила его носом в угол, и он покорно простаивал в углу, пока она его не простит. Он писал ей шуточные стихи. Она была строгим критиком и не всегда хвалила их. Однажды она даже обиделась и возмутилась на описание угощения «Из кондитерской Бока» у одних знакомых — стихи эти были напечатаны в «Новом журнале». Олечка нашла их гадкими, поставила Бунина в угол и прочла ему нотацию.

Но чаще они проводили время в безмятежной дружбе, играли во всевозможные игры, танцевали и рассказывали друг другу сказки [37, 293–294].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

29. VI.41. Послал Олечке открытку:

С постели рано я вскочил:
Письмо от Оли получил!

Я не читал и не молчал,
А целый день скакал, кричал:
«Как наша Оля подросла!
Переросла она осла!
А ведь не маленький осел —
Он ростом выше, чем козел.
Потом, смотрите, как она
Ужасно сделалась умна!
Должно быть, очень хорошо
Сдала экзамен на башо
У кур и кроликов своих,
Когда зимой кормила их!»
Но оказалось, что во сне
Вся эта глупость снилась мне, —
Что я письма не получал
И не скакал и не кричал…
И так обиделся я вдруг,
Что посинел и весь распух.

[55, 318–319]

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

30.3.42. Послал письмо Олечке: Ты спрашиваешь, как мы пировали у наших друзей. Вот как:

У моих друзей пируя,
Ел змеиную икру я,
Пил настойку из клопов
И вино из бураков.
Остальное тоже было
Очень вкусно, очень мило:
Суп из наба, фарш из блох
И на жареное — мох.
А потом нам подавали
Карамель и мух в крахмале,
Чай Пи-пи и торт Ка-ка
Из кондитерской в Восса.

[55, 344–345]

Семья

Предки

Иван Алексеевич Бунин:

Рождение никак не есть мое начало. Мое начало и в той непостижимой для меня тьме, в которой я был от зачатия до рождения, и в моем отце, в матери, в дедах, прадедах, пращурах, ибо ведь они тоже я [31, 384].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Алексей Николаевич (Бунин, отец. — Сост.) поведал ‹…› о своем роде, о том, что они выходцы из Литвы: о «роде Буниных» в «Гербовнике дворянских родов» сказано, что Бунины происходят от Симеона Бутковского, мужа знатного, выехавшего в XV веке из Литвы со своей дружиной на службу к Великому Князю Московскому Василию Темному. ‹…› При взятии Казани погиб их предок Александр Бунин, а другой, Козьма Леонтьевич, был стольником при великих князьях Иоанне и Петре Алексеевичах ‹…› это все записано в воронежских дворянских книгах ‹…› род их вписан в шестую книгу, которая называется Бархатной…

Юлий же сообщил, что он читал, что первыми граверами были «знаменщики» или рисовальщики Серебряной Палаты, составлявшей отделение Оружейной Палаты. Среди первых московских граверов встречается имя знаменитого «знаменщика» Серебряной Палаты Леонтия Бунина. «Так там и написано, — продолжал Юлий Алексеевич, — «Плодовитый гравер сей Леонтий Бунин, кроме множества отдельных листов, награвировал целые книги: букварь Кариона Истомина 1692 («Сий Букварь очини Иеромонах Карион») а знамени и резал Леонтий Бунин х ЗСВ — и Синодик 1700 г.» «Л. Б.». То, что в скобках, и последнюю фразу Юлий Алексеевич, по словам младшего брата, записал в книжечку, а начало рассказывал наизусть [35, 66].

Александр Васильевич Бахрах:

Еще больше он гордился тем, что к его роду принадлежала довольно замечательная женщина начала прошлого века, глубоко несчастная поэтесса Анна Бунина. ‹…› Бунину льстило даже то, что тогдашний министр народного просвещения и адмирал ‹…› Шишков выхлопотал ей у Александра I значительное по тем временам денежное пособие. Бунин не раз расхваливал творчество своей прабабки, хотя едва ли искренно восторгался ее виршами. Читал ли он их? Читал ли он посвященную Державину оду, прославившуюся тем, что над ее первыми строчками:

Блеснул на западе румяный царь природы,
Скатился в океан, и загорелись воды…

потешались уже лицеисты пушкинского выпуска.

Но особый пиетет вызывал в Бунине Жуковский, хоть, вероятно, втайне он не слишком его любил, сентиментализм ему был чужд, но недаром говорится, что «noblesse oblige»[7]! Он никак не мог примириться, что незаконный сын его деда от турчанки Сальмы не носит имя Василия Афанасьевича Бунина, а по крестному — Василия Андреевича Жуковского. «А ведь не были бы придуманы „нелепые“ узаконения, был бы поэт Буниным», — приговаривал он [8, 126].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

Читал биографию Киреевского. Его мать — Юшкова, внучка Бунина, отца Жуковского [54, 104].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Отец любил повествовать и о более близких предках, о своем деде, который был человек богатый, имел поместья в Воронежской и Тамбовской губерниях и только под старость поселился в своей родовой вотчине Орловской губернии, Елецком уезде, в Каменке. «Он не любил лесов, — а ведь не так давно все эти места были покрыты лесами, а теперь остался только Трошинский лес», — смеялся отец.

— При моем отце, Николае Дмитриевиче, — рассказывал Алексей Николаевич, — был здесь уже полустепной простор, засеянные поля. Но сад еще был замечательный: аллея в семьдесят развесистых берез, а фруктовый сад какой! а вишенник, малинник, сколько крыжовнику, а дальше целая роща тополей, а вот дом оставался под соломенной крышей и горел несколько раз, потом опять отстраивался, икона безглавого Меркурия тоже несколько пожаров выдержала, даже один раз раскололась!

Рассказывал, что мать его (рожденная Уварова) была красавицей: «Она рано умерла, и отец так тосковал, что даже тронулся, впрочем, говорят, что во время Севастопольской кампании, когда мы были на войне, он как-то лег спать после обеда под яблоней, поднялся вихрь, и крупные яблоки посыпались на его голову… После чего он и стал не вполне нормальным».

Мать тоже иногда вмешивалась в разговор и сообщала детям, что ее предки были помещиками Костромской, Московской, Орловской и Тамбовской губерний и что в их семье жила легенда:

некогда Чубаровы были князьями. Петр Великий казнил одного князя Чубарова, стрельца, сторонника царевны Софьи, и лишил весь род княжеского титула [35, 67–68].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

7 июля 1912 г. Наше родословие: прадед — Дм. Семеныч, его дети — Ник. Дм., Олимпиада Дм., Алексей, Ольга, Владимир. У Дм. Сем. был брат Никифор Семен., его сын — Аполлон, а у Аполлона — Влад. и Федор. Дмитрий Сем. служил в гвардии в Петербурге [54, 109].

Отец
Алексей Николаевич Бунин

Маргарита Валентиновна Голицына:

Алексей Николаевич был выше среднего роста, довольно-таки плотного сложения, с открытым, веселым розовым лицом, с белоседыми волосами, которые заканчивались на шее локонами. Был всегда оживлен, весел, быстр, очень хорошо играл на гитаре и пел русские песни; он отличался остроумием [35, 189].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Алексей Николаевич Бунин принадлежал к тем редким людям, которые, несмотря на крупные недостатки, почти пороки, всех пленяют, возбуждают к себе любовь, интерес за благостность ко всем и ко всему на земле, за художественную одаренность, за неиссякаемую веселость, за подлинную щедрость натуры.

В его доме даже во времена крепостничества никого не наказывали. Никаких наказаний не существовало и для детей. Рассказывали со смехом, что однажды он, рассердившись, повел старших сыновей в сад, чтобы они сами себе сорвали для порки прутья, но на этом дело и кончилось, розги были сломаны, и отец их отпустил, сказав, чтобы в будущем они вели себя хорошо [35, 31].

Иван Алексеевич Бунин:

Отец, человек необыкновенно сильный и здоровый физически, был до самого конца своей долгой жизни и духом почти столь же здоров и бодр. Уныние овладевало им в самых тяжелых положениях на минуту, гнев — он был очень вспыльчив — и того меньше [6, 7].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Он, вообще, жил настоящим, совершенно не умел унывать. Быстро возобновил дружбу с родными и знакомыми соседями. Завел легаша, гончих, борзых. Охотился, — он был лучшим стрелком в округе, попадал в подброшенный двугривенный. И, к несчастью, опять начал пить. Пил и в одиночестве, иногда по четверти водки в сутки, а затем отрезвлялся молоком, любил и сладкое, так что типичным алкоголиком не был. Иногда бывал буен во хмелю, но не первые годы в деревне, а, вероятно, когда начала давать себя знать печень. Хозяйством занимался спустя рукава, долги росли, и бедная Людмила Александровна имела

много оснований жить в большой тревоге и глубокой печали. ‹…›

Он, когда не пил, за столом бывал всегда весел и оживлен, хорошо рассказывал, представлял всех в лицах. Особенно часто вспоминал Севастопольскую кампанию, когда они с братом Николаем, рано умершим, с собственным ополчением отправились на войну. Повествовал, как их по городам встречали колокольным звоном, как он играл в карты с писателем Львом Николаевичем Толстым… Оба они с братом в то время были холостыми и изрядно порастрясли свое состояние. До Севастопольской кампании он никогда не брал в рот вина, а там попробовал [35, 28, 31–32].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи И. В. Одоевцевой:*

— Вот, — не раз говорил он, — все думают, что «Жизнь Арсеньева» — моя автобиография. Какой вздор! ‹…› Только мой отец, пожалуй, не подвергся ломке и переделке и остался в романе таким, каким был в жизни. А был он удивительный. Совсем по-особому талантливый, физически талантливый. И здоровый. Умственно, духовно здоровый. Уравновешенный, веселый. Отчаянно легкомысленный. Добрый. У него было совсем особенное, романтическое, «певучее» сердце [37, 285].

Иван Алексеевич Бунин:

Мой отец пел под гитару старинную, милую в своей романтической наивности песню, то протяжно, укоризненно, то с печальной удалью, меняя лицо соответственно тем двум, что участвовали в песне, один спрашивал, другой отвечал:

— Что ты замолк и сидишь одиноко,
Дума лежит на угрюмом челе?
Иль ты не видишь бокал на столе?
Иль ты не видишь бокал на столе?

— Долго на свете не знал я приюту,
Долго носила земля сироту!
Раз, в незабвенную жизни минуту,
Раз я увидел созданье одно,
В коем все сердце мое вмещено!
В коем все сердце мое вмещено!

Средины песни не помню, — помню только ту печальную, но бодрую, даже дикую удаль, с которой вопрошавший друг обращался к своему печальному другу:

— Стукнем бокал о бокал и запьем
Грустную думу веселым вином!

[35, 66–67]

Иван Алексеевич Бунин. *В записи В. Н. Буниной:*

Я многое кровно унаследовал от отца, например, говорить и поступать с полной искренностью в том или ином случае, не считаясь с последствиями, нередко вызывая этим злобу, ненависть к себе. Это от отца. Он нередко говорил с презрением к кому-то, утверждал свое право высказывать свои мнения, положительные или отрицательные, о чем угодно, идущие вразрез с общепринятыми:

— Я не червонец, чтобы всем нравиться!

Он ненавидел всякую ложь и особенно корыстную, прибыльную; говорил брезгливо:

— Лгут только лакеи. ‹…›

А какой аппетит был у отца в пору моего раннего отрочества, — часто вспоминал Иван Алексеевич, — раз он, уже совсем одетый, чтобы отправиться на охоту, проходил мимо буфета, где стоял непочатый окорок. Он остановился, отрезал кусок, окорок оказался очень вкусным, и он так увлекся им, что съел его весь… [35, 34–35]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Этот отец, которым так восхищался Бунин, не только пустил своих детей по миру, прожил состояние жены, не дал младшим детям — ни Ивану Алексеевичу, ни сестре его Маше — никакого образования, но был алкоголиком, допившимся до белой горячки и стрелявшим в свою несчастную жену, от страха забравшуюся на дерево и спасшуюся только тем, что упала с дерева раньше, чем он успел в нее выстрелить [37, 285].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Отец, сильно состарившийся, — ему шел восьмидесятый год, — был все же по-прежнему бодр и остроумен. Он никогда не жаловался, хотя жизнь его была тяжелая. Обстановка была убогая, питание более чем скромное. ‹…› На руки денег отцу давать было невозможно: сейчас же появлялась водка. ‹…›

Алексей Николаевич с неизменным интересом слушал рассказы младшего сына о Константинополе, о турецких обычаях. Удивляло его, что за проход по мосту взимали плату; очень его забавляли верблюды, идущие по ступеням лестницы, и собаки, которых никто не смел обидеть, — их встречали на каждом шагу

и смиренно обходили. Слушал с упоением о красоте Босфора, Скутари, Стамбула, жалел, что Айя-София в руках неверных; на него произвел впечатление рассказ, что ежегодно выступает там на стене лик Спасителя и ежегодно турки его замазывают. Восхищали голуби в куполе, размеры храма. Ивану Алексеевичу было всего приятнее рассказывать отцу — он при своем воображении все ярко представлял.

Набросился отец и на книги, привезенные сыном, — все свои досуги начал отдавать чтению. Маленьких рассказов не терпел: «Увидишь птицу, нацелишься, а она уже улетела, вот и вся недолга!» [35, 226–228]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

У отца перестали работать почки. Была метель, нельзя было послать за врачом. Он знал, что умирает. Вызвали из Грунина священника, очень грубого. Он причастил его [35, 280].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

28 мая 1912. ‹…› Исповедуясь, он лежал. После исповеди встал, сел, спросил: «Ну, как по-вашему, батюшка, — вы это знаете, — есть во мне она?» Робко и виновато. А священник резко, грубо: «Да, да, пора собираться» [54, 104].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Похоронили его в селе Грунине. На похороны приехала дочь с мужем, его родная племянница, мать Пушешниковых, и ее брат Петр Николаевич Бунин [35, 280].

Мать
Людмила Александровна Бунина

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Семья Буниных очень ярка, самодовлеюща, с резко выраженными чертами характеров, страстей и дарований. Несмотря на вечные споры между некоторыми членами этой семьи, частенько переходящие в ссоры, а еще быстрее снова проходящие, все они были сильно привязаны друг к другу, легко прощая недостатки каждого, и считали себя какой-то особенной семьей, как это часто бывает в семьях, где мать самоотверженна, любит детей до самозабвения и, вероятно, незаметно для себя внушает им, что лучше их нет никого на свете [35, 383].

Маргарита Валентиновна Голицына *(урожд. Рышкова), троюродная племянница Бунина:*

Насколько я помню Людмилу Александровну ‹…›, она была небольшого роста, всегда бледная, с голубыми глазами, неизменно грустная, сосредоточенная в себе, и я не помню, чтобы она когда-нибудь улыбнулась [35, 188].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Людмила Александровна, рожденная Чубарова, происходила ‹…› из хорошего рода. Она была дальней родственницей Алексею Николаевичу (отцу Бунина. — Сост.), и в ней текла бунинская кровь. Мать ее была в девичестве Бунина, дочь Ивана Петровича.

Людмила Александровна была культурнее мужа, очень любила поэзию, по-старинному нараспев читала Пушкина, Жуковского и других поэтов. Ее грустная поэтическая душа была глубоко религиозной, а все интересы ее сосредоточивались на семье, главное, на детях. ‹…›

В деревне она почувствовала одиночество: в Воронеже Алексей Николаевич почти никогда не отлучался надолго, были и знакомые, и родные. А здесь он неделями пропадал на охоте, гостил у соседей, а она только по большим праздникам ездила в село Рождество, да к матери в Озерки. Старшие сыновья были заняты своим: Юлий по целым дням читал Добролюбова, Чернышевского, так что нянька говорила ему: «Если будете так все время в книжку глядеть, то у вас нос очень вытянется…» Да и жил он в деревне только на каникулах, и у матери сжималось сердце при мысли, что ее первенец вот-вот уедет за четыреста верст от дому! Евгений немного занимался хозяйством, это было

ему по душе; ходил на «улицу», — на сборище деревенской молодежи, где под гармонию плясали и «страдали». ‹…› Он купил себе дорогую гармонию-ливенку и все досуги упражнялся на ней. И мать все время проводила с Ваней, все больше привязываясь к нему, избаловала его донельзя [35, 27–28].

Лидия Валентиновна Рышкова-Колбасникова:

Людмила Александровна была женщина суровая, неприветливая, ей много пришлось пережить из-за беспечности мужа [25, 60].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Мать имела характер меланхолический. Она подолгу молилась перед своими темными большими иконами, ночью простаивала часами на коленях, часто плакала, грустила. ‹…›

А тревожиться и горевать у нее уже были основательные причины: долги все росли, дохода с хутора было мало, а семья увеличивалась — было уже пять человек детей [35, 31].

Евгений Алексеевич Бунин *(1858–1935), старший брат писателя:*

У нас еще был маленький братишка Анатолий, и за ним ходила кормилица Наталья. Она была в то время солдатка. Как-то, в отсутствие моих родителей, заявился из солдат ее муж пьяный, начал к ней придираться и хотел ее ударить. Она, думая, что он не дерзнет ее с ребенком бить, подставила ребенка, а он размахнулся, удар пришелся по ребенку, тот закатился неистово. Все это скрыли. Мать моя приехала и не могла понять, отчего мальчик так кричит, а кормилица не сказала. Его нельзя было ничем унять. Послали за фельдшером, тот осмотрел и сказал, что у него перелом ключицы. Повезли его в Елец, но было уже поздно. Мать его день и ночь носила на руках, так что, помню, все плечо у нее было черное. Он, бедный, страшно страдал… и как грустно было слушать, когда несчастный плакал. Мать так, бедная, плакала, что, я думаю, не ручьи, а реки слез пролила. Конечно, он скоро скончался в муках [32, 227].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Вообще она была сильной и здоровой женщиной до своего заболевания астмой, — ей ничего не стоило, например, таскать детей из ванны на руках чуть ли не до четырнадцатилетнего возраста, чтобы они не простудились [35, 79].

Евгений Алексеевич Бунин:

Нас с братом Юлием отвезли в Елец, в частный пансион для подготовки в гимназию ‹…› Дома же оставались в Бутырках наши родители и трое детей. Старший Костя, лет пяти, болезненный, очень бледный блондин с черными очаровательными глазами, за которые его прозвали вальдшнепом, сестренка Шура, лет трех, и мальчик Сережа, кажется, девяти месяцев. И вот как-то приезжает к ним сестра моего отца — старая девица, святоша, вроде бабушки Ольги Дмитриевны. Из усердия она помазала святым маслицем всех троих детишек. Мать моя, конечно, не подозревала, что эта сумасшедшая тетенька предварительно ходила по дворам деревни Каменки и мазала этим маслицем больных детей крестьянских. На второй или третий день все дети заболевают и на той же неделе умирают от крупа. Можно представить, каково это было пережить моей матери [32, 228].

Старший брат Юлий Алексеевич Бунин

Николай Дмитриевич Телешов:

Старший брат Бунина — Юлий Алексеевич ‹…› был значительно старше Ивана Алексеевича и относился к нему почти как отец. Влияние его на брата было огромное, начиная с детства. Ему, как человеку широко образованному, любившему, ценившему и понимавшему мировую литературу, Иван Алексеевич очень многим обязан в своем развитии. Любовь и дружба между братьями были неразрывные [52, 41].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Юлий был на редкость способным, учился блестяще. Например, пока учитель диктовал экстемпорале по-русски, Юлий писал по-латыни. Способен он был и к математическим наукам [35, 27].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

Скольким ему обязан Ян ‹…› Эти вечные разговоры, обсуждение всего, что появлялось в литературе и в общественной жизни, с самых ранних лет принесли Яну большую пользу. Помогли не надорвать таланта. С юности ему указывалось, что действительно хорошо, а что от лукавого [55, 58].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

Чуть не с детства я был под влиянием Юлия, попал в среду «радикалов» и чуть не всю жизнь прожил в ужасной предвзятости ко всяким классам общества, кроме этих самых «радикалов». О проклятие! [54, 156]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Есть (в архиве Бунина. — Сост.) интересная запись о зиме 1883 года:

«Как-то зимой приехали в Елец, остановились в „Ливенских номерах“, и, по обыкновению, взяли меня туда отец и мать, потом из Харькова приехал Юлий, и почти тотчас вслед за этим произошло нечто таинственное и страшное: вечером явился его товарищ Иордан, вывел его в коридор, что-то сказал ему, и они тотчас уехали куда-то, бежали».

Легко можно представить себе, какое это произвело впечатление на всех, особенно на мать. Сын их будущего соседа

в Озерках Цвеленева, студент-медик, пошел в народ, был схвачен, будучи переодетым в мужицкую одежду, и за пропаганду сослан в Сибирь. Знали они и о судьбе революционерок, сестер Субботиных, дочерей помещиков в Измалкове, станции Юго-Восточной железной дороги, судившихся по «процессу пятидесяти». И, конечно, когда об этом дошла весть до них, то ужасались до крайности, но им никогда не приходило в голову, что их Юленька, такой тихий, мухи не обидит, принимает участие в революционном движении. ‹…›

Юлию пришлось скрываться от полиции. Родители вестей от него не получали. Мать, конечно, все лето была убита горем. ‹…›

В сентябре 1884 года в сильном волнении «прискакали» в Елец родители Вани и, заехав за ним, отправились на вокзал, где уже, в ожидании поезда, сидел Юлий с двумя жандармами. Они в полном смятении рассказали, что накануне в Озерки вернулся Юлий и быстро был арестован, по доносу их соседа Логофета, как им сообщили.

Юлий Алексеевич был арестован потому, что его адрес нашли в подпольной типографии. Он послал приятелю сапоги, а тот забыл разорвать обертку с адресом отправителя.

Юлий Алексеевич принимал участие в народовольческом движении, был на Липецком съезде; его деятельность заключалась в том, что он писал революционные брошюры под псевдонимом Алексеев. Он не был активным деятелем. Очень конспиративный, с мягкими чертами характера, он и на следователя, вероятно, произвел впечатление случайно замешанного в революционное дело, а потому и отделался легко.

И в гимназии, и в университете ему прочили научную карьеру, но он от нее отказался ради желания приносить пользу народу и бороться с существующим строем. Из всей семьи он один обладал абстрактным мышлением, физически тоже был не похож ни на отца, ни на братьев — был неловок, совершенно не интересовался хозяйством, боялся жены. ‹…› Проводы Юлия были очень тяжелы: когда родители с Ваней вошли в зал третьего класса, то увидали Юлия где-то в дальнем углу, рядом сидели жандармы, оказавшиеся добрыми людьми.

Мать смотрела на сына сухими горячими глазами.

По воспоминаниям Ивана Алексеевича, у Юлия было смущенное лицо, очень худое, на нем была отцовская енотовая шуба, за что один из жандармов похвалил:

— В поезде будет холодно; хорошо, что дали шубу.

Мать, услыхав человеческие слова, расплакалась. ‹…›

Ване стало невыносимо, хотя он и вспоминал слова отца:

— Ну, арестовали, ну, увезли и, может, в Сибирь сошлют, —

даже наверное сошлют, да мало ли их нынче ссылают, и почему и чем, позвольте спросить, какой-нибудь Тобольск хуже Ельца? Нельзя жить плакучей ивой! Пройдет дурное, пройдет хорошее, как сказал Тихон Задонский, — все пройдет.

Но эти слова еще больнее были для Вани. Ему казалось, что весь мир для него опустел. ‹…› Несколько месяцев жил под этим впечатлением, стал серьезнее.

На Рождестве было особенно грустно. Мать убивалась. Поразило Ваню, что на следующий день, как Логофет донес на Юлия, его убило дерево, которое рубили в его саду [35, 52].

Борис Константинович Зайцев:

Юлий Алексеевич ‹…› был редактором журнала «Вестник воспитания» из Староконюшенного переулка. Знающие говорили, что это лучший педагогический журнал. ‹…› Юлий Алексеевич всегда сидел в своей квартире-редакции — на стене Св. Цецилия, — читает рукописи, пьет чай и курит. Из окна видна зелень Михайловского сада, в комнатках очень тихо, если зайти часов в двенадцать, то весьма вероятно, что там и Иван Бунин и что они собираются в «Прагу» завтракать.

Юлий Алексеевич невысок, плотен, с бородкой клинушком, небольшими умными глазами, крупной нижней губой, когда читает, надевает очки, ходит довольно мелким шагом, слегка выбрасывая ноги в стороны. Руки всегда за спиной. Говорит баском, основательно, точно продалбливает что-то, смеется очень весело и простодушно. В молодости был народовольцем, служил статистиком, а потом располнел и предстал законченным обликом русского либерала.

— Юля, — кричала ему в Литературном кружке веселая молодая дама. — Я вас знаю, вы из либерализма красную фуфайку носите!

Юлий Алексеевич подхохатывал своим скрипучим баском и уверял, что это «не соответствует действительности».

Был он, разумеется, позитивистом и в науку «верил». Жил спокойной и культурной жизнью, с очень общественным оттенком: состоял членом бесчисленных обществ, комиссий и правлений, заседал, «заслушивал», докладывал, выступал на съездах и т. п. Но пошлостей на юбилеях не говорил. Нежно любил брата Ивана — некогда был его учителем и наставником, и теперь жили они хоть отдельно, но виделись постоянно, вместе ездили в Кружок, на «Середу», в «Прагу». На «Середе» Юлий Алексеевич был одним из самых уважаемых и любимых сочленов, хотя и не обладал громким именем. Его спокойный и благородный, джентльменский тон ценили все. Что-то

основательное, добротное, как хорошая материя в дорогом костюме, было в нем, и с этим нельзя было не считаться [23, 282–283].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

Когда я вошла в семью Буниных, Юлию было 48 лет. Он был в то время еще совсем молодым человеком, очень жизнерадостным, но быстро теряющимся при всяком несчастьи. ‹…›

По наружности Юлий Алексеевич был в то время довольно полным и казался еще полнее, благодаря его маленькому росту. Фигурой он напоминал Герцена на памятнике в Ницце. Лицо было тоже несколько велико по росту, но освещалось оно умными иногда печальными глазами. Волосы были в то время каштановые, без малейшей седины. Голос был резкий, напоминающий коростеля. Ум несколько скептический, по-бунински горестный, но объективный. Математик по образованию, он обладал тем, чем редко обладают общественные деятели — это широтой ума и ясностью мысли. Он умел быстро ориентироваться в самых запутанных вопросах, конечно, отвлеченного характера.

Общественная деятельность, журнал, газетная работа — все это было как бы служение долгу, но тяга душевная у него была к литературе. Я думаю, что мало найдется русских, кто бы так хорошо знал всю русскую литературу. ‹…› Он обладал необыкновенно правильным литературным чутьем. Сам никогда ничего не писавший из художественных вещей, он превосходно разбирался во всех вопросах, касавшихся сферы этого творчества. Это свойство его ценили и понимали все знавшие его писатели, а потому он был бессменным председателем «Старой Среды», так же и председателем «Молодой Среды». Был он и председателем вторичной комиссии в Литературно-Художественном кружке, а в последние годы он был одним из редакторов в «Книгоиздательстве Писателей в Москве».

В нем было редкое сочетание пессимистического настроенного ума с необыкновенно жизнерадостной натурой. Он был добр, умел возбуждать к себе добрые чувства людей. К нему шли за советом, за помощью, с просьбой выручить из беды. ‹…› В практической жизни он был до странности беспомощен. ‹…› Он стал редактировать с вместе с др. Михайловым педагогический журнал, потому что ему было вместе с жалованием предложена квартира с отоплением, освещением, и полный пансион. ‹…› Юлий Алексеевич был барин, да, именно барин. ‹…› Делаю потому, что хочу, что считаю нужным [55, 54–55].

Борис Константинович Зайцев:

Надвигались страшные зимы 1919–1920 годов. ‹…› Ни «Русских ведомостей», ни «Вестника воспитания» уже не существовало. Юлий был грустен, недомогал. Пальто его совсем обтрепалось, шапочка тоже. Из Михайловского флигелька его выжили. ‹…› Как и все, жил он впроголодь.

‹…› Нужен был медицинский уход, лечение, правильное питание… в тогдашней-то голодной Москве!

После долгих хождений, обивания порогов его устроили в сравнительно приличный дом отдыха для писателей и ученых в Неопалимовском. Там можно было жить не более, кажется, шести недель. ‹…› Раза два ему срок продлили, но потом пришлось уступить место следующему, перебраться в какой-то приют для стариков в Хамовниках.

Я был у него там в теплый июньский день. Юлий сидел в комнате грязноватого особняка, набивал папиросы. На железных кроватях с тоненькими тюфячками валялось несколько богаделенских персонажей. Мы вышли в сад. Прошлись по очень заросшим аллеям, помню, зашли в какую-то буйную, глухую траву у забора, сидели на скамеечке и на пеньке. Юлий был очень тих и грустен.

— Нет, — сказал на мои слова о брате, — мне Ивана уже не увидеть. ‹…›

Через несколько дней Юлий обедал у меня в Кривоарбатском. Обедал! В комнате, где жена стряпала и стирала, где я работал, а дочь училась, он съел тарелку супа и, правда, кусочек мяса.

— Как у вас хорошо! — все говорил он. — Как вкусно, какая комната!

Больше живым я его уже не видал.

В июле представитель нашего Союза добился от власти, чтобы Юлия Алексеевича поместили в лечебницу. Назначили больницу имени Семашко — «лучшее, что мы можем предложить». Когда племянник привез Юлия Алексеевича в это «лучшее», то врач задумчиво сказал ему: «Да, что касается медицинского ухода, у нас вполне хорошо… но знаете… кормить-то больных нечем».

Юлий Алексеевич, впрочем, не затруднил собою, своей жизнью и питанием хозяев этого заведения: он просто умер на другой же день по приезде.

Мы хоронили его в Донском монастыре… в сияющий, горячий день, среди зелени и цветов. ‹…› Он лежал в гробу маленький, бритый, такой худенький, так непохожий на того Юлия, который когда-то скрипучим баском говорил на банкетах речи, представлял собой «русскую прогрессивную

общественность»… или, забравшись с ногами на кресло, подперев обеими руками голову, так что все туловище наваливалось на стол, читал и правил в Староконюшенном статьи для «Вестника воспитания» [23, 283–284].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

7/20 декабря 1921. Ян из газеты узнал о смерти Юлия Алексеевича. ‹…› После завтрака он пошел отдохнуть, развернул газету и прочел, как он потом рассказывал, «Концерт Юл. Бунина». Перечел, секунду подумал, и решил, что концерт в пользу Юл. Бунина. Подумал: кто такой Юл. Бунин? Наконец, понял то, чего он так боялся. Сильно вскрикнул. Стал ходить по комнате и говорить: «зачем уехал, если бы я там был, то спас бы его».

‹…› Он говорит, что не хочет знать подробностей. Он сразу же похудел. Дома сидеть не может. ‹…› Я его не оставляю. Старается все говорить о постороннем. ‹…› Ян очень растерян. ‹…› Он говорил вечером, что вся его жизнь кончилась: ни писать, ни вообще что-либо делать он уже будет не в состоянии. ‹…›

8 января (26 декабря) 1922. Ян пришел домой очень взволнованный. Стал говорить об Юлии. — «Если бы верить в личное бессмертие, то ведь настолько было бы легче, а то невыносимо. ‹…› Я мучаюсь страшно, все время представляю себе, как он в последний раз лег на постель, знал ли он, что это последний раз? Что он был жалок, что умирал среди лишений. А затем — тяжело, что с ним ушла вся прежняя жизнь. Он вывел меня в жизнь, и теперь мне кажется, что это все-таки ошибка, что он жив» [55, 57–58, 60].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

11/24 Января ‹1922›. Я не страдаю об Юлии так отчаянно и сильно, как следовало бы, м. б., потому, что не додумываю значения этой смерти, не могу, боюсь… Ужасающая мысль о нем часто как далекая, потрясающая молния… Да можно ли додумывать? Ведь это сказать себе уже совсем твердо: всему конец.

И весна, и соловьи, и Глотово — как все это далеко и навеки кончено! Если даже опять там буду, то какой это ужас! Могила всего прошлого! А первая весна с Юлием — Круглое, соловьи, вечера, прогулки по большой дороге! Первая зима с ним в Озерках, морозы, лунные ночи… Первые Святки, Каменка, Эмилия Васильевна и это «ровно десять нас числом», что пел Юлий… А впрочем — зачем я пишу все это? Чему это помогает? Все обман, обман [55, 63].

Брат
Евгений Алексеевич Бунин

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Отворилась дверь, и вошел полный, с большим брюшком, пожилой человек и внимательно посмотрел на меня своими светло-голубыми глазами, лицом напоминающий старшего брата Юлия. Я сейчас же догадалась, что это и есть Евгений Алексеевич. Я уже знала его по рассказам, знала, что он не развил своего таланта художника, посвятив себя сельскому хозяйству, что хозяйничал он удачно, со страстью, вообще что он человек сильных страстей, живший всегда очень самобытно, какой-то своей непохожей на других жизнью, деля время между хозяйством, писанием портретов и романами. Поэтому я тоже с большим интересом взглянула на него.

Он быстро заговорил с Яном, — и говор у него был какой-то свой, неинтеллигентский [35, 382].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Иногда Иван Алексеевич читал вслух. Однажды он взял новое произведение Горького, сказав, что это только что написанный рассказ Толстого. Вдруг брат Евгений прерывает его и говорит:

— Нет, это Горький пишет…

Удивительно одаренный был человек, — и читал мало, а сразу схватывал стиль писателя [35, 228].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Брата его Евгения, «крепостника в душе», крестьяне ненавидели и чуть не убили в 1905 году. Бунин с большим вкусом описывал спасение Жени собаками:

— Если бы умные псы не налетели на мужика и не стали бы срывать с него портки, — ведь мужик уже за нож схватился и хотел всадить Жене нож в брюхо. А тут пустился наутек, и псы за ним. Он еле от них отбился. Вся деревня гоготала — бежит, разорванные штаны, как флаг, развеваются, и псы, скаля зубы и ворча, скачут за ним [37, 285].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Образования у него не было, юность он провел в деревне; от природы он был одарен образным мышлением, наблюдательностью, имел здравый смысл. Пока был молод, он, по-бунински, оставался беспечен, но с летами, присмотревшись к

хозяйству, понял, что отца не переделаешь, что в будущем грозит полное разорение. Ему было 26 лет, когда он решил жениться. Выбрал, как известно, он девушку работящую, не из дворянского гнезда, знал, что ему нужна «поддужная», которая помогла бы выйти в люди. Он любил повторять: «руби дерево по себе». В своем выборе он не ошибся, но была одна беда: Настасья Карловна не могла иметь детей. А ему хотелось иметь наследников. В первые годы их жизни он, впрочем, даже и об этом не думал. Дума была одна: стать помещиком! Года через два после свадьбы они завели лавку, а через семь лет приобрели именьице.

Нужно сказать, что в Огневке они работали споро: ни у кого не бывало такого урожая, как у них; жили не по-дворянски, ни с кем, кроме родственников, да и то редко, не видались, работали, не покладая рук. И в 1906 году, когда он продал Огневку, у них было уже порядочное состояние. Руки у него огрубели, но все же он писал портреты, иногда удачные, а после революции, когда выгнали из дому и все деньги отняли, он портретами зарабатывал буквально на кусок хлеба, живя в полуразвалившейся хибарке за городом. Под старость у него появились дети: сын и дочь, от служанки, которая и оставила их у него. Он дал им свое имя, Настасья Карловна любила их [35, 133].

Сестра
Мария Алексеевна Бунина

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Вошла молодая брюнетка с живыми горячими глазами, в белой блузке, черной юбке, и сразу очень оживленно стала занимать меня.

Я не поняла, что это Марья Алексеевна, — как не похожа была она на братьев! [35, 382]

Иван Алексеевич Бунин. *В записи И. В. Одоевцевой:*

Она была миловидной, мечтательной, нежной, грациозной девушкой. Нет, не красавицей, но очень привлекательной, стройной, с лучистыми глазами. Шестнадцать лет, а кругом никого, кто бы мог влюбиться в нее, в кого она могла бы влюбиться. Ведь это драма. Она часами расчесывала волосы перед зеркалом и смотрелась в него. Повязывала голову пестрым шарфом, надевала кружевные блузки, сквозь которые просвечивала ее молодая, высокая грудь. Она улыбалась мне, строила мне глазки и наивно кокетничала со мной, больше решительно ведь не с кем было. Я хвалил ее прически и бархатку на шее, это радовало ее. Она приходила в восторг, когда я приглашал ее пойти гулять со мной или просил ее спеть под гитару старинный романс. И так мило краснела от моих похвал и комплиментов! Мои стихи она выучивала наизусть, но, кроме них, ничего не читала. Меня она считала вторым Пушкиным — ничуть не хуже Пушкина. Впрочем, о существовании других поэтов у нее были самые смутные понятия. Я хотел познакомить ее с Лермонтовым и Тютчевым, но вскоре убедился, что это бесполезно. Кроме меня и Пушкина, для нее не существовало поэта. Я для нее был не только поэтом, но чем-то вроде божества. Как это ни удивительно, но она, несмотря на свою необразованность, была прелестной романтической русской девушкой. Не только чувствовала мои стихи, но и совсем не глупо о них судила. У нее был врожденный вкус. До своего брака. Ведь она вышла замуж за простого стрелочника — какой позорный брак, конечно. Потом на нее было грустно смотреть, — хотя ее муж казался очень порядочным, честным человеком, — так она изменилась! А я, когда ей было шестнадцать лет, был даже слегка влюблен — как Гете, как Шатобриан, как Байрон — в свою сестру, следуя романтической традиции, о которой я, впрочем, тогда еще и не слыхал [37, 286–287].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Ваню мучила судьба сестры, но он был не из тех, кто мог посвятить свою жизнь другому, да и чувствовал, что при ее характере и лени с ней ничего не поделаешь, — учиться, систематически работать она не хотела, да и шел ей всего четырнадцатый год [35, 87].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

— А как разно сложилась жизнь ваша и Машина, — сказала я. — Вы объездили полмира, видели Египет, Италию, Палестину, Индию, стали знаменитым писателем, а она никуда не выезжала из России, не была ни в одном большом городе ‹…›.

— Ужасно! Ужасно! И вот есть какое-то чувство виноватости перед ней. Жизнь страшна, непонятна. Вот я сажусь в кавказский экспресс, идущий на Баку, а он такой, каких, наверное, и у английского короля нет: стекла саженные, весь какой-то литой, блиндированный, в первом классе желтые кожаные сиденья… и вот станция Грязи. Я схожу, встречает меня муж сестры Маши, рвет из рук чемодан и, почтительно и родственно вместе с тем, улыбается, целуется… И вот идем мы через буфетный чертог и все поглядывают… Все знают, что этот господин зять здешнему помощнику машиниста. И так идем через местечко, и все тоже смотрят, все знают… И так приходим в домик… А там Маша, нервная, худая, часто курящая, и двое детей, жалких, большеухих, как котята какие-то. И мамочка живет с ними… Ах, страшна жизнь!

А ночью, чуть горит прикрученная лампочка, и из комнаты, где я сплю, слышно, как вдруг, сев со сна на постель, громко расплачется, зальется ребенок: «Бабушка!..» — и сейчас же сонное шлепанье ее ног и шепот… А потом она закуривает над лампой, и фитиль вспыхивает, вскинется наверх…

‹…› Тут грязное пыльное уныние… Но не надо, однако, представлять эту жизнь чрезмерно ужасной. Днем Машенька, бывало, весела, напевает, а вечером я накуплю всякой всячины, вина, сыров, сардин великолепных, она выпьет, да возьмет гитару, да сядет в каком-нибудь мягком платке на плечах, да начнет что-нибудь по-отцовски. Она умница, талантливая… и вполне сумасшедшая, конечно. А то бывало пойду на вокзал, спрошу себе бутылку красного, сяду, лакей подает — и косится… Все знают, что этот отлично одетый господин приехал к помощнику машиниста. А иногда и Машенька придет со мной в бархатной шубке, такого какого-то рытого бархата… Ах, как все это страшно и жалко… [28, 230–231]

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

19 мая 1912. Пробыли ‹с Юлием Алексеевичем› по пути ‹в Глотово› пять часов в Орле у Маши. Тяжело и грустно. Милая, старалась угостить нас. Для нас чистые салфеточки, грубые, серые; дети в новых штанишках [54, 98].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

11 марта 1932. Я сказала, что, в сущности, у И. А. много родственников. И вдруг он внезапным быстрым голосом сказал:

— Если ты знаешь, что Евгений или Маша умерли, — не говори мне!

Я испытала такое чувство, как будто меня ударили в грудь — незадолго перед этим пришло известие о ее смерти, которое скрыли от И. А. [28, 247].

Сын Коля от первого брака с Анной Николаевной Цакни

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

9 марта 1932. Ребенок, сын, прожил лет до пяти. Был он хорошенький мальчик. Виделся он с ним раз пять в году, причем «в это время весь дом затворялся у себя и дышал на меня злобой». Мальчик выбегал, бросался к нему на шею и звонко кричал: «Папа, покатай меня на трамвае!» Это казалось ему верхом счастья. Умер он от скарлатины. Есть карточка его на смертном одре. Он в бархатном костюмчике, в лакированных башмаках, лежит, очень вытянувшись… [28, 244]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

В книге Морфесси написано:

«Вспоминаю мою первую встречу с тогда только вошедшим в славу поэтом-писателем И. А. Буниным. ‹…› Очаровательным ребенком был сын Бунина, пяти лет, говоривший стихами. Увы, этот феноменальный мальчик угас на моих руках, безжалостно сраженный менингитом».

Ни о менингите, ни о том, что Коля говорил стихами, Иван Алексеевич не рассказывал. Жаловался, что порой семья Цакни препятствовала его свиданиям с сыном, вспоминал, что иногда он находил его на берегу моря. ‹…›

Вскоре после смерти сына Ивана Алексеевича рассказывала мне в Москве Вера Алексеевна Зайцева: «На днях встретила Бунина на улице, была поражена его видом, — у него умер сын, вот скрутило его горе! Ты и представить не можешь, как он изменился!..» И мне тогда стало несказанно жаль его, хотя в ту пору я с ним не встречалась [35, 239–240].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

По рассказам В. Н., смерть пятилетнего Коли, сына Бунина от первой жены, глубоко потрясла его. Это был необычайно одаренный мальчик. И. А. не мог примириться с его преждевременной смертью [32, 312].

Лидия Валентиновна Рышкова-Колбасникова:

В 1904 году я пришла к нему (И. А. Бунину. — Сост.) в Москве, он жил в гостинице «Лоскутной», был он чем-то очень расстроен, долго молчал, а потом под большим секретом сказал, что у него умер сын пяти лет. Он скрывал это от матери, она была

бы очень этим расстроена еще и потому, что у его братьев не было детей, и она боялась, что прекратится род Буниных [25, 62].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

В последние месяцы его жизни, когда он почти не вставал с постели, у него на пледе всегда лежал последний портрет живого сына… ‹…›

Он получил портреты Коли на столе и в гробу, окруженного цветами и игрушками — были среди них и его подарки. Эти фотографии разорвали ему сердце, но они с ним были до последних его дней [35, 242].

Жена
Вера Николаевна Муромцева-Бунина

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *В записи Т. Д. Муравьевой-Логиновой:*

Женой писателя быть не легко, а очень, очень трудно, — ответила мне В. Н. — Надо уметь понять, принять и простить все увлечения, не только те, что были, а заранее и все те, что смогут быть. Надо понять жажду новых впечатлений, новых ощущений, свойственную артистам, подчас им необходимую, как опьянение, без которого они не могут творить, — это не их цель, это их средство. А цель творящего человека — его творчество [32, 315–316].

Александр Васильевич Бахрах:

Смело можно утверждать, что быть женой Ивана Алексеевича, хоть в общем был он человеком уживчивым и только в некоторые моменты становился капризным и своенравным, требовало большой доли самопожертвования, отказа от собственного «я», от того, что принято называть «самолюбием». Но все это в глазах Веры Николаевны в значительной мере компенсировалось тем, что можно было называться «госпожой Буниной». Это всегда ласкало ее слух!

Сильным характером она не обладала, хоть иногда проявляла известное упрямство, но вставать «на дыбы» не умела. Она отнюдь не была «душечкой», но не была и «музой» Бунина ‹…›. Она готова была мириться со всем, что вставало на ее пути, что осложняло ее жизнь, если только это упрощало жизнь Бунина, причем делала это почти инстинктивно, так уж повелось…

Рассказывали, что в молодости она была очень схожа с одной из моделей Филиппино Липпи, и мне кажется, что в этом нет преувеличения. Даже когда я с ней познакомился, она еще была очень красивой женщиной, и черты былого «мадонизма» еще проступали сквозь морщины и раннюю седину.

Как бы там ни было, трудно себе представить, чтобы нашлась другая женщина, с которой Бунин мог бы прожить столько лет, как с Верой Николаевной, которая была бы ему так полезна и незаменима, и едва ли какая-либо другая, что бы ни происходило вокруг, продолжала бы проявлять по отношению к нему столько теплоты и заботливости, иной раз «сквозь слезы» [8, 140–141].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из письма*

Д. Н. Муромцеву. 22 января 1935 г.:

Для Яна нет больше человека, чем я, и ни один человек меня ему никогда не заменит. Это он говорит всегда и мне, и нашим друзьям без меня. Кроме того, то нетленное в наших чувствах, что и есть самое важное, остается при нас. В моей же любви никто не сомневается. ‹…› Умирая, его мать послала мне через Софью Николаевну ‹Пушешникову› завещание и просьбу: «Никогда не покидать его». И он это знает и очень держится за это. Если бы я ушла, это, как он говорит, была бы катастрофа, тогда как разлука с другими «только неприятность» [6, 104–105].

Георгий Викторович Адамович:

Могу все же засвидетельствовать, что за ее бесконечную верность он был ей бесконечно благодарен и ценил ее свыше всякой меры. Покойный Иван Алексеевич в быту не был человеком легким и сам это, конечно, сознавал. Но тем глубже он чувствовал все, чем жене своей обязан. ‹…› Если бы в его присутствии кто-нибудь Веру Николаевну задел или обидел, он, при великой своей страстности, этого человека убил бы — не только как своего врага, но и как клеветника, как нравственного урода, неспособного отличить добро от зла, света от тьмы… [1]

Наталия Сергеевна Гончарова *(1881–1962), живописец, график, театральный художник; в записи Т. Д. Муравьевой-Логиновой:*

‹…› Вера Бунина была красавица. Мраморное лицо, выточенное, огромные синие глаза. Нельзя было мимо пройти, не залюбовавшись. Первая красавица во всей гимназии [32, 304–305].

Борис Константинович Зайцев:

Вера Муромцева, очень красивая девушка с огромными светло-прозрачными, как бы хрустальными глазами, нежным цветом несколько бледного лица, слушательница высших женских курсов Герье, неторопливая и основательная [21, 302].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

Милый, тихий, рассеянно-задумчивый взгляд Веры, устремленный куда-то вперед. Даже что-то детское — так сидят счастливые дети, когда их везут. Ровная очаровательная матовость лица, цвет глаз, какой бывает только в этих снежных полях [54, 125].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

4 ноября 1906 года я познакомилась по-настоящему с Иваном Алексеевичем Буниным в доме молодого писателя Бориса Константиновича Зайцева. ‹…›

В том году (о чем я после узнала) Ивану Алексеевичу только что исполнилось тридцать шесть лет. Но он показался мне моложе.

Я знала, что он был женат, потерял маленького сына и с женой разошелся задолго до смерти мальчика. ‹…› Говорили также, что до женитьбы Иван Алексеевич считался очень скромным человеком, а после разрыва с женой у него было много романов, но с кем — я не знала: имен не называли [35, 259].

Борис Константинович Зайцев:

Спустя полвека, уже здесь в эмиграции, я спросил Веру: «Как ты запомнила, что это произошло именно 4 ноября?» — «А я, голубчик, помнила, что была суббота и начало ноября, только что снег выпал. Вот я и перебрала весь календарь за 1906 год, в ноябре суббота оказалась именно 4-е». Да, в ней была, конечно, складка основательности и усердия — не появись на перекрестке Иван Бунин, вышел бы, может быть, из нее ученый-исследователь. (Сама же она всегда очень боялась, как бы не сочли ее синим чулком.) [21, 303]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Мы уже начали с Иваном Алексеевичем видаться ежедневно: то вместе завтракали, то ходили по выставкам, где удивляло меня, что он издали называл художника, бывали и на концертах, иногда я забегала к нему днем прямо из лаборатории, оставив реторту на несколько часов под вытяжным шкапом. Ему нравилось, что мои пальцы обожжены кислотами.

— Вот о какой науке я не имею ни малейшего понятия, так это о химии, — сказал он со своей очаровательной улыбкой [35, 274].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Я уже чувствовала, что Бунин вошел в мою жизнь, но не решила, жить ли с ним открыто, или, взяв место по химии где-нибудь под Москвой — профессор Зелинский мог устроить, — скрывать наши отношения.

Мама оставалась непримиримой. Ее настраивали против Бунина многие так называемые друзья мои, даже те, кто мало знали его. Один приват-доцент, приехавший из Казани, давнишний мамин приятель, у нас за обедом чернил Ивана Алексеевича. Волновался и профессор Горбунов и другие.

Я отмалчивалась. Решила готовиться к экзаменам, которые можно было держать в течение всего весеннего семестра. По телефону попросила Николая Дмитриевича Зелинского дать мне дипломную работу. И тут постигла меня неудача.

— Нет, работы я не дам вам, — сказал он своим заикающимся голосом, — или Бунин или работа…

Я рассердилась и положила трубку. ‹…›

Начался пост, впрочем, я в те годы была равнодушна к нему. Когда близкие люди говорили мне, что я жертвую собой, решаясь жить с ним вне брака, я очень удивлялась. Я была рада, что мне не нужно венчаться, я была в те годы далека от церкви. Но я никогда не кощунствовала, а потому мне было бы тяжело к таинству брака отнестись формально. И я была рада, что судьба, не позволяя вступить в брак законным образом, избавляла меня от того, во что я не верила. Иван Алексеевич был женат. Требовать развода я тоже не хотела, так как в те годы он был сопряжен с грязными подробностями, кроме того, едва ли его жена взяла бы вину на себя, а если он возьмет, то сразу все равно нельзя было бы венчаться, и я не затрагивала с ним никогда этой темы. Сын его два года назад умер. Думаю, что если бы он был жив, то я не стала бы «делить жизни» с ним, как он писал. ‹…›

Как передать, что испытывает молодая женщина, когда к ней начинают относиться по-новому, как к даме, к жене? Кроме того, воспитанная очень свободно, я привыкла поступать только по-своему и ценить свою самостоятельность. Наше поколение было немилосердно к родителям. Мы с какой-то беспощадностью отстаивали свою независимость и не прощали малейшего ограничения наших желаний [35, 282, 286, 297].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

23/10 апреля 1927. Сейчас мы отпраздновали наше 20-летие. Ужинали дома. ‹…› Выпили Poulli. Ян мне сказал: «Спасибо тебе за все. Без тебя я ничего не написал бы. Пропал бы!» Я тоже поблагодарила его — за то, что он научил меня смотреть на мир, развил вкус литературный. Научил читать Евангелие. Потом мы долго целовались и я, смеясь, сказала: «Ну уж ты ни с кем так много не целовался, и ни с кем так много не бранился». — «Да, — ответил Ян, — мы бранились много, зато дольше 5 минут мы друг на друга не сердились». Это правда, длительных ссор у нас никогда не бывало [55, 136].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

Одевалась она очень просто, но со вкусом, никогда не было на ней ничего неряшливого.

От нее веяло чем-то таким достойным, редким, что казалась она порой даже «величавой»; вернее, редкое душевное благородство придавало всему ее внешнему облику особый аристократизм. Несмотря на то, что она умела владеть собой, очень вредила ее чрезмерная нервность.

И. А. любил, чтобы она была хорошо одетой, светской, и гордился ею. Также безмерно ревновал он ее. Все было у него с бунинским размахом — «вне меры» [32, 311–312].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

Есть одна В. Н., милая, сердечная, добрая, с которой приятно быть и разговаривать, и есть другая — которая воспламеняется из-за всякого пустяка и с которой быть, особенно человеку нервному, физически тяжело. Но как вызвать первую и успокоить вторую — никто не знает… [28, 115]

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Была ли В. Н. умна? Право, я об этом не задумывалась. Она была все же необычайным человеком, и замечалась в ней не так житейская мудрость, как мудрость сердца, а главное — почти нечеловеческое терпение. Любила она пошутить и часто улыбалась. Вероятно, чтобы не остаться в долгу перед успехами Ивана Алексеевича, иногда, говоря о молодости, намекала, что и с ней «всякое бывало», и тогда по ее целомудренному лицу скользило совершенно чудесное и неубедительное кокетливое выражение.

Жалости к себе она никогда не чувствовала [57, 216].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Я решила его называть Яном: во-первых, потому что ни одна женщина его так не называла, а во-вторых, он очень гордился, что его род происходит от литовца, приехавшего в Россию, ему это наименование нравилось [35, 285].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

Тяжело бездетным женщинам невыносимо. ‹…› Умрешь и никого не оставишь, некому тебя оплакивать, некому за тебя молиться. Верно, что евреи — мудрый народ — считали, что бездетность — это наказание за грехи. Так оно и есть. Поняла я это слишком поздно [55, 156].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

Вера Николаевна была искренно расположена ко всем людям. Каждому давала она кусочек своего любвеобильного сердца. Кого

только не окружила она своей материнской заботливостью! А там, где нужно было помочь в беде, — она проявляла свой редкий талант. Она была неутомима в устройствах сборов, вечеров и «слезных писем имущим». Умела она растрогать даже очень черствых и скупых людей.

В истинной человечности Бунины дополняли друг друга [32, 315].

Василий Семенович Яновский:

Это была русская («святая») женщина, созданная для того, чтобы безоговорочно, жертвенно следовать за своим героем — в Сибирь, на рудники или в Монте-Карло и Стокгольм, все равно! Случилось, что на каторгу ей не пришлось идти, но, конечно, она не побоялась бы разделить судьбу Волконской и Трубецкой, даже, может быть, предпочла бы это — Грассу и 1, рю Жак Оффенбах.

Для бала Союза молодых писателей и поэтов или для наших больших общих, и индивидуальных, вечеров Бунина неутомимо собирала пожертвования, продавала билеты, просила, кланялась, с достоинством благодарила… Ходила по русским бакалейным лавкам, унося для буфета дареные рижские шпроты и польскую колбасу.

Принимала участие в судьбе любого поэта, журналиста да вообще знакомого, попавшего в беду, бежала в стужу, слякоть, темноту. ‹…›

По окончании парижского университета мне по закону полагалось для получения звания доктора Сорбонны напечатать свою диссертацию. А для этого нужны деньги.

И Вера Николаевна носилась по тучным меценатам с подписным листом, собирая на these de Paris. Мне было совестно; в конце концов, диплом ничего общего с литературой не имеет, зачем ей стараться! А она с холодной улыбкой на бледно-матовом лице, что-то похожее на Джоконду, объясняла:

— А мне очень приятно ходить именно по такому делу. Обычно я обращаюсь к солидным, практичным людям и прошу на какие-то стишки, которые они не знают и вряд ли когда-нибудь узнают. А тут вдруг впервые я могу их обрадовать понятным и приятным образом: помилуйте, на докторскую диссертацию, устроится человек и другим начнет помогать… Это они чувствуют! [59, 318–319]

Борис Константинович Зайцев:

Кроме природной доброты и отзывчивости, была у нее и «профессиональная» какая-то черта: ей нравился артиллерийский огонь по богатым еврейским домам (дай Бог им

здоровья — главная наша опора в таких начинаниях). Ускользнуть от Веры было трудно: с негетерской основательностью собирала она адреса («У меня, голубчик, есть черный список. Ни одна не уйдет».) И действительно, черный список существовал, и к нему прибегали и тогда, когда устраивались большие балы благотворительные нашего Союза писателей… и когда трудно становилось кому-нибудь из отдельных писателей, начиная с самого Ивана (до Нобелевской премии) [21, 323].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Вера Николаевна вытаскивала очередной подписной лист — на помощь кому-нибудь, на издание книги, на продолжение учения, а то и просто на оплату кому-то квартиры. Явное неблагополучие было во всей этой кутерьме, и денежное положение всегда было катастрофично, но ни личные, ни денежные трудности не могли погасить сияние доброго лица Веры Николаевны. Забота об Иване Алексеевиче, забота о Зурове, забота попутная о десятках других лиц была ее уделом, и сознание своей необходимости удвояло ее силы.

Как часто встречается, к самому близкому существу и Иван Алексеевич, и Зуров чувствовали больше всего раздражения. Иногда мне казалось, что если бы — не только в конце сороковых годов, но и раньше — Вера Николаевна в припадке настоящего или мнимого гнева и возмущения хлопнула бы по столу, разбила чашку и закричала, то всем домашним стало бы легче жить, и что тихая ее покорность и облик мученицы, все переносящей, не разряжали, а сгущали атмосферу.

Как-то раз случилось, что я не выдержала очередного резкого выпада И. А. — я с ними была одна — и, встав, сказала: «Не могу я слушать, как вы говорите с Верой Николаевной! Я уведу ее с собою попить кофе». Мы ушли, сели в кафе на площади Пасси. Там, с обычной своей улыбкой на бледном лице, Вера Николаевна сказала: «Вы совсем напрасно, Зиночка, за меня обижаетесь. Ведь я сильная, куда сильнее Яна. Вот он, бедный, всего боится: бедности — все не может забыть, как его семья какую-то зиму пробавлялась только яблоками, — и болезни боится, и смерти, а я ничего не боюсь». И правда, в слабости своей Вера Николаевна обладала духовной силой, помогающей ей даже и не замечать того, что замечали другие. Там, в кафе на Пасси, никогда не жалуясь, а просто радуясь возможности поделиться, Вера Николаевна говорила то о проблемах Зурова, то объясняла Ивана Алексеевича. Рассказывала, часто называя имена (а иногда о них умалчивая) кое-кого из тех, кто, пользуясь слабостью И. А.,

«уведут его в кафе, там угостят коньяком, ему запрещенным», попросят его им на прочтенье письма Жида или Мориака и забудут эти письма вернуть, как и книги с автографами. Не осуждала, нет, но хотела, чтобы я поняла, что и продавать-то будет нечего.

‹…› Вообще, удивительная она была женщина — и если вдуматься, то она была права, Иван Алексеевич был человеком слабым, а она очень сильным, несмотря на то, что казалась бесцветной и затушеванной. ‹…›

Вера Николаевна была права. В неверном опасном мире единым якорем спасения для Бунина была верная душа его жены [57, 211, 216].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

28 сентября 1941. Жизнью с Яном довольна. Начала бы снова жизнь, прожила бы так же. Лучшего спутника в жизни не хотела бы [55, 331].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

На восемь долгих лет пережила она Ивана Алексеевича. Эти годы были посвящены увековечиванию его памяти, устройству бунинских вечеров, переписке, постоянной помощи нуждающимся литераторам, заботе о Зурове, Олечке, Ляле [32, 328].

Жизнь

Детство. Отрочество

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма к А. Коринфскому. 18 ноября 1895 г.:*

Родился я 10 октября 1870 года в Воронеже, куда мои родители переселились на время из деревни для воспитания моих старших братьев; но детство (с четырехлетнего возраста) мне пришлось провести в глуши, в одном из небольших родовых поместий (хутор Бутырки, Елецкого уезда, Орловской губ.) [6, 8].

Евгений Алексеевич Бунин:

Начну с детства Вани и моей юности.

Хутор наш приходил в упадок, землю большей частью отец сдавал крестьянам, в хозяйстве же оставались две-три коровы и лошадей тоже немного. Себе в посев оставалось очень мало, и все вокруг заросло бурьяном, крапивой, татарками так же, как и сад. Но все это было как-то поэтично: глушь, тишина, только сычи нарушали по ночам эту дремоту, да вблизи, прямо за сараями, была масса перепелов и коростелей. Я любил охотиться за перепелами с сетью и трюкалками подзывать их. Со мной Ваня пристрастился к этой охоте, и мы с ним, половив вечернюю зорю, обыкновенно собирались уходить на утреннюю зорю дальше. Ночи стоят в это время короткие, вот я, бывало, говорю: «Ну я, брат, лягу в амбаре пока поспать, а ты не прозевай, буди меня, карауль зорю». И вот, бывало, стоит прекрасная лунная ночь, и он не спит, бегает вокруг амбаров и не ложится, а как услышит первого перепела, будит меня, и мы с ним отправляемся целиком по ржам, по росе. Еще темно, уж перед утром идем, выслушиваем, где лучший перепел. Так уходим за версту или более и там выберем лучшее место или лучшего перепела, растягиваем сеть, и я предупреждаю Ваню, чтобы сидел смирно, затаив дыхание при их приближении. И он, дрожа от нервности и ожидания, замирает. Случалось даже так, что перепела окружат нас, и до того есть смелые, что иногда вскакивают на ногу и на плечо. Помню, взобрался один смельчак на голову Ване и там орет. Можно представить состояние Вани, — он с замиранием сердца в охотничьем экстазе ждет, пока они соберутся под сеть, и тогда по моему знаку вскакивает, вспугивает их. Они запутываются в сети, и тут уж мы их осторожно, но быстро, чтобы не выпутались сами, извлекаем и кладем в мешок, — тут восторгу уже нет конца. Опять продолжаем ловлю, перетаскивая иногда сеть в другое место. А тут уже заря разгорается, и они с еще большей силой и энергией кричат и перелетают. Но это по большей части

скорохваты, а самые бойцы — те более осторожны, выбивают резво, не спеша, раза по три, и отличаются от тех скорохватов выдержкой. Он один иногда выделяется из сотни. Но с таким уже не промахнись: малейшая неправильность — и он сейчас же узнает и не пойдет, а во вторую зорю его уже не приманишь. При удачной охоте Ваня бывал в таком восторге, что подпрыгивая бежал домой. Там сажаем их в клетки. Если пойман ранней весной, то скоро закричит в клетке [32, 229].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Он, попав на деревенский простор, прежде всего поразился природой, и ему запомнились ‹…› не совсем обычные в младенчестве желания: взобраться на облачко и плыть, плыть на нем в жуткой высоте, или просьба к матери, когда она его убаюкивала, сидя на балконе, перед сном, дать ему поиграть со звездой, которую он уже запомнил, видя ее из своей кроватки. ‹…›

Маленький Ваня рос, окруженный лаской и любовью. Но в душе его жила грусть. Услыхав от взрослых фразу: «Ему и горя мало» и поняв ее по-своему, он стал часто задумываться, сидя у окна с ручонкой под подбородком, и однажды, на вопрос, что с ним, — отвечал:

— У меня горя мало.

В детстве он картавил, не произносил буквы «р». Он думает, что это было из подражания кому-нибудь, ибо когда брат Евгений накричал на него за это, — ему было уже лет восемь, — он сразу перестал картавить. Но в детстве, выходя из себя, если не исполнялось его желание, он падал на пол и кричал: «Умиаю-ю! умиаю-ю!»

С очень раннего возраста обнаружились в мальчике две противоположные стороны натуры: подвижность, веселость, художественное восприятие жизни, — он рано стал передразнивать, чаще изображая комические черты человека, — и грусть, задумчивость, сильная впечатлительность, страх темноты в комнате, в риге, где, по рассказам няньки, водилась нечистая сила, несмотря на облезлую иконку, висящую в восточном углу. И эта двойственность, с годами изменяясь, до самой смерти оставалась в нем [35, 28, 31].

Евгений Алексеевич Бунин:

Наш хутор Бутырки, или, как его прозвал отец, — Гуниб ‹…› весь бывал занесен глубокими снегами, которые сравнивали все заносами после недельных метелей. Ни конный, ни пеший не мог туда проникнуть, а если кто и рисковал к нам забрести, то трудно бывало его провести. Часто приходилось посылать работников с

лопатами откапывать и прокладывать дорогу, так хутор был занесен — едва виднелись крыши в виде сугробов и макушки деревьев садика. Мы месяцами бывали отрезаны ото всего мира, и если не хватало необходимых запасов, то уже — терпи. Если же кто заезжал к нам, тот переживал с нами эту горькую долю. Да, мало отличалась жизнь наша от жизни самоедов и других северян. Многое я мог бы рассказать про наши семейные длинные вечера, да воздержусь… С каким нетерпением ждал я ранних признаков весны. Часто, бывало, влезаю на чердак, смотрю в слуховое окно и жду — не покажутся ли грачи или ранние весенние птички, или, может быть, овраги уже наполняются полой водой и скоро зашумят по ним с могучим ревом обширные воды. Наш Гуниб бывал в это время окружен водой и становился как бы полуостровом. А Ваня, начитавшись Робинзона Крузо и про индейцев, мастерил себе затейливые дикарские костюмы или доспехи рыцарей вместе со своим преподавателем Н. И. Ромашковым, который у нас проживал. ‹…›

У Вани был свой Пятница, когда он представлял из себя Робинзона. Когда же мы, после смерти бабушки, переехали в Озерки, у нас там был под садом большой пруд, где они с товарищем по целым дням плавали в индейских костюмах на пирогах с шестами, крича: «Кикереки, кикерики, я аллигатор с соседней реки!» — и сражались стрелами [32, 230].

Лидия Валентиновна Рышкова-Колбасникова:

В детстве Иван Алексеевич и мой брат плавали по пруду на старых воротах, изображая индейцев [25, 61].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

С самого детства Ваня стал водиться со сверстниками, сначала с пастушатами, а затем и с ребятишками из Выселок, которые находились в версте от Бутырок. Бывали они и у него в гостях, бывал и он в их избах. С некоторыми из ребят он очень дружил, а одного так полюбил, что требовал, чтобы он оставался у него ночевать, что порой возмущало их строгую, чинную няню. Со всеми он был на равной ноге, и от более сильных ему иногда попадало «под микитки», но он никогда не жаловался дома.

Родители брали Ваню, а потом и сестер, в церковь в селе Рождество, куда ездили на тройке с кучером в цветной рубашке и плисовой поддевке. Бог Саваоф, написанный в куполе, вызывал в нем страх. Несмотря на утомление, он любил церковные службы, нравился ему и почет, которым они в храме пользовались. Священник присылал матери просфору, крестьяне давали им дорогу, когда они немного опаздывали к службе.

Стали брать детей, когда ездили к бабушке, матери Людмилы Александровны, в Озерки, которые находились в нескольких верстах от их хутора. На Ваню произвел впечатление въезд в усадьбу с двумя каменными столбами, поразил дом с необычайно высокой крышей и пленили цветные стекла в окнах гостиной и угловой комнаты. А старую ель перед домом они с сестрой называли «заветной» [35, 37].

Иван Алексеевич Бунин:

От дворовых и матери я ‹…› много наслушался песен, сказок, преданий, слышал, между прочим, «Аленький цветочек», «О трех старцах», — то, что потом читал у Аксакова, у Толстого. Им же я обязан и первыми познаниями в народном и старинном языке [6, 14].

Марк Алданов:

Бунин в детстве учился грамоте по русскому переводу «Дон Кихота»… [4]

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма к А. Коринфскому. 18 ноября 1895 г.:*

Как я выучился читать, право, не помню, но правильно учиться я начал только тогда, когда ко мне пригласили гувернера, студента Московского университета некоего ‹…› Ромашкова, человека странного, вспыльчивого, неуживчивого, но очень талантливого — и в живописи, и в музыке, и в литературе. Он владел многими языками — английским, французским, немецким и знал даже восточные, так как воспитывался в Лазаревском институте, много видел на своем веку и, вероятно, его увлекательные рассказы в зимние вечера, когда метели буквально до верхушек заносили вишенник нашего сада на горе, и то, что первыми моими книгами для чтения были «Английские поэты» (изд. Гербеля) и «Одиссея» Гомера, пробудили во мне страсть к стихотворству, плодом чего явилось несколько младенческих виршей [6, 8].

Евгений Алексеевич Бунин:

Н. И. Ромашков ‹…› был действительно незаменимый человек (конечно, трезвый, если же выпивал, то становился нестерпимым). Он имел неистощимый запас анекдотов и всевозможных рассказов, обладал колоссальной памятью, был человек вообще талантливый. Окончив Лазаревский институт, он затем был, кажется, на юридическом факультете. Не окончил его и в 22 года поступил учителем в гимназии — женскую и

мужскую, — но после отставки по случаю пьянства уехал. Он превосходно читал, декламировал, излагал вполне литературно прочитанное, писал стихи, ограничиваясь, однако, только злободневными. Вообще, был он большой комик, умел рассказывать и строил при этом такие уморительные рожи, что все окружающие помирали со смеху. Играл на скрипке и гитаре довольно сносно. Когда же появлялся на столе черфь-ерыч (так он прозвал могарыч), то первое время бывал очень весел и принимался плясать. Однако этот черфь-ерыч быстро на него действовал, и тут уж он начинал ко многим придираться, обыкновенно сучил кулаки и говаривал: «А я вот тебя сейчас в данлевизаж[8] и на манную кашу отсажу», то есть в морду даст и выбьет все зубы [32, 230].

Иван Алексеевич Бунин:

Повышенная впечатлительность, унаследованная мной не только от отца, от матери, но и от дедов, прадедов, тех весьма и весьма своеобразных людей, из которых когда-то состояло русское просвещенное общество, была у меня от рожденья. ‹Он› чрезвычайно помог ее развитию. ‹…› Та противоположность чувств и представлений, которую он поселял во мне, проистекала из того, что для своих рассказов он чаще всего избирал, совсем не считаясь с моим возрастом, все, кажется, наиболее горькое и едкое из пережитого им, свидетельствующее о людской низости и жестокости, а для чтения — что-нибудь героическое, возвышенное, говорящее о прекрасных и благородных страстях человеческой души, и я, слушая его, то горел от негодования к людям и от мучительной нежности к нему самому, столько от них страдавшему, то млел, замирал от радостных волнений [14, 287–288].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

В детстве он впервые ощутил смерть: деревенский мальчишка из пастушат сорвался вместе с лошадью в Провал, находившийся в поле за усадьбой, нечто вроде воронки с илистым дном, покрытой бурьяном и зарослями.

Вся усадьба кинулась спасать, но и пастушонок, и лошадь погибли. Слова: «мертвое тело», сказанные при Ване, ужаснули его. Он долго жил под впечатлением этой смерти. Часто смотрел на звезды и все думал: «На какой душа Сеньки?» [35, 32]

Иван Алексеевич Бунин. *В передаче В. Н. Муромцевой-Буниной:*

Я был в детстве и отрочестве правдив необыкновенно. Как

вдруг случилось со мной что-то непостижимое: будучи лет восьми, я вдруг предался ни с того ни с сего страшной бесцельной лживости; ворвусь, например, из сада или со двора в дом, крича благим матом, что на гумне у нас горит рига или что бешеный волк примчался с поля и вскочил в открытое окно людской кухни, — и уже душой всей веря и в пожар, и в волка. И длилось это с год, и кончилось столь же внезапно, как и началось. А возвратилось, — точнее говоря, начало возвращаться, — в форме той сюжетной «лжи», которая и есть словесное творчество, художественная литература, ставшая моей второй натурой с той ранней поры, когда я начал писать как-то совершенно само собой, став на всю жизнь только писателем [35, 34–35].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

В конце Святок (1878 г. — Сост.) заболела младшая девочка, очень веселая, синеглазая, на крепких ножках, любимица всего дома.

Гости быстро разъехались, и наступили тяжелые дни, полные тревоги, подавленности и беспомощности. Что была за болезнь? Неизвестно. Все произошло в несколько недель. Приезжал из Предтечева фельдшер, который ничего не понял, и в начале февраля девочки не стало.

Исчезновение из жизни любимой сестренки Саши поразило мальчика так, что он на всю жизнь был потрясен, и никогда уже не проходило у него жуткое изумление перед смертью. ‹…› Тяжкое впечатление оставило и то, что нянька накинула черную материю на зеркало в комнате, где он спал…

Вот как он сам записал об этом:

«В тот февральский вечер, когда умерла Саша и я (мне было тогда лет 7–8) бежал по снежному двору в людскую сказать об этом, я на бегу все глядел в темное облачное небо, думая, что ее маленькая душа летит теперь туда. Во всем моем существе был какой-то остановившийся ужас, чувство внезапного совершившегося великого, непостижимого события».

Вскоре после смерти Саши кто-то из Ельца привез копеечные книжки «Жития святых», и мальчик набросился на это чтение, стал много молиться, держать посты, даже сплел из веревок нечто похожее на «власяницу» и носил ее под рубашкой. И все бегал к сапожнику, ездившему за товаром в город, давал ему медяки, прося покупать для него все новые и новые книжки о святых. ‹…›

В отрочестве у Вани было еще одно событие, поразившее, даже потрясшее его.

Однажды, выйдя во двор, он увидал грача с подбитым крылом, который ковылял по земле. Неожиданно для самого себя

он кинулся в кабинет, схватил со стены кинжал, который восхищал его с детства, и, поймав несчастную птицу, стал колоть ее, она, — как рассказывал он, — сильно защищалась, исцарапала ему руку, но он все же с каким-то упоением прикончил ее, вонзив кинжал в самое сердце… И долго его мучило это убийство, и он втайне ото всех молился, чтобы Бог простил ему это преступление [35, 38, 40].

Иван Алексеевич Бунин:

Из моих детских воспоминаний: в снежные глухие сумерки под Рождество горят в деревне, на снегу, возле изб костры.

Спросил бабу на пороге: зачем это?

— А затем, барчук, чтобы покойники погрелись.

— Да ведь они на кладбище.

— Мало ли что! все ночью, каждый к своей избе, придут погреться. Им под Рождество это всегда дозволяется [35, 35].

В Елецкой гимназии

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма к А. Коринфскому. 18 ноября 1895 г.:*

Десяти лет меня отдали в Елецкую гимназию, где курса я, к счастью, не докончил по болезни… [6, 8]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Отец поместил его (в 1881–1882 гг. — Сост.) в нахлебники к мещанину Бякину за 15 рублей в месяц на всем готовом. ‹…› Дом Бякиных находился на Торговой улице. Хозяин был богобоязненный человек, семья состояла из жены, сына, гимназиста четвертого класса, и двух девочек, очень тихих. В доме был заведен строгий порядок, отец всю семью держал в ежовых рукавицах, был человек наставительный, неразговорчивый, требовательный. И Ване было очень странно попасть к таким людям после их свободного беспорядочного дома. Первый день был особенно темный от низких туч, и когда отец уехал, то мальчикам было грустно сидеть в чужой комнате в полутьме, но лампы зажечь раньше положенного времени не полагалось. Запомнился на всю жизнь и первый ужин, состоявший из похлебки, рубцов с соленым арбузом и крупеня. Ваня не мог из-за запаха есть рубцов и ел только соленый арбуз, который ему нравился.

Бякин заметил и строго сказал:

— Надо, барчук, ко всему привыкать, мы люди простые, русские, едим пряники неписаные, у нас разносолов нету…

И эти слова Ваня запомнил на всю жизнь, почувствовав, что Бякин очень гордится своей русскостью. И чем дольше жил у них, тем больше понимал, как Бякин любит Россию и гордится ею. Любил он и стихи, иногда заставлял мальчиков декламировать разных поэтов, гордился, что Никитин и Кольцов были мещанами: «Наш брат, мещанин, земляк наш!» — не раз повторял он. Уважал просвещение, сына отдал в гимназию [35, 42–43].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи А. В. Бахраха:*

Директором моей гимназии был старичок из балтийских немцев по фамилии Закс, плешивый, с заостренным черепом. Пришел он как-то на мое горе на урок математики, которую я с колыбели люто ненавидел. Я рассеянно сидел за партой, обмахивался тетрадью, потому что от моего соседа изо рта несло пшеном, а от сапожищ дегтем, и думал о моей горькой судьбине.

Неожиданно меня вызвали к доске, на которой красовались нарисованные мелом какие-то никому не нужные треугольники с таинственными обозначениями на их верхушках. Мне задавали какие-то вопросы… один, другой… я стоял как вкопанный с мелком в руках, ничего не понимал и молчал.

Директор с жалостью посмотрел на меня и во всеуслышание на весь класс процедил: «Тупоголовый!»

Это было последней каплей, и такого я стерпеть не мог. Я надменно посмотрел на него, точно внезапно пробудился, и тем же тоном ответил ему: «Остроголовый!»

Скандал получился невообразимый. Меня хотели исключить из гимназии. Отца вызвали из деревни для объяснений. Но я не волновался. Я знал, что отец меня не выдаст и постоит за сына. Человек он был с норовом и с большой гордостью, а тут как будто «фамильная честь» задета. Историю эту как-то замяли, а гимназию я вскоре навсегда покинул по собственному желанию [8, 109].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

В августе (1883 г. — Сост.) Алексей Николаевич отвез гимназистов в Елец. Сына поместил у кладбищенского ваятеля, и Ваня пристрастился к этим занятиям и часто вместо уроков лепил из глины кресты, ангелов, черепа… После работы хозяин с висящими усами, похожий на Дон Кихота, усаживал его с собой за стол, угощал селедкой и уговаривал выпить с ним рюмку водки [35, 49].

Иван Алексеевич Бунин:

Жил ‹…› у ваятеля всего того, что требуется для кладбищенских памятников, — и целую зиму, каждую свободную минуту мял глину, лепил из нее то лик Христа, то череп Адама и достиг таких успехов, что хозяин иногда пользовался моими черепами, и они попадали на чугунные кресты в изножья распятий, где, верно, и теперь еще пребывают, — где-то там, на монастырском кладбище в Ельце! [6, 9]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Жизнь в Ельце у Веры Аркадьевны (Петиной, племянницы Л. А. Буниной, в 1885 г. — Сост.) очень не походила на жизнь у Бякиных или у ваятеля. И Ваня в первый раз увидел провинциальную богему. Его кузина была женщиной общительной, любила гостей, и у нее постоянно толклись офицеры, чиновники, актеры; самовар не сходил со стола, а по вечерам, если она не ездила в театр, то принимала у себя. При

ней жила бывшая крепостная Александра Петровна, очень ей преданная, с деспотическими чертами характера женщина.

Ваню поразили актеры с бритыми губами и подбородками, свободой в обращении, беспрестанным хвастовством своими успехами. Благодаря им он начал бывать по контрамаркам в театре и перевидал все новинки сезона [35, 55].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи А. В. Бахраха:*

Когда я был в третьем, а может быть, в четвертом классе Елецкой гимназии — дальше ведь я не доехал — учился со мной в одном классе некий Драковцев, фат с голубыми глазами. Он был на несколько лет старше меня, так как считал своим долгом в каждом классе оставаться на лишний год, а то и на два. Личность противная, патологическая — всего не расскажешь. Хоть я с детства неподатлив, но Драковцев меня все же порой тиранизировал. Он был много опытнее, хвастал знанием жизни, вероятно привирал, но мне он чем-то импонировал. На какую девицу я бы ни загляделся, он мне на следующий день развязно говорил: «Э-эх, да я с ней в прошлом году жил», — или: «Да я ее недавно имел».

Хоть я ему и не верил, но все-таки завидовал!

Как-то во время большой перемены он мне таинственно шепнул: «Сегодня после девяти встреча за земляным валом…»

Я, конечно, поспешил прийти. Нас, гимназистов, собралось человек шесть. Откуда-то появилась большая бутыль водки, которую друг другу передавали и пили прямо из горлышка, закусывая соленым огурцом. Противно было, омерзительно. Я всегда был донельзя брезглив, а тут еще захватывающий дыхание невкусный напиток. Боясь товарищеских насмешек, я пил, превозмогая себя.

Когда бутылка оказалась опорожненной, подозвали извозчика и уселись в него всей оравой.

«К Анисье Петровне», — скомандовал Драковцев, заранее решивший, что для меня настала пора «пасть» и в этом деле он должен стать ментором.

Елец — городок маленький, однако мы ехали довольно долго, пока не подъехали к низенькому домишке с символическим красным фонариком у подъезда. Зашли, стесняясь и друг друга подталкивая вперед. Один Драковцев делал вид, что он здесь завсегдатай. Нас окружили какие-то дебелые девки. Я сел в какой-то свободный угол и, заикаясь, заказал бутылку пива. На мои колени тотчас, без приглашения, бултыхнулась какая-то грузная, почтенных лет женщина, почти меня задавившая. «Машина» не переставала играть польку.

«Попьем пивка, потом приляжем», — сказала моя Дульцинея тоном, не терпящим возражений, и при этом попыталась поцеловать меня. Эти ее попытки бросали меня в жар и в холод, и я не знал, как мне держать себя с ней и о чем говорить.

Пиво было какое-то липкое, густое, видимо застоявшееся. К этой потной женщине с хриплым голосом, в несвежем белье, я не испытывал ничего, кроме отвращения. От непривычной водки клонило ко сну, глаза слипались, и стены вокруг меня стали покачиваться, а пол сливаться с потолком.

Как я выскочил из этого гостеприимного дома, как добрался до своей постели, я и сам не знаю — кажется, и тогда толком не знал.

Экспедиция сорвалась! [8, 99–100]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Почему все же допустили старшие, чтобы он бросил гимназию?

Отец думал: «Зачем ему амаликитяне?» Но во хмелю кричал на него: «Недоросль!» — а позже: «Неслужащий дворянин!»

Мать от счастья, что сын будет жить при ней, не упрекала его, надеясь, что Юлий подготовит Ваню к аттестату зрелости, ибо она понимала, что ему необходим диплом, заработок.

Но почему Юлий не воспротивился тому, что брат бросил гимназию, пожелав после праздников остаться дома? Он ведь лучше матери знал, что такое жизнь и как нужно высшее образование.

‹…› С одной стороны, ему не нравилось, что Ваня в Ельце живет у Веры Аркадьевны, у которой дом полон провинциальными праздными гостями: пока Ваня был подростком, это было не опасно, но вот у него начинается юность, пробудилось чувство влюбленности и для его возраста — общество не подходящее. Он тоже надеялся, с другой стороны, что подготовит брата к аттестату зрелости или, по крайней мере, к седьмому классу гимназии за время своей ссылки. Он еще летом почувствовал, что Ваня — одаренный мальчик, но совершенно недисциплинированный, с неразвитым чувством долга, усваивает охотно и крепко только то, что ему нравится; словом, Юлий попробовал отговаривать брата, но настаивать не стал: несмотря на серьезность, в нем жило эгоистическое легкомыслие, присущее Буниным, — он чувствовал, что без Вани ему будет уж очень тоскливо…

И началась новая жизнь для бывшего гимназиста [35, 62–63].

Юность. Начало творчества

Иван Алексеевич Бунин:

Я рос одиноко. Всякий в юности к чему-нибудь готовится и в известный срок вступает в ту или иную житейскую деятельность, в соучастии с общей людской деятельностью. А к чему готовился я и во что вступал? Я рос без сверстников, в юности их тоже не имел, да и не мог иметь: прохождения обычных путей юности — гимназии, университета — мне было не дано. Все в эту пору чему-нибудь, где-нибудь учатся, и там, каждый в своей среде, встречаются, сходятся, а я нигде не учился, никакой среды не знал [35, 92].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

С середины января ‹…› засели за учебники четвертого класса. Все шло гладко, кроме математики — алгебру он совершенно не мог постичь: а плюс b равняется с, он так и не уяснил себе, — все абстрактное его ум не воспринимал. И как ни бился Юлий, ничего не выходило, пришлось махнуть рукой на математические науки. Познакомил его только с главными законами физики и астрономии и обратил все внимание на историю, языки и особенно на литературу. И тут Ваня удивил брата необыкновенными успехами в этой области.

Юлий Алексеевич рассказывал мне: «Когда я приехал из тюрьмы, я застал Ваню еще совсем неразвитым мальчиком, но я сразу увидел его одаренность, похожую на одаренность отца. Не прошло и года, как он так умственно вырос, что я уже мог с ним почти как с равным вести беседы на многие темы. Знаний у него еще было мало, и мы продолжали пополнять их, занимаясь гуманитарными науками, но уже суждения его были оригинальны, подчас интересны и всегда самостоятельны.

Мы выписали журнал „Неделя“ и „Книжки Недели“, редактором которых был Гайдебуров, и Ваня самостоятельно оценивал ту или другую статью, то или иное произведение литературы. Я старался не подавлять его авторитетом, заставляя его развивать мысль для доказательства правоты своих суждений и вкуса».

Обычно они гуляли два раза в день: перед дневным чаем и после ужина. Во время этих прогулок и велись серьезные разговоры, обсуждались произведения литературы. Юлий Алексеевич умел разнообразить темы, иногда прибегал к сократовскому методу беседы [35, 62–63].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма Ю. А. Бунину. 26 декабря 1888 г.:*

Прежде всего скажу тебе, что пишу письмо едва не со слезами. Тоска такая, что грудь даже ломит. Правда, я все время старался исполнять твой совет и все время не раскисал почти ни капли. Но вчера и нонче, — как дьявол на мне поехал. И понимаешь, дорогой мой Юричка, ничего не могу с собой сделать: вчера целый вечер едва сидел. Просто видеть никого не могу из этих скотов. Нонче то же самое. ‹…› Даже ночью снится что-то необычайно темное и грустное, сердце щемит во сне даже. Евгений говорит, что это — желчь. Но хотя я и чувствую себя в самом деле нездоровым, не соглашаюсь с ним: лицо совершенно не желтое. Похудел я, правда, здорово и бесцветен как рыба… ‹…› У нас ‹…› все идет поразительно похоже на прошлый год [6, 17–18].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Он вырос из своей гимназической формы. Начались страдания, когда нужно было отправляться куда-нибудь в гости. Юлий подарил ему свой серенький костюмчик, в котором его везли в тюрьму. Денег свободных на одежду у родителей не было. Но и в сереньком костюме ему становилось не по себе, — казалось, что все видят, что костюм на нем с чужого плеча. Особенно тяжело стало, когда приходилось, набив бумаги в носки ботинок, надевать отцовскую обувь. И он чувствовал, что и другие начинают относиться к нему не так, как прежде, когда у них все было [35, 75].

Иван Алексеевич Бунин:

Конец декабря 1885 года. ‹…› Просидевши на вокзале в томительном ожидании поезда часа три, я наконец имел удовольствие войти в вагон и поудобнее усесться… Сначала я сидел и не мог заснуть, так как кондукторы ходили и, по обыкновению, страшно хлопали дверьми; в голове носились образы и мечты, но не отдельные, а смешанные в одно… Что меня ждет? задавал я себе вопрос. Еще осенью я словно ждал чего-то, кровь бродила во мне, сердце ныло так сладко и даже по временам я плакал сам не зная от чего; но и сквозь слезы и грусть навеянную красотою природы или стихами, во мне закипало радостное светлое чувство молодости, как молодая травка весенней порой. Непременно я полюблю, думал я. В деревне есть, говорят, какая-то гувернантка! Удивительно, от чего меня к ней влечет? Может оттого, что мне про нее много рассказывала сестра…

Наконец, я задремал и не слыхал как приехал в Измалково. Лошадей за нами прислали, но ехать сейчас же было невозможно по причине мятели, и нам пришлось ночевать на вокзале.

Еще с бóльшим веселым и сладким настроением духа въехал я утром в знакомое село, но встретил его не совсем таким, каким я его оставил: избушки, дома, река — все было в белых покровах. Передо мной промелькнули картины лета. Вспомнил я, как приезжал в последний раз сюда осенью.

…Потребность любви!.. Но кого? В Озерках никого, а в Васильевском?.. Тоже никого! Впрочем, там есть гувернантка — но молоденькая и недурненькая, как я слышал от сестры. В самом деле меня что-то влечет к ней? Она гувернантка и верно тихое существо, а это идеал всех юношей. Им нравятся по большей части существа не такие, как светские резкие женщины… Может быть!..

Наконец сегодня я уже с нетерпением поехал в Васильевское. Сердце у меня билось, когда я подъезжал к крыльцу знакомого, родного дома. Увижу ли я ее нынче, думал я; 23-го она была в Ельце!.. На крыльце я увидал Дуню и ее, как я предположил; это была барышня маленького роста с светлыми волосами и голубыми глазками. Красивой ее нельзя было назвать, но она симпатична и мила. С трепетом я подал ей руку и откланялся. «Эмилия Фасильевна Фехнер!» — проговорила она. Познакомились, значит. Мне сразу сделалось неловко и в душе зашевелилась мысль. «Неужели, думал я, я буду целовать эти милые ручки и губки!» Но это уже было дерзко. Весь день нонче я держал себя ‹…› натянуто и почти что не разговаривал с ней. Но она, напротив, была развязна и проста. Наконец вечером мы отправились к Пушешникову, помещику, живущему на другой стороне реки. Он нам родня. Там я стал несколько свободней с Эм. Вас. Уже сердце мое билось страстью… Я полюбил и чувствовал, что влюбляюсь все более и более. Приглашал танцевать только ее одну, гулял и наконец перед ужином она сказала мне: «Давайте играть в карты! ‹…›» Я покраснел и неловко поклонился. Мы пошли в гостиную. Там никого не было. Мы играли и шутили, наконец ее пришел приглашать танцевать некто молодой малый Федоров, мой приятель. Я вышел также и пошел в кабинет, думая, что я уже мог надеяться. Но через несколько минут она вошла. «Что ж вы забрались сюда, — сказала она, — я вас искала, искала!» Что это значит, подумал я!..

За ужином я сидел рядом с ней, пошли домой мы с ней под руку. Уж я влюбился окончательно. Я весь дрожал, ведя ее под руку. Расстались мы только сейчас уже друзьями, а я, кроме того, влюбленным. И теперь я вот сижу и пишу эти строки. Все спит…

но мне и в ум сон нейдет. «Люблю, люблю», — шепчут мои губы.

Исполнились мои ожиданья.

29 декабря 1885 г. Сегодня вечер у тетки. На нем наверно будут из Васильевского и в том числе гуверн. в которую я влюблен не на шутку.

‹…› Сердце у меня чуть не выскочило из груди! Она моя! Она меня любит! О! с каким сладостным чувством я взял ее ручку и прижал к своим губам! Она положила мне головку на плечо, обвила мою шею своими ручками и я запечатлел на ее губках первый, горячий поцалуй!.…

Да! Пиша эти строки я дрожу от упоенья! от горячей первой любви!.. Может быть некоторым, случайно заглянувшим в мое сердце, смешным покажется такое излияние нежных чувств! «Еще молокосос, а ведь влюбляется», — скажут они! Так! Человеку занятому всеми дрязгами этой жизни и не признающему всего святого, что есть на земле, правда, свойства первобытного состояния души, т. е. когда душа менее загрязнилась и эти свойства более подходят к тому состоянию, когда она была чиста и, так сказать, даже божественна, правда слишком ‹нрзб.›. Но может быть именно более всего святое свойство души любовь тесно связана с поэзией, а поэзия есть Бог в святых мечтах земли, как сказал Жуковский (Бунин, сын А. И. Бунина и пленной турчанки). Мне скажут что я подражаю всем поэтам, которые восхваляют святые чувства и, презирая грязь жизни, часто говорят, что у них душа больная; я слыхал, как говорят некоторые: поэты все плачут! Да! и на самом деле так должно быть: поэт плачет о первобытном чистом состоянии души и смеяться над этим даже грешно! Что же касается до того, что я «молокосос», то из этого только следует то, что эти чувства более доступны «молокососу», так как моя душа еще молода и следовательно более чиста. Да и к тому же я пишу совсем не для суда других, совсем не хочу открывать эти чувства другим, а для того, чтобы удержать в душе напевы [35, 58–60].

Ирина Владимировна Одоевцева:

— А вы, Иван Алексеевич, рано начали писать стихи? — спрашиваю я. ‹…› Вопрос мой ему явно доставляет удовольствие. Он кивает.

— Очень. Даже слишком рано. С самого младенчества. ‹…› Как только научился читать и писать. Чуть ли не первыми моими книгами были валявшиеся у нас на чердаке «Одиссея» и толстый том «Английские поэты». Я как-то сразу стал писать и прозой, и стихами. Сочинять стихи — правда, очень плохо — стало для меня привычным делом. Печататься начал в шестнадцать лет.

В «Родине». Стихотворение, которое я туда послал, выбрал мой брат Юлий. Мне оно нравилось меньше других. О деревенском нищем. Но Юлий был революционер. «Сейте разумное, доброе, вечное», чтобы русский народ мог сказать вам, то есть мне, «спасибо сердечное». Иначе поэзия ни к чему. У меня уже тогда были совсем другие взгляды, и народного «спасибо» я не искал, но я послушался его. И хорошо сделал. Стихи мои действительно появились. Правда, с задержкой. Сколько я мучился, ожидая их появления. У меня дрожали руки, когда я разворачивал новый номер «Родины». Опять ничего. Прошло несколько месяцев, я уже отчаялся — не приняли. Надеяться больше не на что. И вдруг в мае они появились. Когда я впервые увидел свое имя «Ив. Бунин» напечатанным, я почувствовал спазм в сердце и головокружение до тошноты. Зато потом я был невероятно счастлив и горд. Это был один из счастливейших дней моей молодости. С того дня и в моей семье никто не сомневался, что я поэт. А сам я уже был уверен, что добьюсь всероссийской славы. ‹…›

— После первого триумфа вы, наверно, много печатались в «Родине»?

Он качает головой:

— Представьте себе, нет. После моего первого ошеломившего меня появления в печати я больше туда стихов не посылал, хотя и писал их с утра до вечера и с вечера до утра. Как князь Курбский — «прочтет, улыбнется и снова прочтет. И снова без отдыха пишет». Просто не мог не писать. Только через год я решился послать стихи, но уже не в «Родину», а в «Книжки недели», казавшиеся мне не хуже «Вестника Европы». И три моих стихотворения сразу появились в них. Впрочем, это уже не потрясло меня до боли. Такого пронзительного, душераздирающего восторга я уже не испытал. Я был рад и горд, но принял это почти как должное. И скоро послал в «Книжки» еще стихи — уже без с ума сводящего волнения. А в «Родине» тогда же появились мои первые рассказы. Очень, правда, слабые. Я понял, что стихами не прокормишься, проза прибыльнее. Стихи — слава. Проза — деньги. Деньги мне были до зарезу необходимы. Мы впадали все в большую бедность. Я ведь был настоящим дворянским недорослем, ничего делать не умел, ни на какую службу поступить не мог. Не в писцы же было идти. Вместо писца я стал писателем [37, 287].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

В «Книжках Недели» появилось объявление о выходе отдельного издания стихов Надсона (1886 г. — Сост.), имя которого «гремело» по всей России, им зачитывались даже в

медвежьих углах сельские учителя, доктора, семинаристы, дети помещиков и сами помещики. Действительно, слава Надсона была всероссийской.

Это объявление взволновало юного поэта, — он потом признавался, смеясь, что всероссийская слава Надсона его очень окрылила, и он решил «самому добиться подобной славы». Был нетерпелив: сказано — сделано. Прежде всего надо скорее прочесть всю книгу целиком, чтобы понять, чем вызвана такая слава! Значит, нужно отправиться в Елец, в библиотеку, и внимательно прочесть стихи. Но как добраться до города? Кабардинка, как на грех, захромала. Рабочие лошади были заняты, да и их было уже мало. Евгений ни за что не дал бы, — как все мелкопоместные дворяне, он был жаден на лошадей. Что же делать? Решил идти пешком. ‹…›

Вышел он на заре и без отдыха дошел до Ельца. Сначала шел по холодку большой дороги, а затем стало печь солнце, и от Становой он зашагал уже вдоль шоссе, часам к трем был у цели своего пути. Библиотекарша огорошила его:

— На Надсона запись. Раньше месяца не дождетесь.

Он чуть не заплакал, — путь был не малый!

Стоял, молчал, не зная, что делать?

Но барышня оказалась милостивой: она читала его стихи в «Родине», знала его в лицо еще гимназистом, когда сама училась, и дала ему собственный экземпляр.

Это была настоящая радость. Он схватил драгоценную книгу и опрометью бросился из библиотеки, чуть не сшиб с ног встретившуюся ему на крыльце барышню и, идя по мостовой в трактир, чтобы закусить и напиться чаю, не отрываясь, читал стихи за стихами. ‹…›

В трактире встретил озерских мужиков, которые радушно пригласили его к своему столу, обрадовавшись, что увидали своего барчука, а потом предложили довезти его до дому. Они приехали за кирпичами. После долгого чаепития все отправились на завод, где стояли телеги, мужики очень медленно накладывали кирпичи и почти в темноте тронулись в обратный путь. Юный поэт лежал на твердых кирпичах, держа в руках книгу. Было душно, началась гроза, да такая, что несмотря на то, что мужики укрыли его всем, чем могли, он промок до костей, но книгу, положив под себя, довез сухою. Дома очень беспокоились. К счастью, он не простудился.

Они с Юлием подробно обсуждали стихи Надсона, и Юлий Алексеевич поражался суждениями своего младшего брата, развенчивающего российского кумира, первого, но не последнего. И в будущем многие кумиры не стали его кумирами, — это было

до последних дней его, на все был у него собственный взгляд, собственный вкус.

Но все же книга Надсона подхлестнула его. Он много читал и писал все лето и зиму [35, 79–80].

Николай Алексеевич Пушешников. *Из дневника:*

Иван Алексеевич стал говорить о том, что всегда, когда он видит прекрасное, у него является ужасное сожаление, что он так убого и плохо прожил столько лет, что у него совершенно пропали самые лучшие, самые нежные годы, когда все так живо воспринимается и остается потом на всю жизнь. «А я тратил силы и молодость — на что? Страшно вспомнить теперь, сколько времени пропало зря, даром! Разве я так писал ‹бы›, если бы я в юности жил иначе, если бы я больше учился, больше работал над собой, если бы я родился не в Бутырках, а здесь, если бы у меня в молодости не было такой нужды. Восемнадцатилетним мальчиком я был уже фактическим редактором „Орловского вестника“, где я писал передовицы о постановлениях святейшего Синода, о вдовьих домах и быках-производителях, а мне надо было учиться и учиться по целым дням!» [7, 241]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Работать в «Орловском Вестнике» приходилось много ‹…› Но, переломив себя, он писал даже статьи о мукомольном деле или о крестьянских кредитах, о чем он не имел ни малейшего понятия. Он обращался за сведениями к брату, и тот присылал ему из Полтавы нужный материал. Приходилось отправляться и на заседания Городской Думы, писать о них отчеты, и этим он был так занят, что не мог бывать ни на концертах, ни в театре [35, 114].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма Ю. А. Бунину. 29 мая 1891 г.:*

Если бы ты знал, как мне тяжко!.. Я больше всего думаю сейчас о деньгах. У меня нет ни копейки, заработать, написать что-нибудь — не могу, не хочу… Штаны у меня старые, штиблеты истрепаны. Ты скажешь — пустяки. Да я считал бы это пустяками прежде, но теперь это мне доказывает, до чего я вообще беден, как дьявол, до чего мне придется гнуться, поневоле расстраивать все свои лучшие думы, ощущения заботами (например, сегодня я съел бутылку молока и супу даже без «мягкого» хлеба и целый день не курил — не на что) [6, 29].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма Ю. А. Бунину. Октябрь*

1891 г.:

В редакции — работа проклятая, сволочи они оказались при близком сожительстве — страшные. Я сам думал, что не буду работать, буду лениться иногда. Вышло иначе: я работал, как никогда в жизни… Ты удивишься, не поверишь, — я и сам не верил. Но поборол себя. И в награду за это придирки, кричат как на сапожника, устраивают скандалы из того даже, если я пойду вечером в гости… ‹…› Затем эта любовная история. Вдумывался, образумливал себя, говорил себе, что мне уж видно не до любовных историй — нет, не могу забить себя [6, 30–31].

Любовный омут (Варвара Пащенко)

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма Ю. А. Бунину. 28 августа 1890 г.:*

Я познакомился с нею года полтора тому назад (кажется в июне прошлого года), в редакции «Орловского вестника». Вышла к чаю утром девица высокая, с очень красивыми чертами лица, в пенсне. Я даже сначала покосился на нее: от пенсне она мне показалась как будто гордою и фатоватою. Начал даже «придираться». Она кое-что мне «отпела» довольно здорово. Потом я придираться перестал. Она мне показалась довольно умною и развитою. (Она кончила курс в Елецкой гимназии). Потом мы встретились в ноябре ‹…›. Тут я прожил в редакции неделю и уже подружился с нею, даже откровенничал, т. е. немного изливал разные мои чувства. Она сидела в своей комнате с отворенною дверью, а я, по обыкновению, на перилах лестницы, около двери. (На втором этаже). Не помню, говорил ли я тебе все это. Если и не говорил, то только потому, что не придавал этому никакого значения и, ради Христа, не думай, что хоть каплю выдумываю: ну из-за чего мне?

Потом мы встретились в самом начале мая у Бибиковых очень радостно, друзьями. Проговорили часов пять без перерыву, гуляя по садочку. Сперва она играла на рояле в беседке все из Чайковского, потом бродили по дорожкам. Говорили о многом; она, честное слово, здорово понимает в стихах, в музыке. И не думай, пожалуйста, что был какой-нибудь жалкий шаблонный разговор. Уходя и ложась спать, я думал: «вот милая, чуткая девица». Но кроме хорошего, доброго и, так сказать, чувства удовлетворения потребности поговорить с кем-нибудь ничего не было…

Потом мы вместе поехали в Орел, — через несколько дней, — слушать Росси. Опять пробыли в Орле вместе с неделю. Иногда, среди какого-нибудь душевного разговора, я позволял себе целовать ее руку — до того мне она нравилась. Но чувства ровно никакого не было. В это время я как-то особенно недоверчиво стал относиться к влюблению. «Все, мол… Пойдут неприятности и т. д.».

Можешь поверить мне, что за это время я часто думал и оценивал ее и, разумеется, беспристрастно. Но симпатичных качеств за нею, несмотря на мое недоверие, все-таки было больше, чем мелких недостатков. Не знаю, впрочем, может быть,

ошибаюсь.

С июня я начал часто бывать у них в доме. С конца июля я вдруг почувствовал, что мне смертельно жалко и грустно, например, уезжать от них. Все больше и больше она стала казаться мне милою и хорошею; я это начал уже чувствовать, а не умом только понимать. ‹…› Сильное впечатление (в смысле красоты и т. п.) произвела она на меня накануне моего отъезда, со сцены: она играла в «Перекати-поле» (Гнедича) любительницей, играла вполне недурно, главное, — очень естественно. Ночью, вспомнив, что я завтра уезжаю, я чуть не заплакал. Утром я написал ей, напрягая всю свою искренность, стихотворение ‹…›.

Написал и сейчас же злобно зашагал вниз. Простились мы очень холодно, по крайней мере и она и я с серьезным видом. Это было в самом конце июля.

В начале августа я опять был у них. Когда я начал бормотать, что, мол, не вздумайте еще посмеяться над стихами, она сказала: «Если вы меня считаете способной на это, зачем писали? И зачем подозреваете, когда знаете, как я отношусь к вам. Вы мне всегда казались милым и хорошим, как никто». Уехал я опять с грустно-поэтичным чувством. Дома я долго размышлял над этим. Чувство не проходило. И хорошее это было чувство. Я еще никогда так разумно и благородно не любил. Все мое чувство состоит из поэзии. Я, например, в жизни никогда не чувствовал к ней полового влечения. А приходилось, например, сидеть колено об колено в гамаке, в саду, или, впоследствии, обниматься и целоваться. Т. е. ни капли! я даже на себя удивлялся. Знаешь, у меня совсем почти никогда не бывает теперь похотливого желания. Ужасной кажется гадостью… Впрочем, ты может быть не поверишь…

А целование и обнимание случились так. Надо тебе сказать, что я никогда не ждал и не надеялся на него.

Я только наслаждался своими хорошими чувствами. Ей-богу, правда, только наслаждался. Милый Юринька, ты не поверишь, каким перерожденным я чувствовал и чувствую себя!..

Восьмого августа я опять приехал к ним в Елец и вместе с ее братом и с нею поехал к Анне Николаевне Бибиковой в имение их верст за десять от Ельца на Воргле. ‹…› Было очень весело и хорошо. Мы провели там трое суток. И вот 12-го ночью мы все сидели на балконе. Ночь была темная, теплая. Мы встали и пошли гулять с Пащенко по темной акациевой аллее. Заговорили. Между прочим, держа ее под руку, я тихонько поцеловал ее руку.

— Да вы уж серьезно не влюблены ли, — спросила она.

— Да что об этом толковать, — сказал я, — впрочем, если на

откровенность, т. е., кажется, да.

Помолчали.

— А знаете, — говорит, — я тоже, кажется… могу полюбить вас.

У меня сердце дрогнуло.

— Почему думаете?

— Потому, что иногда… я вас ужасно люблю… и не так, как друга; только я еще сама не знаю. Словно весы колебаются. Например, я начинаю ревновать вас… А вы — серьезно это порешили, продумали?

Я не помню, что ответил. У меня сердце замерло. А она вдруг, порывисто обняла меня и… уж обычное… я даже не сразу опомнился! Господи! что это за ночь была!

— Я тебя страшно люблю сейчас, — говорила она, — страшно… Но я еще не уверена. Ты правду говоришь, что часто на то, что говоришь вечером, как-то иначе смотришь утром. Но сейчас… Может быть ввиду этого мне не следовало так поступать, но все равно… Зачем скрываться?.. Ведь сейчас, когда я тебе говорю про свою любовь, когда целую тебя, я делаю все это страшно искренно…

На другой день она действительно попросила меня «забыть эту ночь». Вечером у нас произошел разговор. Я просил ее объяснить мне, почему у нее такие противоречия. Говорит, что сама не знает; что сама не рада. Расплакалась даже. Я ушел, как бешеный. На заре она опять пришла на балкон (все сидели в доме, а я один на нем), опять обняла, опять начала целовать и говорить, что она страшно бы желала, чтобы у нее было всегда ровное чувство ко мне.

Кажется, 14-го мы уехали с Воргла. Я верхом провожал ее до Ельца. На прощанье она попросила меня возвратить ее карточку.

— Хорошо, — сказал я и заскакал, как бешеный. Я приехал в Орловскую гостиницу совсем не помня себя. Нервы, что ли, только я рыдал в номере, как собака, и настрочил ей предикое письмо: я, ей-богу, почти не помню его. Помню только, что умолял хоть минутами любить, а месяцами ненавидеть. Письмо сейчас же отослал и прилег на диван. Закрою глаза — слышу громкие голоса, шорох платья около меня… Даже вскочу… Голова горит, мысли путаются, руки холодные — просто смерть. Вдруг стук — письмо! Впоследствии я от ее брата узнал, что она плакала и не знала, что делать. Наконец, настрочила мне: «Да пойми же, что весы не остановились, ведь я же тебе сказала. Я не хочу, я пока, видимо, не люблю тебя так, как тебе бы хотелось, но, может быть, со временем я и полюблю тебя. Я не говорю, что

это невозможно, но у меня нет желания солгать тебе. Для этого я тебя слишком уважаю. Поверь и не сумасшествуй. Этим сделаешь только хуже. Со временем, может быть, и я сумею оценить тебя вполне. Надейся. Пока же я тебя очень люблю, но не так, как тебе нужно и как бы я хотела. Будь покойнее».

До сих пор еще не определилось ничего. И несмотря на то, что чувство у меня по-прежнему страшно сильно, и хочу все это послать к…, если только вынесу. Просто измучился [38, 281–285].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма В. В. Пащенко. 2 марта 1891 г.:*

Она (мать В. В. Пащенко. — Сост.) говорит, что вполне убедила тебя; ты согласилась с ней, что действительно и думать нечего о нашей женитьбе: во-первых, говорит, что могут сказать добрые люди, когда узнают, что Пащенко выдала свою дочь за «мальчика» без всяких средств, без положения? во-вторых, ты не любишь, не можешь меня любить, потому что я был в твоих глазах всегда все-таки мальчик, далеко неровня тебе и т. д. Так ли все это — вопрос щекотливый, и его лучше следует оставить втуне. Ну мальчик, ну глуповат, ну неровня — что же делать?..

Не могу надеяться, чтобы ты думала обо мне таким образом *прежде*, но не могу не сомневаться, что *теперь* ты думаешь так: мама говорит, что она «открыла» тебе глаза и ты вполне согласилась [18, 65].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма В. В. Пащенко. 29 марта 1891 г.:*

Прости мне, милая Варя, — но должен сказать тебе откровенно, что все мое хорошее и радостное чувство любви к тебе сразу расстроилось, когда я начал читать твое письмо от 22 марта. Что за тон? — Какой-то не только холодный, но даже раздраженный ‹…›. Как понимать выражение: «Написала бы еще что-нибудь, да думаю, — будет с него». А я вот думаю, что мы с тобой при писании писем должны «руководствоваться» собственным желанием, потому что когда я, например, пишу, — мне самому приятно поговорить с моею дорогою девочкою. При конце письма можно говорить: «будет с меня, а не с него»… ‹…› Если мы сошлись, если мы любим друг друга, то не должны смотреть свысока один на другого. «Вы, мол, меня любите, ну а я… будьте довольны, если я Вам руку позволю поцеловать или буду с Вами ласкова хоть час…» [18, 74–75]

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма В. В. Пащенко. 9 апреля 1891 г.:*

Драгоценная моя, деточка моя, голубеночек! Вся душа переполнена безграничною нежностью к тебе, весь живу тобою. Варенька! Как томишься в такие минуты! Можно разве написать? Нет, я хочу сейчас стать перед тобою на колени, чтобы ты сама видела все, — чтобы даже в глазах светилась вся моя нежность и преданность тебе ‹…›. Ради Христа, люби меня, я хочу, чтобы в тебе даже от моей заочной ласки проснулось сердце. Господи! Ну да не могу я сказать всего. Право, кажется, что много хорошего есть у меня в сердце, и все твое, — все оживляется только от тебя. ‹…› Вот, например, за последнее время я ужасно чувствую себя «поэтом». Без шуток, даже удивляюсь. Все — и веселое и грустное — отдается у меня в душе музыкой каких-то неопределенных хороших стихов, чувствую какую-то творческую силу создать что-то настоящее. Ты, конечно, не знаешь, не испытывала такого состояния внутренней музыкальности слов и потому, может быть, скажешь, что я чепуху несу. Ей-богу, нет. Ведь я же все-таки родился с частицей этого. О, деточка, если бы ты знала все эти мечты о будущем, о славе, о счастии творчества. Ты должна знать это: все, что есть у меня в сердце, ты должна знать, дорогой мой друг. Нет, ей-богу, буду, должно быть, человеком. Только кажется мне, что для этого надо не «место», а сохранять, как весталке, чистоту и силу души. А ты называешь это мальчишеством. Голубчик, ты забываешь, что я ведь готовил себя с малолетства для другой, более идеалистической жизни [6, 28–29].

Варвара Владимировна Пащенко *(в замужестве Бибикова, 1869–1918), из письма И. А. Бунину. Май 1892 г.:*

Ведь очень мало для жизни знать одну русскую литературу и быть, в сущности, односторонне развитым человеком [18, 164].

Варвара Владимировна Пащенко. *Из письма Ю. А. Бунину. 8 июля 1892 г.:*

Я его очень люблю и ценю, как умного и хорошего человека, но жизни семейной, мирной у нас не будет никогда. Лучше, как мне ни тяжело, теперь нам разойтись, чем через год или полгода. Это, согласитесь, будет и труднее и тяжелее. Сама я не могу этого ему сказать, потому что достаточно мне принять серьезный тон, чтобы у него явилось озлобление, он начинает кричать на меня, и дело кончается истерикой, как, например, вчера, когда он бросился на пол в каменных сенях и плакал, как в номерах «Тула», где он в порыве раздражения хотел броситься из окна. Все это невыразимо угнетает меня, у меня пропадает и энергия, и силы. ‹…›

Он не верит мне ‹…› он и не уважает меня, а если утверждает,

то только на словах. Он мне толкует о моей неразвитости, — я знаю это сама, — но к чему же принимать такой холодный, обидный, саркастический тон?! Он говорит беспрестанно, что я принадлежу к пошлой среде, что у меня укоренились и дурные вкусы, и привычки, — и это все правда, но опять странно требовать, чтобы я их отбросила, как старые перчатки ‹…›. Как мне это все тяжело! ‹…› Я вовсе не хотела водить его за нос, по его выражению, я все время, решив окончательно жить с ним, старалась примениться к нему, к его характеру, но теперь вижу, что сделать этого не могу. Пока еще мы можем мириться и любовно относиться друг к другу, но и это стали только минуты, а будет мало-помалу остывать наша любовь, все это всплывет ярче и резче. Пусть он поживет хоть год без меня; может быть, у него сгладятся все эти шероховатости, и он будет терпимее, и тогда я с удовольствием пойду с ним, — но теперь, теперь не могу ‹…› Пишу я вам, голубчик, потому что сама я этого не скажу Ивану: он меня пугает самоубийством, поэтому я бы очень хотела, чтобы вы сказали ему это: вы не допустите его ни до какого сумасбродства, если только это отчаяние искренно в нем, в чем он заставил меня сомневаться [6, 38–39].

Иван Алекесеевич Бунин. *Из письма Ю. А. Бунину. 3 августа 1892 г.:*

Ой, Юринька, не могу начать тебе, больно мне, больно, как никогда не было. ‹…› Меня наповал убили, я заметался, мне некуда было броситься, — только к тебе! Не брось, слышишь — не оскорби меня хоть ты, если и это случится — ну тогда дохнуть некем и нечем! Ну, да дело, конечно, в Варе… Всеми силами постараюсь изложить тебе ясно.

Недели три тому назад, когда я собрал все хладнокровие свое, она мне на мои вопросы — будет ли она со мной жить — ответила, *что не будет раньше года.* Упирала на то, что она дала слово отцу, что она его любит, что не будет счастлива, поступивши против его воли. Я ответил, что год невозможен, я хочу жить, я хочу любить, я, наконец, вижу, что сиденье здесь губит ее — опутывает типами рутинными. Расстались в слезах. *Крепился я, она тоже, видимо, крепилась, страшно не хотела* согласиться со мною *и рыдала раз часа 3 подряд*. Так прошло 4 дня, она пришла ко мне, разрыдалась, я еще больше, мы помирились и она твердо-натвердо сказала, что вот только съездит домой в отпуск на две недели, а затем мы будем жить вместе. Недели две мы провели самым превосходным образом, проводил я на вокзал в Елец, и расстались как нельзя лучше. Это было в среду, а в субботу я получил такое письмо (списываю

слово в слово):

«Я уехала, Ваня, для того, чтобы нам легче было расстаться: тяжело, я знаю, дорогой мой, и тебе и мне тяжело. Но это необходимо, это я решила, и так это и должно быть. Наши ссоры показали мне всю разницу между мной и тобой… Я люблю тебя, но жить *теперь* не могу, и потому, все еще раз взвесив и проверив, я решаю расстаться с тобою на год. ‹…› Работай, голубь мой, здесь, а затем переедешь в Полтаву; я не потеряю тебя из виду ни в каком случае, я буду всегда знать, где ты и что с тобой, так же, как и ты всегда можешь обо мне узнать ‹…› Я решила это и ты должен, если уважаешь и любишь меня, решить то же. ‹…› Пожалей же меня, ведь ты мужчина, ты должен быть решительнее и тверже меня. Тяжело писать это, душа разрывается, но видишь, я сдерживаюсь, я пишу. Будь же и ты тверд и помни, докажи свою веру в меня, что я все так же люблю тебя, но жить вместе мы будем только через год. Думай о нашей общей жизни и люби твою, всю твою Варю»…

Вот и все. Сразу. А Надежда Алексеевна сказала мне, что Варя еще до отъезда говорила ей, что она решила со мной расстаться, *об годе никогда ничего* не упоминала, не упоминает теперь и про Екатеринославль ничего, просила Надежду Алексеевну отказать мне от обеда в редакции ‹…› чтобы не встречаться со мною.

Теперь гляди ‹…›. *Я вот уже почти месяц служу здесь в Управленьи,* получаю 30 рублей, освоился с делом, работаю прекрасно и это я должен бросить! В Орле при таких обстоятельствах, т. е. не видясь с ней, я *жить не могу*!! К тому же я *один*, убью себя, убью! ‹…› Страшно жаль места, как я его добивался! ‹…› Я обессилен, я с ума сошел! А уехать? Бросить? Нет надежды? *Тоже в петлю!* Я привык к ней, готов быть ее собакой, чем угодно. Ну, если брошу место, а она передумает. Я к ней опять уеду, никто не удержит. Что же делать? Помоги, помоги и помоги, милый, ножки твои целую!

Ты скажешь, подожди — нет силы! Я живу как во сне, как мертвый, я боюсь, всех боюсь и ничего не знаю!

Пойми еще вот: я чувствую, *поверь* — я люблю ее не из самолюбия. Я лучше себя изгрызу всего, но бросить ее, чтобы она слилась с этим обществом, чтобы далеко-далеко в необъятном грустном тумане жизни вспомнить потом девушку, милую, *мою*, чтобы затерялась она от меня… [38, 297–298]

Лидия Александровна Женжурист *(урожд. Макова, 1870–1942), народница, жена друга Ю. А. Бунина по Полтаве Ивана Мироновича Женжуриста:*

Еще кончая гимназию в Орле (ошибка мемуаристки. — Сост.), он горячо полюбил свою сверстницу, тоже кончавшую гимназию, и, не желая расставаться с ней, вместо университета, к великому огорчению брата, остался в Орле — сотрудничать в местной газете, куда его избранница поступила корректором.

На его любовь она ответила взаимностью, и они тут же поженились, но без «венца» — невеста категорически отказалась узаконить союз — «из принципа».

Год спустя она нашла, что ему пора уже позаботиться о своей служебной карьере, и потребовала, чтобы он немедленно отправился к брату, который должен устроить его, и чтоб к ней не возвращался, пока не займет прочного служебного положения.

Когда Юленька рассказал мне, почему бедный мальчик приехал к нам «в изгнание», — как ни была я молода, все же сразу поняла — не опытом, а душой, — что дело не в принципе, а в холодном расчете: стоит ли закреплять связь? — и это в 20 лет! Послать любимого человека, талантливого юношу, делать служебную карьеру вместо того, чтобы настоять на продолжении образования ‹…›.

Устроив Ванечку в статистическое бюро, Юлий Алексеевич по его настоянию отправился в Орел и уговорил Варю — жену Ванечки — переехать в Полтаву и работать вместе.

Жизнь их как будто наладилась, но, спустя некоторое время, она внезапно исчезла, оставив Ванечке трогательную записку, заверяя его в своей любви, но находя в то же время необходимым разойтись [32, 243–245].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма В. В. Пащенко. Ноябрь 1894 г.:*

Ну вот — пусть Господь убьет меня громом, разразит меня всеми нечеловеческими страшными потерями и муками — клянусь тебе, не стало сил моих! Ну хоть бы день отдыха, покоя, пойми же, я бы полжизни отдал, только бы возненавидеть тебя, стереть с лица земли все эти проклятые воспоминания, которые терзают меня этой проклятой, несказанной любовью [к] тебе, — успокоиться — ведь что же, вижу все потеряно, что же, наконец, за выгода мне рвать свое же сердце. Но каждую, каждую минуту все забываю — пойми же, Христа ради, этот ужас — забываю, что ты-то и есть причина моей муки, а я забываю и когда вот начинает против всякой воли расти, расти эта боль и не в силах терпеть, заплачу вдруг, опять рванусь к тебе, вот бы уткнуться лицом в твои колени, прижаться к тебе, защититься от отчаяния, а нет, опомнюсь — в тебе все! Но не могу уже больше, или письма мои не доходят, или ты дьявол ‹…›. Дай же увидеться с тобою,

ради Бога, ради всего на свете! Поклянусь ну чем только могу выдумать, что только есть на языке человеческом, ты не услышишь даже того, что не прикажешь, уйди потом с каким хочешь решением, но только бы полчаса около тебя — ради Создателя, видишь, это безумие, но не порыв минутный — что же я сделаю, если так оказалось. Ну тебе это будет тяжело, м. б., да и не к чему, ты думаешь, ну все равно. Надо же о другом подумать — я же живой, Варя. Если твое решение бросить меня осмыслилось, — чего же тебе бояться, что оно поколеблется [18, 194].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма В. В. Пащенко. До 20 января 1895 г.:*

Варя! Третий месяц я сгораю на медленном огне. Безумен ли я, ничтожен ли, но я испытываю невыразимые мучения. Если бы я мог видеть тебя, я бы все сказал, я бы все выразил тебе. Но не могу я писать — ничтожными слабыми словами говорить про тот ад, который творится у меня в душе. День начинается моим напряженным горячим желанием, чтобы он прошел как можно скорее. А вечером — почти каждый вечер я плачу и молюсь, как никогда не молился, чтобы Господь вынул мою душу или послал мне внезапное, неожиданное утешение, чтобы он раскрыл твое сердце для любви, для жалости, для проникновения в мое изболевшееся сердце, и как ребенок жду чуда и все надеюсь, что ты схватишь, наконец, тот светлый момент ясности душевной, в которой становишься выше затирающей нас жизни и поймешь и представишь себе все. Заклинаю тебя Спасителем — подумай еще раз обо мне и о себе! Твой отец сказал, что ты имени моего слышать не можешь — но как же мне поверить этому? Нельзя этому быть. Самые злые люди прощают закоренелых злодеев [18, 195].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма Ю. А. Бунину. Апрель 1895 г.:*

Несколько дней после этого известия (о свадьбе А. Н. Бибикова и В. В. Пащенко. — Сост.) я ходил совсем мертвецом ‹…›. А дело было так: Евгений в одну из наших прогулок сообщил мне, что слышал в Ельце; что она вышла замуж за какого-то доктора (теперь-то он говорит, что врал про доктора — слышал про Бибикова). Я, конечно, остолбенел от такой вести, но затаился и поехал в Елец, решившись на все, чтобы узнать. Но узнал нечаянно: у парикмахера Николаева тот, кто стриг, меня спросил, буду ли я завтра на представлении Петита, а потом бывал ли я на Святой на любительских спектаклях. Меня так и

передернули эти любительские спектакли, и я уж с задавленным голосом стал расспрашивать, кто играл. «Г-жа Буцкая, г-жи Пащенко, мать и дочь, та-с, что вышла замуж за молодого Бибикова»… Я помертвел буквально. «Это какая?» — спрашиваю. «Да старшая, Варвара Владимировна; да вы, верно, и с г-ном Бибиковым знакомы, черный он такой, худой — Арсений Николаевич». Очевидно, он хотел меня поддуть, потому что спросил после, где я жил зиму. Я насилу выбрался на улицу, потому что совсем зашумело в ушах и голова похолодела и почти бегом бегал часа три по Ельцу, около дома Бибикова, расспрашивал про Бибикова, где он, женился ли. «Да, — говорят, — на Пащенки ‹…›». Я хотел ехать сейчас на Воргол, идти к Пащенко и т. д. и т. д., однако собрал все силы ума и на вокзал, потому что быть одному мне было прямо страшно. На вокзале у меня лила кровь из носу и я страшно ослабел. А потом ночью пер со станции в Огневку и, брат, никогда не забуду я этой ночи! Ах, ну к черту их — тут, очевидно, роль сыграли 200 десятин земельки. Венчались, говорят… [38, 301–302]

Томление
(Екатерина Лопатина)

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

В редакции «Нового Слова» Иван Алексеевич познакомился с молодой писательницей, сестрой профессора философии Льва Михайловича Лопатина, писавшей под псевдонимом К. Ельцова. ‹…›

Оригинальная, и не потому, что хотела оригинальничать, а потому, что иной не могла быть, она — единственная в своем роде, такой второй я не встречала.

В те годы худая, просто причесанная, с вдумчивыми серо-синими большими глазами на приятном лице, она своей ныряющей походкой гуляла по Царицыну, дачному месту под Москвой, в перчатках, с тросточкой и в канотье, — дачницы обычно не носили шляп. Очень беспомощная в жизни, говорившая чудесным русским языком, она могла рассказывать или спорить часами, без конца. Хорошая наездница, в длинной синей амазонке, в мужской шляпе с вуалью, в седле она казалась на фоне царицынского леса амазонкой с картины французского художника конца девятнадцатого века. Была охотницей, на охоту отправлялась с легавой, большею частью с золотистым сеттером.

Ей было в ту пору за тридцать, она на пять лет старше Ивана Алексеевича. Я понимаю, что он остановил на ней свое внимание. Между ними завязалась дружба. Она пригласила его бывать у них в Москве. Они жили в собственном старинном особняке, на углу Гагаринского переулка. ‹…›

Иван Алексеевич определял свои чувства к Катерине Михайловне романтическими, как к девушке из старинного дворянского гнезда, очень чистой, но несколько истеричной.

— Подумай, — рассказывал он, — зайдем в «Прагу», а она начинает говорить: «Нет, не могу есть в ресторанах, с тарелок и пить из фужеров, из которых ели и пили другие…» Если бы я на ней женился, я или убил бы ее или повесился, — смеясь говорил он, — а человек она все же замечательный.

А она рассказывала:

— Бывало, идем по Арбату, он в высоких ботиках, в потрепанном пальто с барашковым воротником, в высокой барашковой шапке и говорит: «Вот вы все смеетесь, не верите, а вот увидите, я буду знаменит на весь мир!» Какой смешной, думала я… [35, 169–170]

Екатерина Михайловна Лопатина *(1865–1935), писательница, общественная деятельница. Из дневника:*

22 февраля 1898 г. Петербург. Весь день мы почти не расставались… То провожал меня в «Сын Отечества», то отвозил еще куда-нибудь, поправлял оттиски моего романа, и раз я была у него в номере на Пушкинской. Понемногу все стали замечать, намекать на его любовь… Вечером он ждал меня в Союзе писателей. Я никогда этого вечера не забуду. Никогда, кажется, я его таким не видала. Так был бледен, грустен, мил. Так мы тихо, грустно и хорошо говорили ‹…›. Из Союза он пошел за мной, провожать меня. Как я помню эту ночь. Шел снег, что-то вроде метели… Наконец, уже на Садовой, мы заговорили, и все было сказано. Мне вдруг стало легко говорить с ним. Мы пешком дошли до Мастерской, и было так грустно. Я сказала ему, что боюсь его увлечения, его измученного лица и странного поведения, иначе не стала бы говорить; что я не могу пойти за ним теперь, не чувствую силы, не люблю его настолько. Он говорил о том, как никогда и не ждал этого, как во мне он видит весь свет своей несчастной жизни; он не боялся этого, потому что ему нечего терять, ему уже давно дышать нечем; без меня у него тоска невыносимая, но это не какая-нибудь обыкновенная влюбленность, которую легко остановить, а трезвое, настоящее чувство, очень сложное, и расстаться со мною ему невыносимо уже теперь…

Вечером он пришел на вокзал, бледный, даже желтый, и сказал мне, что, вероятно, уедет в понедельник в Нормандию. И тут же говорил, что поправит и пришлет мне с поправками весь мой роман… [6, 65]

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма Е. М. Лопатиной. 11 апреля 1898 г.:*

Многое, о чем мне хочется говорить Вам, многое, что есть в моей душе, — для Вас или чуждо, или ненужно, или просто скучно, или, наконец, так не соответствует Вашему настроению, что неделикатно и неловко с моей стороны говорить Вам об этом. Но ведь для таких предположений есть основания, и если я преувеличиваю ‹то, что угнетает меня› вообще, то не преувеличиваю в некоторых частностях. В мое чувство к Вам входит, напр., и чувство страсти. Прямо говорю Вам это, потому что не дал Вам повода не уважать меня в этом отношении, потому что Вы знаете, что я не посмел бы говорить Вам об этом, если бы это чувство не было так чисто, не граничило бы с самым чистым чувством пред красотою и женственностью в лучшем смысле этого слова. ‹…› Помимо этой любви у меня еще много нежности

к Вам, которая увеличивается в те моменты, когда что-нибудь другое особенно трогает меня, как, например, в тот день, когда было Ваше рождение… когда Вы были в своем милом, девичьем белом платье, когда я так любовался Вами и так тянуло меня к Вам. ‹…› Меня подавляет именно то, за отсутствие чего Вы упрекаете меня, — горячее желание быть Вашим другом, близким Вам человеком, а мне все чудится, что я для Вас только милый и хороший знакомый, с которым у Вас много общих интересов, но который… не хочет и не может понимать главного, что составляет суть Вашей жизни. Вы так сдержанны и так замкнуто живете своей внутренней жизнью, что я каждую минуту боюсь быть навязчивым и ненужным, даже в то время, когда какое-нибудь высокое настроение раскрывает душу, как, например, в светлую ночь, когда я отдал бы Бог знает что за то, чтобы вдруг увидать Вас возле себя, увидать вашу обрадованную улыбку и внезапно почувствовать близость бесконечно дорогого человека, которая наполняет душу радостью умереть за него, сделать все, только бы он был счастлив. Меня подавляет и Ваше грустное отношение к жизни ‹…› и, наконец, Ваша жизнь. Мне невыносимо думать, в каких тисках, без радости и деятельности, проходит Ваша молодость, что Вас ждет, может быть, угнетенная покорность судьбе, а потом — одинокая старость [18, 251–252].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма Е. М. Лопатиной. 16 июня 1898 г.:*

Прощайте, милая и дорогая моя, радость и скорбь моей жизни, незабвенный и мучительно родной друг! Страшную ночь переживаю я — невыразимо страшную в безвыходном страдании. ‹…› Помню эти горькие и безумные два дня в Петербурге без Вас. Но тогда я был безумно несчастлив и счастлив во всякое время. Тогда мне казалось, что хоть ценою жизни я могу взять Вашу любовь, ждал чего-то всем существом своим и заплакал от несказанной радости, разорвавши Ваше письмо. Ох, если бы знали, каким счастьем захватило мне душу это внезапное прикосновение Вашей близости, ваши незабвенные и изумительные по выражению чувства слова: «Мне грустно, я хочу Вас видеть и хочу, чтобы Вы знали это…» О, Катерина Михайловна, — не забуду я этого до гробовой доски ‹…›. И образок Ваш. Вы благословили меня и знайте, что уже не было для меня ничего в ту минуту в жизни. Все страдания мои, все злобы и порывы моей души преклонились в то мгновение и если бы было это в час вечной разлуки со всем, что дорого и радостно было мне на замле, в час последнего прощания с Вами, я бы в неизреченной и тихой радости закрыл глаза под Вашим

последним благословением меня в этом мире на новую и великую жизнь за его пределами. И клянусь я — горько утешит меня то, что, когда я буду в могиле, на груди моей будет Ваш образок [18].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

5 июня 1931. В. Н. [Бунина. — Сост.) сказала, что Катерина Михайловна (Лопатина) днем рассказывала ей о том, как И. А. когда-то был в нее влюблен и каким он был. И. А. рассказал:

— Мне тогда шел двадцать шестой год, но, конечно, в сущности мне было двадцать. Однако Катерина Михайловна вовсе не была «взрослей» меня, хотя ей было 32–33 года и выросла она в городе. Она была худая, болезненная, истерическая девушка, некрасивая, с типическим для истерички звуком проглатыванья — м-гу! — звуком, которого я не мог слышать. Правда, в ней было что-то чрезвычайно милое, кроме того, она занималась литературой и любила ее страстно. Чрезвычайно глупо думать, что она могла быть развитей меня оттого, что в их доме бывал Вл. Соловьев. В сущности, знала она очень мало, «умные» разговоры едва долетали до ее ушей, а занята она была исключительно собой. Следовало бы как-нибудь серьезно на досуге подумать о том, как это могло случиться, что я влюбился в нее. Обычно при влюбленности, даже при маленькой, что-нибудь нравится: приятен бывает локоть, нога. У меня же не было ни малейшего чувства к ней, как к женщине. Мне нравился переулок, дом, где они жили, приятно было бывать в доме. Но это было не то, что влюбляются в дом оттого, что в нем живет любимая девушка, как это часто бывает, а наоборот. Она мне нравилась потому, что нравился дом… Кто я был тогда? У меня ничего не было, кроме нескольких рассказов и стихов. Конечно, я должен был казаться ей мальчиком, но на самом деле вовсе им не был, хотя в некоторых отношениях был легкомыслен до того, и были во мне черты такие, что не будь я именно тем, что есть, то эти черты могли бы считаться идиотическими. С таким легкомыслием я и сказал ей однажды, когда она плакалась мне на свою любовь к Х: «Выходите за меня замуж…» Она расхохоталась: «Да как же это выходить замуж… Да ведь это можно только тогда, если за человека голову на плаху можно положить…» Эту фразу очень отчетливо помню. А роман ее с Х. был очень странный и болезненный. Он был похож на Достоевского, только красивей.

В. Н.: Все-таки она думала, что И. А. больше в нее влюблен. Она была очень задета его женитьбой через два месяца после предложения ей. Ведь это было в июне, а в сентябре он женился.

И. А.: Да, и тоже был поступок идиотский. Поехал в Одессу и ни с того ни с сего женился. А о Катерине Михайловне думал

потом с ужасом: что бы я с ней делал? Куда бы я ее взял?

Он еще рассказал между прочим, что когда Катерина Михайловна смеялась над ним, он как-то сказал ей: «Вот увидите — я буду известен не только на всю Россию, но и на всю Европу!» [28, 217–218]

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

25.1.44. Вдруг вспомнил Гагаринск. переулок, свою молодость, выдуманную влюбленность в Лоп[атину], — которая лежит теперь почему-то (в 5 километрах от меня) в могиле в какой-то Валбоне. Это-ли не дико! [55, 369]

Неудачный брак (Анна Цакни)

София Юльевна Прегель:

Гордился он красотой своей первой жены, Анны Николаевны Цакни. Приходилось верить на слово. Но я почему-то была убеждена, что Вера Николаевна красивее «Ани» [32, 356].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Она хорошо одевалась, и Ивану Алексеевичу нравилось, когда жена опускала черную вуаль, из-под которой блестели глаза, когда они вместе куда-нибудь шли [35, 176].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Однажды к Федоровым приехали в гости их друзья, греческая чета Цакни. ‹…›

Цакни пригласили молодых писателей к себе на дачу. Через несколько дней они отправились к ним ‹…›.

При входе в разросшийся по-южному сад они увидели настоящую красавицу, как оказалось, дочь Цакни от первого брака.

Иван Алексеевич обомлел, остановился. И чуть ли не в один из ближайших вечеров сделал ей предложение.

‹…› Предложение было принято. Отец предоставлял дочери полную свободу, мачехе же жених сначала очень понравился, и она была довольна предстоящей свадьбой, а может быть, хотела скорее выдать замуж свою падчерицу. Все случилось скоропалительно. Анне Николаевне шел двадцатый год, но она была еще очень невзрослой, наивной, — мачеха умела заставлять ее поступать по своей воле.

В автобиографическом конспекте у Ивана Алексеевича написано:

«…Внезапно сделал вечером предложение. Вид из окон из дачи (со второго этажа). Аня играла „В убежище сада…“». Ночью у них, спал на балконе (это, кажется, в начале сентября).

23 сентября. Свадьба. ‹…›

После венчания «молодой» с тестем, заговорившись, вышли на паперть и бессознательно пошли вдвоем домой. Можно представить, какое впечатление произвело это на «молодую». А тут еще подлила масла в огонь мачеха, да и Лидия Карловна Федорова, вероятно, не внесла мира.

На свадебном пиру разразился скандал. Иван Алексеевич в

бешенстве выскочил из столовой в гостиную, запер за собой дверь на ключ и до утра не вышел. Мачеха до рассвета о чем-то шепталась с «Аней», а Федоровы провели ночь в спальне, приготовленной для новобрачных.

Иван Алексеевич был раздражен и расстроен, так как перед свадьбой невеста передала ему, что Федоровы утверждают, что он женится из-за денег, хотя богата была мачеха. ‹…›

Я спрашивала Ивана Алексеевича, как это он мог уйти после венчания без жены?

— Я не придавал никакого значения этому, к тому же мы о чем-то очень интересном разговорились с Николаем Петровичем, я и забыл, что молодожены должны возвращаться вместе… [35, 172–173]

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

Я стала спрашивать его о его первой жене Анне Николаевне Цакни. Он сказал, что она была еще совсем девочка, весной кончившая гимназию, а осенью вышедшая за него замуж. Он говорил, что не знает, как это вышло, что он женился. Он был знаком несколько дней и неожиданно сделал предложение, которое и было принято. Ему было 27 лет.

«Когда я теперь вспоминаю это время — это было в сентябре в Одессе, — мне оно представляется очень приятным. И вот нельзя, собственно, никому сказать этого — из чего состояло это приятное? Прежде всего из того, что стояла прекрасная сухая погода, и мы с Аней и с ее братом Бэбой и с очень милым песиком, которого она нашла в тот день, когда я сделал ей предложение, ездили на Ланжерон. Надо сказать, что в Ане была в то время смесь девочки и девушки, и „дамское“ выражалось в ней тем, что она носила дамскую шляпу с вуалью в мушках, как тогда было модно. И вот через эту вуаль ее глаза — а они у нее были великолепные, большие и черные — были особенно прелестны. Ну, как сказать, из чего состояло мое приятное состояние в это время? Особенной любви никакой у меня к ней не было, хотя она и была очень милая. Но вот эта приятность состояла из этого Ланжерона, больших волн на берегу и еще того, что каждый день к обеду была превосходная кефаль с белым вином, после чего мы часто ездили с ней в оперу. Большое очарование ко всему этому прибавлял мой роман с портом в это время — я был буквально влюблен в порт, в каждую округлую корму…»

Он рассказал, как начались вскоре у них недоразумения с женой. Ее очень настраивала против него мачеха — Элеонора Павловна, «которая сначала была просто до неприличия влюблена в меня, а потом так же неприлично возненавидела».

Привело все это к тому, что после двойного отъезда он совсем уехал от жены, которая в это время была беременна, месяце на пятом. ‹…› Мачеха Анны Николаевны была богатая женщина. У них были имения, виноградники. «Подумать только, что я мог бы поехать под Балаклаву в имение, жить на виноградниках, управлять всем этим, стать богатым человеком. Но мне это и в голову не приходило. Связывать себя! Вот как я это понимал!»

Я спросила, как отдали за него, ничего в то время не имевшего, богатую наследницу.

— Да я и сам не знаю! — сказал он. — Отец ее был типичный интеллигент. Мы вместе ехали из Одессы к ним на дачу на паровичке. Стояли на площадке и курили. Я вдруг сказал: «Прошу у вас руки вашей дочери». Он сдвинул пальцами шляпу на затылок, посмотрел на меня и сказал: «Да я-то тут, дорогой, при чем? Это, мне кажется, дело Анны Николаевны. А что касается меня — я ничего против не имею».

Когда они затем встретились — она уже, вероятно, знала об этом предложении. Они возвращались откуда-то из города — она и мачеха. Она в темноте протянула руку, нащупала его руку и вложила в нее туберозу. Это было сделано очень мило и невинно [28, 243–245].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма Ю. А. Бунину. 14(26) декабря 1899 г.:*

До такой степени не понимать ‹…› моего состояния, и не относиться ко мне помягче, до такой степени внутренно не уважать моей натуры, не ставить меня ни в грош, как это делает Анна Николаевна, — это одно непоправимо, а ведь мне жить с ней век. Сказать, что она круглая дура, нельзя, но ее натура детски-глупа и самоуверенна — это плод моих долгих и самых беспристрастных наблюдений. ‹…› Она ‹…› детски-эгоистична и ‹…› не чувствует чужого сердца ‹…›. Мне самому трогательно вспомнить, сколько раз и как чертовски хорошо я раскрывал ей душу, полную самой хорошей нежности — ничего не чувствует — это осиновый кол какой-то. ‹…› Ни одного моего слова, ни одного моего мнения ни о чем — она не ставит даже в трынку. Она ‹…› неразвита как щенок, повторяю тебе. И нет поэтому никаких надежд, что я могу развить ее бедную голову хоть сколько-нибудь, никаких надежд на другие интересы. ‹…›

Но главное — *она беременна*, уже месяц [6, 75–77].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма Ю. А. Бунину. 10 августа 1899 г.:*

Я дошел до того состояния, когда убивают себя, — и

истерически разрыдался вчера, потому что я почувствовал — я один, я нищий, я убит и мне нет помощи. И тогда она призналась, что не любит меня с страшными муками. Она и теперь так убита этим, что еле жива и только твердит: я не виновата. ‹…› Нет меры тоске моей — одной тоске и ничему более — ни грусти, ни самоупоению отчаянием [32, 472].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма Ю. А. Бунину:*

Если бы не слабая надежда на что-то, рука бы не дрогнула убить себя. И знаю почти наверно, что этим не здесь, так в Москве кончится. Описать свои страдания отказываюсь, да и ни к чему. Но я погиб — это факт свершившийся… Давеча я лежал часа три в степи и рыдал и кричал, ибо большей муки, большего отчаяния, оскорбления и внезапно потерянной любви, надежды, всего, может быть, не переживал ни один человек… ‹…› Как я люблю ее, тебе не представить… Дороже у меня нет никого [6, 78].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Насколько я знаю, Иван Алексеевич два года после разрыва надеялся на примирение. Перестал же он этому верить, махнул рукой только в 1902 году [35, 199].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

Воскресенье. Видел во сне Аню с таинственностью готовящейся близости. Все вспоминаю, как бывал у нее в Одессе — и такая жалость, что… А теперь навеки непоправимо. И она уже старая женщина, и я уже не тот [55, 236].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из письма А. К. Бабореко от 5 января 1959 г.:*

Прочла все письма периода Цакни сразу. Расстроилась: представляла иначе — считала более виноватым Ивана Алексеевича. А, судя по письмам, не только жизнь была не для творческой работы, а у самой Анны Николаевны не было настоящего чувства, и ей хотелось разрыва… Это понятно, конечно, они были и по натуре, и по среде, и по душе очень разные люди. И как с годами Иван Алексеевич, я не скажу, простил, а просто забыл все, что она причинила ему [6, 79].

«Деревня»

Иван Алексеевич Бунин:

Я должен заметить, что меня интересуют не мужики сами по себе, а душа русских людей вообще. ‹…›

Я не стремлюсь описывать деревню в ее пестрой и текущей повседневности.

Меня занимает, главным образом, душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славянина [6, 161–162].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

14 декабря 1930. Спросила, как И. А. писал «Деревню», с чего началось.

— Да так… захотелось написать одного лавочника, был такой, жил у большой дороги. Но по лени хотел написать сначала ряд портретов: его, разных мужиков, баб. А потом как-то так само собой вышло, что сел и написал первую часть в 4 дня. И на год бросил.

— А вторая часть?

— А это было уже через год. Простились мы с матерью — она была очень плоха, я был убит, и поехали мы в Москву почему-то в июне. Получались известия от брата, все более тяжелые. Я сел писать. И тут и получил известие о ее смерти. Ну, писал две недели и дописал… [28, 188]

Борис Константинович Зайцев:

«Деревня» написана в 1909 г. С юных лет я Бунина высоко ценил как художника. И побаивался и любил. Эту «Деревню» читал он нам до печати, еще в рукописи, в темноватой комнате квартиры Муромцевых ‹…› в Скатертном переулке. Из всей комнаты запомнилась коробка с гильзами для папирос на столе да просыпанный на черную клеенку рыжий табак. Как везде, где Иван жил, было неуютно, и такое впечатление, что вот приехал человек в гостиницу какого-нибудь Ельца или Каширы, поживет два дня да и уедет.

Слушали мы, кажется, вечера два, если не три — вещь большая и в писании Бунина считавшаяся поворотной: от одной полосы к другой. Слушатели были: две Веры, его и моя, Юлий — брат Ивана, да Пушешников, племянник.

Нельзя сказать, чтобы «Деревня» эта имела у нас успех. Помнится, Юлий бормотал что-то сочувственное, а другие помалкивали. Где она была потом напечатана, не помню, но

вызвала шум. Народники упрекали за мрак изображения, односторонность подхода. Марксистам нравилось, что русская деревня «никуда», вот они все наладят. ‹…›

Все эти повествования — «Суходол», «Сто восемь», «Ночной разговор» (страшная вещь), «Хорошая жизнь», «Веселый двор», «Игнат» — глубоко горестны, даже трагический налет на них. Дело не в одном быте крестьянском, темном и глухом во многом, но и в горьком взоре, коим смотрит на жизнь автор (это личное, некий внутренний фонарь, и делает то, что писания Бунина не «очеркизм», а художество, не фотография, а преломление в душе художника: действительность плюс душа). Будто он и в сторонке, ничего не навязывает, а выходит так, что ему подчиняешься.

В чем-то народники были и правы: мрак сгущен. Я сам детство провел в деревне, и приятели мои были разные Савоськи и Масетки, и Анютки, и толстопузый от черного хлеба Роман-пастушонок. Бабы прибегали иногда к матери моей, как в крепость под защиту от пьяных мужей, или за лекарствами, — но никаких зверств и ужасов я не помню, а было это в конце прошлого века, в губернии Калужской. Во взрослом состоянии, уже в Тульской губернии, в шестидесяти верстах от Ясной Поляны, помню крестьян вполне мирных, а дети сплошь грамотные. Конечно, наша жизнь (вовсе не роскошная) казалась им как бы с другой планеты, и в неравенстве этом был исток дальнейшего, трагического.

Но у Бунина все решительно горестно [22, 409–410].

Иван Алексеевич Бунин. *Из интервью «Московской газете». 23 июля 1912 г.:*

У нас, несмотря на целые общественные и литературные полосы, касавшиеся самых недр народной жизни, в сущности, русская интеллигенция поразительно мало знает свой народ.

В этом отношении и равнять нельзя, например, иностранного интеллигента — француза, немца, итальянца и др., — которые говорят с народом одинаковым языком. Между тем, язык русского интеллигента и русского мужика — совершенно различны. Ведь нельзя же принимать за знание народного языка, которым щеголяет наша интеллигенция, такие пошлости, как «эфто», «так что ваше благородие» и т. п., которые мы слышим со сцены, либо читаем в произведениях о мужике.

Ни в одной стране нет такого разительного противоречия между культурной и некультурной массой, как у нас.

Да иначе у нас и быть не могло. Ибо в России никогда не существовало подлинного серьезного изучения народа. ‹…›

У Тургенева не было полного изображения народной действительности. Он жил преимущественно за границей, преследовал специальную цель показать, что и у раба живая душа.

Литературная деятельность Златовратского носила явно прикрашенный характер, давала идеализацию мужика.

Кем действительно было много сделано в смысле изучения народа, это Гл. Успенским. ‹…› Успенский — огромный талант, огромный художник и крупный человек. Но он, как сам говорил, собирал лишь материал для постройки здания о народе, но планомерного художественного целого произведения не создал. ‹…›

Толстой писал о народе с известной точки зрения, именно с религиозной, как о трудовом народе, которым держится весь мир.

Теоретическое же изучение народного языка, песен, обрядов началось лишь в 50-х годах славянофилами и с ними же окончилось.

Именно с этой точки зрения, в смысле серьезного отношения к данному предмету, следовало бы отнестись к моей писательской деятельности.

Поэтому нельзя говорить, как это делается теперь, что я не люблю народа, что у меня холодное и сухое сердце, нельзя копаться в моей душе [31, 372].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

7 октября 1917. Думал о своей «Деревне». Как верно там все! Надо написать предисловие: будущему историку — верь мне, я взял типическое [13, 372].

Александр Васильевич Бахрах:

Восхваление «Деревни» даже раздражало Бунина. «Что мне все тычут в нос „Деревню“, — не раз говорил он, — разве я ничего другого не написал?» [8, 48]

Ирина Владимировна Одоевцева:

— Ненавижу, когда меня до сих пор называют автором «Деревни».

Он все сильнее волнуется, щурит глаза и сдвигает брови.

— До чего мне обидно! Значит, между мной и читателями пропасть. Полное непонимание… [37, 264]

1907. По Святой земле

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

Апрель — май 1907 г. На пути из Хеврона, в темноте, вдали огни Иерусалима. Часовня Рахили при дороге. Внутри висят фонарь, лампа и люстра с лампадками. Но горит, трещит только одна из них. Старик Шор зашел за большую гробницу, беленную мелом, прислонился к стене и начал, качаясь, молиться.

Наш извозчик еврей из Америки. Когда вышли, услыхали крик в темноте возле нашей повозки: он чуть не подрался с каким-то проезжим, дико ругался, не обращал ни малейшего внимания на гробницу своей праматери. ‹…› 1 ч. 45 м., ст. Serehaya. Зеленая покатая круглая равнина. Деревья, посевы, деревни с плоскими глиняными крышками. Кругом горы. Сзади огромная голая гора на фоне дождевой тучи и далекая лиловая гора. Возле станции, налево, тоже горы, дико-фиолетовые, в пятнах снега. Прохладно, скоро перевал. ‹…›

Спуск. Земля кирпично-глинистая. В посевах — женщины в чем-то цвета мака.

Ст. Zebdani, вся в садах. Женщины в шароварах, в синих юбках и туфлях, на головы накинуты куски темно-лиловой материи.

3 ч. 15 м. Ст. Aiu Fijeh. Поразительная гора над нею. Сады. Перед станцией большие горы, каменно-серо-красноватые.

Тронулись. Теперь кругом горы даже страшные. Шумит зелено-мутная река. Мы едем — и она быстро бежит за нами.

Пошли сады, говорят — сейчас Дамаск.

4 ч. Дамаск.

Огромная долина среди гор, море садов, и в них — весь желто-‹нрзб› город, бедный, пыльный, перерезанный серой, быстро бегущей мутно-зеленоватой Барадой, скрывающейся возле вокзала под землю. Остановились в Hôtel Orient. После чая на извозчике за город. Удивительный вид на Дамаск. Я довольно высоко поднимался на один из холмов, видел низкое солнце и Гермон, а на юге, по пути к Ерусалиму, три сопки (две рядом, третья — дальше) синих, синих. Возвращались вдоль реки — ее шум, свежесть, сады.

7 мая, 9 ч. утра. На минарете. Вся грандиозная долина и желто-кремовый город под нами. Вдали Гермон в снегу (на юго-западе). И опять стрижи — кружат, сверлят воздух.

Город даже как бы светит этой мягкой глинистой желтизной, весь в плоских крышах, почти весь слитный. Безобразные длинные серые крыши галерей базара.

Потом ходили по этому базару. Дивный фон. Встретили похороны. Шор записал мотив погребальной песни, с которой шли за гробом. ‹…›

В 3 часа поехали за город. Пустыни, глиняное кладбище.

Большая мечеть — смесь прекрасного и безобразного, нового. Лучше всего, как всюду, дворы мечети. Зашли в гости к гиду.

Вечером на крыше отеля. Фиолетовое на Гермоне. Синева неба на востоке, мягкая, нежная. Лунная ночь там же. Полумесяц над самой головой.

8 мая. Проснулся в 5. Выехали в 610 ‹…› 9 ч. 30. Пустыня, усеянная темно-серыми камнями. Вдали фигура араба в черной накидке.

10 ч. Строющаяся станция. Пока это только несколько белых шатров. Очень дико. Три солдата-араба в синем, два бедуина, зверски черных, в полосатых (белое и коричневое) накидках, в синих бешметах, в белых покрывалах, на голове схваченных черными жгутами, босые. Потом опять глинистая пашня, усыпанная камнями. Порой тощий посев. Пашут на волах. И все время вдали серебро с чернью — цепь гор в снегу с Гермоном над ними. Нигде ни капли воды.

2 часа. Тунель. Потом все время спуск в ущелье, среди серо-желто-зеленоватых гор и меловых обрывов, вдоль какой-то вьющейся речки, по берегам которой розовые цветы дикого олеандра (да́фля по-арабски) и еще какие-то дикие, голубые. Поезд несется шибко. Жарко, весело, речка то и дело загорается серебром. ‹…›

Нашли лодку с 4 гребцами (за 10 фр.). Пройдя по совершенно дикарской и кажущейся необитаемой глиняной деревушке, вышли к озеру. Скромный, маленький исток Иордана. Озеро бутылочного цвета, кругом меланхолические, коричневые в желтых пятнах горы. Шли сперва на веслах, потом подняли парус. Стало страшно — ветер в сумерках стал так силен, что каждую минуту нас могло перевернуть. ‹…›

9 мая. Утром на лодке в Капернаум. Когда подходили к нему (в десятом часу), стало штилеть, желто-серо-зеленые прибрежные холмы начали отражаться в зеркалах под ними зеленоватым золотом. Вода под лодкой зеленая, в ней от весел извиваются зеленые толстые змеи с серебряными поблескивающими брюхами.

Капернаум. Жарко, сухо, очаровательно. У берега олеандры. Развалины синагоги. Раскопки. Монах-итальянец.

Из Капернаума в Табху, на лодке же. Из гребцов один молодой красавец, другой похож на Петра Ал. в валеной ермолке. Тишина, солнце, пустынно.

Холмы между Капернаумом и Табхой сожженные, желтоватые, кое-где уже созревший ячмень. Возле Табхи что-то вроде водяной мельницы, домишко в ячмене, на самом берегу эвкалипты и два кипариса, молодых, совсем черных.

Озеро млеет, тонет в сияющем свете.

В странноприимном немецком доме. Полный штиль. У берегов на востоке четкая, смело и изящно-сильно пущенная полоса, ярко-зеленая, сквозящая.

Ближе — водные зеркала, от отраженных гор фиолетово-коричневые. Несказанная красота! ‹…› Три часа, сильный теплый западный ветер, зеленое озеро, мягко клонятся в саду мимозы в цвету, пальмочка.

На террасу вышел работник в черной накидке на голове и черных жгутах по ней (на макушке), в одной синей рубахе, которую завернул ветер на голых ногах почти до пояса.

Сейчас около шести вечера, сидим на крыше. Ветер стал прохладней, ласковей. Воркуют голуби. Все кругом пустынно, задумчиво, озеро бутылочное, в ряби, которую, сгущая, натемняя, ветер гонит к холмам восточного прибрежья, из-за которых встало круглыми купами и отсвечивает в озере кремовое облако. Там, с тех холмов, сверг Христос в озеро стадо бесноватых свиней. Возле нас на жестких буграх пасутся козы, какой-то табор, совсем дикий, проехал на великолепной белой кобылице бедуин.

10 мая. Утром в шесть часов купался. Бродяга с обезьяной. Приехал Шор. В девять выехали из Тапхи. Издали видел Магдалу. Дорога из Магдалы в Тивериаду идет вдоль берега. По ней часто ходил Христос в Назарет. Черные козы.

В Тивериаде очень жарко.

После завтрака выехали в Назарет. ‹…› Подъем, с которого видно все озеро и Тивериада. На востоке синева туч слилась с синевой гор, и в ней едва видными серебряными ручьями означается Гермон.

Перевал и снова подъем. Фавор слева, круглый, весь покрытый лесом. Длинная долина, посевы.

Кана. Кактусы, гранаты в цвету, фиговые деревья, женщины в кубовых платьях. Кана в котловине и вся в садах. Подъем, снова долина, снова подъем, огромный вид на долину назад. Потом котловина Назарета. ‹…› Церковь и дом Богородицы. Потом лунная ночь.

11 мая. Утром из Назарета. Необъятная долина и горы Самарии. Потом подъем, ехали дубовым лесом. Снова долина, и вдалеке уже полоса моря.

Удивительный цвет залива в Кайфе сквозь пальмы. В четыре на Кармель. Вид с крыши монастыря Ильи, виден Гермон. Лунный

вечер, — это уже возвратясь в Кайфу, — ходил за вином. ‹…›

13 мая. Порт-Саид. ‹…› В час из Порт-Саида, в экспрессе на Александрию. Озеро Мензалех. Вдали все розовое, плоский розовый мираж. В шестом часу Каир — пыльно-песчаный, каменистый, у подножия пустынного кряжа Мокатама.

Вечером на мосту. Сухой огненный закат, пальма, на мосту огни зеленоватые, по мосту течет река экипажей. ‹…› Проснулся в пять. К пирамидам. Туман над Нилом. Аллея к пирамидам — они вдали, как риги, цвета старой соломы. Блохи в могильниках за пирамидами. ‹…›

Вечером в цитадели. Новая, но прелестная мечеть. Вид на Каир, мутный и пыльный, ничтожный закат за великой Пирамидой.

15 мая. Выехали в семь с половиной часов утра. Равнина. Рамле. Александрия. «Император Николай Второй». Все загружено русскими богомольцами из Палестины. Та же каюта.

16 мая, утром, в Средиземном море.

Опять эта поразительная сине-лиловая, густая, как масло, вода, страшно яркая у бортов.

Вчера вечером страшная резня кинжалами на палубе (самаркандские евреи).

Четыре часа. Слева волнистые линии Крита, в дымке. У подножия — светлый туман [13, 349–354].

«Слишком юный академик»

Николай Дмитриевич Телешов:

Литературные круги и группы, с их разнообразными взглядами, вкусами и искательством, все одинаково признавали за Буниным крупный талант, который с годами все рос и креп, и когда он был избран в почетные академики, никто не удивился; даже недруги и завистники ворчливо называли его «слишком юным академиком», но и только [52, 41].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

В 1909 году 1 ноября, когда Бибиковы обедали у нас, перед тем, как мы должны были встать из-за стола и перейти в гостиную пить кофе, горничная подала мне телеграмму. Я немного встревожилась, не из Ефремова ли, где жила мать Ивана Алексеевича.

Я распечатала: «Сердечный привет от товарищей по разряду. Котляревский».

Для нас это была неожиданность: мы не знали, что в этот именно день выборы почетных академиков. По Москве ходили слухи, — как мне передавал через два дня Александр Андреевич Карзинкин, — что академиком изберут Брюсова…

Я взглянула на Бибикову, уже вставшую из-за стола. Она была бледна, но спокойна. Через минуту она раздельно сказала: «Поздравляю вас» [35].

Георгий Викторович Адамович:

Рассказ о том, как после избрания его почетным академиком он впервые явился в Академию Наук.

— Огромный, холодный зал, тишина, все сидят неподвижно в ожидании президента Академии, великого князя Константина Константиновича, К. Р. За окнами большие, мокрые хлопья снега, тающего тут же на стеклах, деревья, гнущиеся под ветром с залива. Четверть часа, полчаса, президента все нет и нет… Возле меня сидел древний старичок в мундире с орденами, с каким-то белым пухом на голове вместо волос, сидел и дремал. Вдруг он очнулся, взглянул в окно, надел очки, недовольно покачал головой и тронул меня за руку: «А изволите ли помнить, ваше превосходительство… когда Крылова… баснописца… хоронили, точь-в-точь такая же погода была».

Все предыдущее, до самой последней фразы, я восстанавливаю по памяти и за точность каждого слова не ручаюсь. Но последнюю фразу помню совершенно точно, и надо

было слышать, с каким столетним дребезжанием в голосе Бунин ее произнес, весь сгорбившись и сделав особое ударение на «баснописце».

Напомню, что Крылов скончался в 1844 году [3, 116].

Владимир Пименович Крымов:

Звание академика давало титул «ваше превосходительство». ‹…› Так и принято было обращаться друг к другу — «ваше превосходительство» [27, 204].

Александр Васильевич Бахрах:

Звание академика по «табели о рангах» соответствовало чину действительного статского советника [8, 104].

Иван Алексеевич Бунин. *В пересказе И. В. Одоевцевой:*

Как мне вся писательская братия завидовала, как злилась. Особенно Куприн. В голос выл от обиды. Раз, когда мы с ним в ресторане сильно выпили, он весь затрясся, побледнел и вдруг свистящим шепотом сказал: «Уйди от меня. Ненавижу тебя. Уйди, а то задушу!» Встал из-за стола, коренастый, руки длинные, и смотрит на меня с чисто звериной ненавистью. Не человек — медведь разъяренный. Действительно может задушить. Я подозвал лакея, расплатился и, не прощаясь с ним, молча вышел. Потом мы с ним при встречах отворачивались друг от друга. А через год приблизительно опять сошлись. Он забыл. И все пошло по-старому [37, 289].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Своим званием академика Бунин очень, даже чрезмерно, гордился. В литературных кругах звание академика не пользовалось особым уважением. Рассказывали, смеясь, что Бунин, представляясь, важно произносил:

— Академик Бунин.

И уже в эмиграции злые языки уверяли, что он в Париже завел себе визитную карточку: «Ivan Bounin Immortel»[9]. ‹…›

Приехав в Париж, он счел себя вправе как академик нанести визит президенту Республики.

— Жили мы тогда в маленьком дешевеньком отеле в Пасси. И вдруг к подъезду нашего отельчика подъезжает президентский автомобиль, и шофер, войдя в бюро, протягивает обалдевшему от удивления и почтения хозяину визитную карточку Мильерана для господина академика Бунина.

Эффект потрясающий и полнейший! Когда мы вернулись с прогулки, нас встретили с глубокими поклонами, предложили

сменить наши комнаты на самые лучшие в отеле за ту же цену и больше не подавали еженедельных счетов, а ждали, когда Ян соблаговолит заплатить. Впрочем, он мог бы и вовсе не платить как друг Президента Республики и денег сколько угодно взять в долг. Ведь его пребывание было честью для отеля, хозяин которого через много лет все еще при встречах чуть ли не в пояс нам кланялся. Если захотите поселиться в этом отеле, ссылайтесь на нас, — закончила со смехом Вера Николаевна, — ссылайтесь на l'ami du President[10] [37, 232].

1911. Египет. Цейлон

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

13 февраля. Суэцкий канал. К полудню мы были уже далеко от Порт-Саида, в совершенно мертвом, от века необитаемом царстве. И долго провожала нас слева, маячила в мути пустыни и неба чуть видная, далекая вершина Синая, и весь день прошел под его величавым и священным знаком, был связан с чувством его близости, его ветхозаветного, но вместе с тем и вечного владычества, ибо это вечно, вечно: «Аз есмь Господь Бог твой… Помни дни Господни… Чти отца и матерь твою… Не делай зла ближнему твоему… Не желай достояния его…»

Я сидел и думал: все-таки оно есть в мире, — нечто незыблемо-священное. ‹…›

15 февраля. За вчерашний день все чрезвычайно изменилось, — менялось чуть не каждый час. И вот оно уже наступило, то вечное, светоносное лето совершенно нового для меня мира, которое говорит о какой-то давно забытой нами, райской, блаженной жизни. ‹…› Поздно вечером капитан поздравил нас со вступлением в тропики. Итак, заветная черта, о которой столько мечтал я, перейдена. ‹…›

16 февраля. ‹…› Прошли остров Джебель-Таир. ‹…› В шесть часов, тотчас же после заката солнца, увидал над самой своей головой, над мачтами, в страшно большом и еще совсем светлом небе, серебристую россыпь Ориона. Орион днем! Как благодарить Бога за все, что дает Он мне, за всю эту радость, новизну! И неужели в некий день все это, мне уже столь близкое, привычное, дорогое, будет сразу у меня отнято, — сразу и уже навсегда, навеки, сколько бы тысячелетий ни было еще на земле? Как этому поверить, как с этим примириться? Как постигнуть всю потрясающую жестокость и нелепость этого? Ни единая душа, невзирая ни на что, втайне не верит этому. Но откуда же тогда та боль, что неотступно преследует нас всю жизнь, боль за каждый безвозвратно уходящий день, час и миг? ‹…›

19 февраля. Уже в Океане. Совсем особое чувство — безграничной свободы. ‹…›

20 февраля. ‹…› Как смешно преувеличивают люди, принадлежащие к крохотному литературному мирку, его значение для той обыденной жизни, которой живет огромный человеческий мир, справедливо знающий только Библию, Коран, Веды! ‹…›

1 марта ночью. ‹…› Последняя ночь в океане, завтра Цейлон, Коломбо.

«Путь Твой в море и стезя Твоя в водах великих и следы Твои неведомы…» И я был в страшной и сладкой близости Твоей, и безгранична моя любовь к Тебе, и крепка вера в родимое, отчее лоно Твое! ‹…›

9/22 марта 1911. В вагоне.

В 2 ч. 20 м. дня выехали из Анарадхапуры в Коломбо.

Длинный вагон третьего класса, два отделения. В одном:

1. старик, в профиль губастый ‹…› бронзовый лицом, бритый, как актер, с сережками в ушах; на голове платок чалмой, до пояса голый, грудь в волосах, до пояса закутан в белое;

2. не старик, хотя с сединой в стриженой голове, похожий на Победоносцева, на шее ожерелок из чего-то вроде сухого чернослива, в ушах сережки, очень худой, тоже до пояса весь голый, ниже окутан ярко-оранжевой тканью;

3. старуха, оч. обыкновенная, — как баньщица;

4. малый лет 12, голый до пояса;

5. миловидная молоденькая (лет 14) женщина.

В другом (где мы):

1. старый ‹нрзб›, весь бритый, в седой щетине, ноги и жопа закутаны белым, прочее все голое;

2. дикий малый, очень темный (тамил), чернозубый от бетеля, похожий на индейца, верхняя губа в черной щетине (давно не брита), половина головы синяя (бритая), половина — в черных конских волосах, голый, закутаны в простыню опять-таки только ноги, жевал бетель и дико глядел; потом, достаточно окровавив пеной бетеля рот, лег; возле — медный кувшин с водой, — как у многих, потому что пить из общей посуды нельзя, да нельзя даже и к собственному кувшину прикасаться губами — слюна считается нечистой;

3. старуха в серьгах, очень черная, похожа на еврейку, голая, но через одно плечо и на ногах — красная ткань;

4. «мужик», лысоватый, черная борода, страшно волосатая грудь, вид рабочего, похож на Петра Апостола [54, 80–81].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

19/7 марта. ‹…› Сейчас мы в Кэнди, в гористой местности Цейлона. Здесь очень красиво. Священное искусственное озеро. Очень интересный буддийский храм. ‹…› За дни, проведенные на этом необыкновенном острове, мы увидали столько нового, ни на что не похожего, столько прекрасного, что я еще не могу как следует освоиться, не могу разобраться во всех впечатлениях. ‹…› По преданию, рай находился здесь. Есть на Цейлоне Адамов пик, есть и мост, по которому они бежали с Евой в Индию, изгнанные из рая. Да, здесь, действительно, рай. Поразило меня буддийское

богослужение. Мы вошли в первый раз в храм их вечером. В полумраке грохот бубен, бой в барабан, игра на флейтах, много цветов с одуряющим запахом, и бонзы в желтых мантиях. ‹…› Мне очень нравится, что здесь приносятся в жертву цветы. ‹…›

20/8 марта. ‹…› Утром мы поднялись на одну из здешних вершин. ‹…› Когда мы взошли на вершины, то увидали целый океан гор, идущих кольцами, а на горизонте серебряная гирлянда облаков [54, 86–87].

Иван Алексеевич Бунин:

Часто ходил в непролазные леса, окружавшие Перадению. Там, в этих влажных зарослях, так все кишело громадными черными пиявками, что выше колен нужно было обвивать ноги бинтами; по целым часам наблюдал там работу термитов, в непрестанном движении которых сверху донизу чернели их высокие конусообразные домики; наблюдал жизнь «стыдливой» мимозы: как только протягивал руку к ней, она тотчас же быстро складывала свои светло-зеленые перистые листочки, быстро опускала их вниз и прятала между широкими стеблями своими; иногда плавал в пироге по Махавели, быстро крутившейся желтыми клубами.

Город Кенди был в древности столицей сингалезского царства. Он лежит в горной котловине, среди лесистых холмов. ‹…› Кенди брали португальцы и голландцы, сто лет тому назад его осадили и взяли англичане — и сингалезский царь сжег весь город, так что уцелел лишь священный Храм Зуба.

Храм Зуба — это древние, черные зубцы крепостных стен и низкая осьмиугольная башня с острой крышей. Богослужение совершается в нем утром и вечером, каждый раз в шесть часов. Храм — узкий колонный зал, на задней стене его страшное изображение мучений в аду. Дверь в орнаментах ведет в четвероугольный двор, окруженный колоннами, посреди которого стоит часовня с Зубом Будды. При входе в нее стоят на жертвеннике бронзовые тарелки с густо и сладко благоухающими цветами Храмового Дерева. ‹…›

Наглядевшись на священные черепки в канале, окружавшем Храм Зуба, входил в Храм. Народ смиренно и быстро нес на жертвенник рис, цветы, мелкие монеты и, кланяясь, шепотом возносил моления Садгу, Доброму, Несравненному, соединял ладони у лба, быстро и бесшумно падал на них ‹…›. Выйдя из храма, смотрел, как неподвижное озеро становилось зеркально-розовым от заката, как оно потом покрывалось золотым блеском, и слушал древесных лягушек, тысячами звеневших вокруг, подобно бесчисленным жестяным колокольчикам. Потом,

полулежа, мчался в глубокой темноте ‹на› рикше по бесконечной сводчатой аллее, ведущей в Перадению, и глядел, как мелькали кругом крохотные лампочки внутри сингелезских лесных хижин [31, 77–78].

«Готическая болезнь». Европейские впечатления

Николай Алексеевич Пушешников:

Подобно Теофилу Готье. Бунин страдал «готической» болезнью. Он говорил, сидя в трактире XV века, где подавалось пиво в кружках и кубках, из которых когда-то пили знаменитые уроженцы Нюрнберга — Дюрер. Т. Сакс, В. Фогельвейде, — что ему хотелось бы провести здесь зиму, он мог бы хорошо писать. «Я так люблю эти готические соборы, с их порталами, цветными стеклами и органом! Мы бы ходили слушать мессы в Себальдускирхе, Баха, Палестрину… Какое это было бы наслаждение! Я потому и хотел перевести „Золотую легенду“ Лонгфелло, что там действие происходит в Средние века… Когда я слышу только: „Stabat Mater Dolorosa“, „Dies irae“ или арию Страделлы, то прихожу в содрогание. Я становлюсь фанатиком, изувером. Мне кажется, что я своими собственными руками мог бы жечь еретиков. Эх, пропала жизнь! А каких можно было бы корней наворочать!.. И сколько в мире чудесных вещей, о которых мы не имеем ни малейшего понятия, сколько изумительных созданий литературы и музыки, о которых мы никогда не слыхали и не услышим и не узнаем, будучи заняты чтением пошлейших рассказов и стишков! Мне хочется волосы рвать от отчаяния!» [7, 241]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

По дороге [к Юнгфрау] кучер вызвал в одном селении из домика своего знакомого, сказал ему что-то, и тот вынес очень длинный рог и пустил звук. Эхо отозвалось на тысячу ладов. Об этом Иван Алексеевич никогда не мог забыть. Он сравнивал его с аккордом, взятым на хрустальной арфе могучей рукой в царстве гор и горных духов… Жалел, что мне не довелось услышать ничего подобного [35, 183].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма А. В. Грузинскому. 21 марта / 3 апреля 1909 г.:*

Городом (Палермо. — Сост.) я все-таки доволен вполне. Весь он крыт черепицей, капелла Палатина выше похвал, а про море и горы говорить нечего. ‹…› Прибыл я сюда в тот же день, что и Гете в позапрошлом столетии [6, 130].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма Н. А. Пушешникову.*

5/18 апреля 1909 г.:

Мы в Риме третий день. Послезавтра поедем в Помпею и опять на Капри. Через неделю выедем на пароходе в Одессу ‹…› Рим мне очень нравится. Жара. Весело. Нынче слушали в соборе Петра грандиозное служение. Я был поражен. Сейчас сидим в кафе Греко, где бывал Байрон и Гете [6, 130].

Николай Алексеевич Пушешников. *Из дневника:*

Ноябрь — декабрь 1912. Дорога от Солерно до Амальфи все время идет по берегу моря, так что справа всегда скалы, а слева — море. На вершинах утесов иногда видишь развалины замка или крепости, стены и бойницы, бастионы дикого цвета. В ущельях — деревни или какие-то маленькие городки. ‹…› [Солерно] лепится у подножья огромных скал. Горы уходят вдаль и исчезают на горизонте в блеске солнца и волн. Слева навис утес, фиговая пальма раскидывает на голубом фоне свой веер. Справа склон горы, покрытый мастиковым деревом, ладанником и бледно-желтым кустарником со сладким запахом и цветами. Во время послеобеденной прогулки к морю Бунин, сидя у самой воды, читал стихи Лонгфелло, который когда-то жил здесь в капуцинском монастыре, напечатанные на бланках для писем. Он говорил:

— Вот мы видим море, скалы, оливки, мирт и лавры. При чем тут фавны, сатиры, пан… наяды, сильваны, таящиеся якобы в гротах, как это будто бы чувствуют все поэты и чувствует будто бы Лонгфелло. Все это ложь и вздор. Никто из поэтов этого никогда не чувствовал и не чувствует. Как всегда — я это твержу постоянно — в искусстве не лгал только один Толстой [7, 252].

«Среда»

Борис Константинович Зайцев:

Процветал в Москве литературный кружок «Среда». По средам собирались у Н. Д. Телешова, у С. С. Голоушева и у Андреева. Бывали: Бунин Иван, Бунин Юлий, Вересаев, Белоусов, Тимковский, Разумовский и др. Из заезжих: Чехов, Горький, Короленко. Бывали и Бальмонт и Брюсов. Каждый раз что-нибудь читали. Много прочитал Андреев — думаю, всех больше [23, 254].

Александр Васильевич Бахрах:

Единственные воспоминания, вызывавшие в нем подлинную лирическую грусть и которые в нем как-то кристаллизовались и не были подвержены капризам минуты, были воспоминания о вечерах, проведенных в доме на Чистых прудах, воспоминания о пресловутых телешовских «средах», на которые собирались писатели для чтения написанного ими едва ли не накануне, чтобы не моргнув глазом (таков был неписаный закон) выслушать дружескую, но «жестокую» критику на эти новорожденные произведения. ‹…› Бунину нравился воздух этих «сред» настолько, что чуть не полвека спустя он без малого со слезой на глазах рассказывал о своеобразном уюте гостеприимного телешовского особнячка, о возникавших там неминуемых спорах, расхождениях и примирениях, о полночных ужинах, после которых все начиналось сначала.

В то же время некоторых постоянных участников ‹…› «сред» он, несомненно, презирал, не стеснялся издеваться над их писаниями, трунил над их якобы народным одеянием, их поддевками, шелковыми косоворотками, сапогами с голенищами. Да, конечно, что могло быть общего у «утонченного» Бунина, в той обстановке — подлинного «денди» (с галстуком от Шанкса, как он любил спустя полвека прихвастнуть), с каким-нибудь Скитальцем с его «гуслями-мыслями», с скучнейшим Серафимовичем или другими «подмаксимками». ‹…› Но, как-никак, все они были постоянными посетителями «сред», и потому в глазах Бунина все-таки заслуживали какой-то доли снисхождения [8, 135].

Иван Алексеевич Бунин:

В Москве существовал ‹…› литературный кружок «Среда», собиравшийся каждую неделю в доме писателя Телешова, богатаго и радушного человека. Там мы читали друг другу свои

писания, критиковали их, ужинали. Шаляпин был у нас нередким гостем, слушал чтения, — хотя терпеть не мог слушать, — иногда садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, пел — то народныя русские песни, то французския шансонетки, то Блоху, то Марсельезу, то Дубинушку — и все так, что у иных «дух захватывало».

Раз, приехав на «Среду», он тотчас же сказал:

— Братцы, петь хочу!

Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал то же:

— Петь до смерти хочется! Возьми лихача и немедля приезжай. Будем петь всю ночь.

Было во всем этом, конечно, актерство. И все-таки легко представить себе, что это за вечер был — соединение Шаляпина и Рахманинова. Шаляпин в тот вечер довольно справедливо сказал:

— Это вам не Большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей [12, 116].

Борис Константинович Зайцев:

Москва богата улицами, переулками. Их имена порой причудливы. «Середа» применила этот словарь к шуточным кличкам своих сочленов. Телешов назывался «Угол Денежного и Большой Ленивки», Сергей Глаголь (за красноречие) «Брехов переулок», Гольцев — «Бабий городок», Андреев — «Ново-Проектированный». У Ивана Бунина прозвища не было, но его брата Юлия с отдаленных времен окрестили «Старогазетным» переулком [23, 282].

Николай Дмитриевич Телешов:

Прозвища давались только своим постоянным товарищам, и выбирать эти прозвища дозволялось только из действительных тогдашних названий московских улиц, площадей и переулков. Это называлось у нас «давать адреса». Делалось это открыто, то есть от прозванного не скрывался его «адрес», а объявлялся во всеуслышание и никогда за спиной.

Например, Н. Н. Златовратскому дан был сначала такой адрес: «Старые Триумфальные ворота», но потом переменили на «Патриаршие пруды» ‹…› Е. П. Гославский — за обычное безмолвие во время споров — «Большая Молчановка», а другой товарищ, Л. А. Хитрово, наоборот, за пристрастие к речам — «Самотека»; Горький ‹…› получил адрес знаменитой московской площади «Хитровка», покрытой ночлежками и притонами; Шаляпин был «Разгуляй». ‹…› Младший ‹…› Бунин, отчасти за свою худобу, отчасти за острословие, от которого иным

приходилось солоно, назывался «Живодерка», а кроткий Белоусов — «Пречистенка»; А. С. Серафимович за свою лысину получил адрес «Кудрино»; В. В. Вересаев — за нерушимость взглядов — «Каменный мост»; Чириков — за высокий лоб — «Лобное место»; А. И. Куприн — за пристрастие к лошадям и цирку — «Конная площадь», а только что начавшему тогда Л. Н. Андрееву дали адрес «Большой Ново-Проектированный переулок», но его это не удовлетворило, и он просил дать ему возможность переменить адрес, или, как у нас называлось, «переехать» в другое место, хоть на «Ваганьково кладбище» [52, 50].

Борис Константинович Зайцев:

На «Среде» держались просто, дружественно; дух товарищеской благожелательности преобладал. И тогда даже, когда вещь корили, это делалось необидно. Вообще же это были московские, приветливые и «добрые» вечера. Вечера не бурные по духовной напряженности, несколько провинциальные, но хорошие своим гуманитарным тоном, воздухом ясным, дружелюбным (иногда очень уж покойным). Входя, многие целовались; большинство было на «ты» (что особенно любил Андреев); давали друг другу прозвища, похлопывали по плечам, смеялись, острили и в конце концов, по стародавнему обычаю Москвы, обильно ужинали.

Можно сказать: Москва старинная, хлебосольная и благодушная. Можно сказать и так, что писателю молодому хотелось больше молодости, возбуждения и новизны. Все же свой, великорусский, мягкий и воспитывающий воздух «Среда» имела [23, 254–255].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Я знала, что писатели любили и ценили «Среду» за дружескую атмосферу, неизменно царившую в ней, и за ту искренность, с которой велись в ней беседы. Каждый высказывал свое мнение совершенно свободно, и даже вопрос хмурого Тимковского, часто задаваемый после прослушанного рассказа: «Собственно, зачем это написано?» — не обижал авторов [35, 287–288].

Борис Константинович Зайцев:

На «Средах» слушали чужие вещи и свои читали. Леонида Андреева, милого Сергея Глаголя я не стеснялся.

Но вот Бунин именно меня «стеснял». И тогда уже была в нем строгость и зоркость художника, острое чувство слова, острая ненависть к излишеству. А время, обстановка как раз

подталкивали писателя начинающего «запускать в небеса ананасом» (Белый). Но когда Бунин слушал, иные фразы застревали в горле [23, 279].

1917–1919. Окаянные дни

Иван Алексеевич Бунин. *«Окаянные дни»:*

Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17 года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на полный произвол судьбы — и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны — величайшая на земле страна. Еще на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами: дело было кончено, и кончено такой чепухой, которой еще не бывало, ибо власть над этими тремя тысячами верст, над вооруженной ордой, в которую превращалась многомиллионная армия, уже переходила в руки «комиссаров» из журналистов вроде Соболя, Иорданского. Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество.

Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу: здесь, в Петербурге, было как будто еще страшнее, чем в Москве, как будто еще больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика: извозчик тоже не знал, что ему делать, — везти или не везти, — и не знал, какую назначить цену.

— В Европейскую, — сказал я.

Он подумал и ответил наугад:

— Двадцать целковых.

Цена была по тем временам еще совершенно нелепая. Но я согласился, сел и поехал — и не узнал Петербурга.

В Москве жизни уже не было, хотя и шла со стороны новых властителей сумасшедшая по своей бестолковости и горячке имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. То же, но еще в превосходной степени, было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги, один за другим издавались воззвания, декреты, неистово работал знаменитый «прямой провод» — и кто только не кричал, не командовал тогда по этому проводу! — по Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками, грохотали переполненные грузовики, не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знаменами и музыкой… Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гулящей

прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами:

— Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит.

Я спросил:

— Так что же делать?

— Делать? — сказал он. — Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительства нету.

Я взглянул вокруг, на этот Петербург… «Правильно, шабаш». Но в глубине-то души я еще на что-то надеялся и в полное отсутствие правительства все-таки еще не совсем верил.

Не верить, однако, нельзя было.

Я в Петербурге почувствовал это особенно живо: в тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых, однако, никто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не переставая грызть и жевать подсолнухи, пока еще только поглядывая, до поры до времени помалкивая. А наследники носились и без умолку говорили, всячески к ней подлаживались, уверяли ее и самих себя, что это именно она, державная толпа, навсегда разбила «оковы» в своем «священном гневе», и все старались внушить и себе и ей, что на самом-то деле они ничуть не наследники, а так только — временные распорядители, будто бы ею же самой на то уполномоченные.

Я видел Марсово Поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гробы почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых! Комедию проделали с полным легкомыслием и, оскорбив скромных прах никому не ведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее дощатыми заборами, на

скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой. ‹…›

В мире была тогда Пасха, весна, и удивительная весна, даже в Петербурге стояли такие прекрасные дни, каких не запомнишь. А надо всеми моими тогдашними чувствами преобладала безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавловском соборе. Все было настежь — и крепостные ворота, и соборные двери. И всюду бродил праздный народ, посматривая и поплевывая семечками. Походил и я по собору, посмотрел на царские гробницы, земным поклоном простился с ними, а выйдя на паперть, долго стоял в оцепенении: вся безграничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом. Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне, последнее целование… [17, 98–103]

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

11 июня 1917. ‹…› Никаких законов — и все власть, все, за исключением, конечно, нас. Волю «свободной» России почему-то выражают только солдаты, мужики, рабочие. Почему, напр., нет совета дворянских, интеллигентск«их», обывательских депутатов? [54, 136]

Иван Алексеевич Бунин. *«Окаянные дни»:*

1 января (старого стиля) 1918. Москва. Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное. Даже наверное так.

А кругом нечто поразительное: почти все почему-то необыкновенно веселы, — кого ни встретишь на улице, просто сияние от лица исходит:

— Да полно вам, батенька! Через две-три недели самому же совестно будет…

Бодро с веселой нежностью (от сожаления ко мне, глупому) тиснет руку и бежит дальше. ‹…›

7 *января.* Был на заседании «Книгоиздательства писателей», — огромная новость: «Учредительное Собрание» разогнали! ‹…›

5 февраля. С первого февраля приказали быть новому стилю. Так что по-ихнему нынче уже восемнадцатое.

Вчера был на собрании «Среды». Много было «молодых». Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявший стоеросовой прямотой суждений, был в мягкой рубахе без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят

плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник. ‹…›

6 февраля. В газетах — о начавшемся наступлении немцев. Все говорят: «Ах, если бы!»

Ходили на Лубянку. Местами «митинги». Рыжий, в пальто с каракулевым круглым воротником, с рыжими кудрявыми бровями, с свежевыбритым лицом в пудре и с золотыми пломбами во рту, однообразно, точно читая, говорит о несправедливостях старого режима. Ему злобно возражает курносый господин с выпуклыми глазами. Женщины горячо и невпопад вмешиваются, перебивают спор (принципиальный, по выражению рыжего) частностями, торопливыми рассказами из своей личной жизни, долженствующими доказать, что творится черт знает что. Несколько солдат, видимо, ничего не понимают, но, как всегда, в чем-то (вернее, во всем) сомневаются, подозрительно покачивают головами.

Подошел мужик, старик с бледными вздутыми щеками и седой бородой клином, которую он, подойдя, любопытно всунул в толпу, воткнул между рукавов двух каких-то все время молчавших, только слушавших господ: стал внимательно слушать и себе, но тоже, видимо, ничего не понимая, ничему и никому не веря. Подошел высокий синеглазый рабочий и еще два солдата с подсолнухами в кулаках. Солдаты оба коротконоги, жуют и смотрят недоверчиво и мрачно. На лице рабочего играет злая и веселая улыбка, пренебрежение, стал возле толпы боком, делая вид, что он приостановился только на минуту, для забавы: мол, заранее знаю, что все говорят чепуху.

Дама поспешно жалуется, что она теперь без куска хлеба, имела раньше школу, а теперь всех учениц распустила, так как их нечем кормить:

— Кому же от большевиков стало лучше? Всем стало хуже и первым делом нам же, народу!

Перебивая ее, наивно вмешалась какая-то намазанная сучка, стала говорить, что вот-вот немцы придут и всем придется расплачиваться за то, что натворили.

— Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем, — холодно сказал рабочий и пошел прочь.

Солдаты подтвердили: «Вот это верно!» — и тоже отошли. ‹…›

9 февраля. ‹…› Утром ездил в город.

На Страстной толпа.

Подошел, послушал. Дама с муфтой на руке, баба со вздернутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается.

— Это для меня вовсе не камень, — поспешно говорит

дама, — этот монастырь для меня священный храм, а вы стараетесь доказать…

— Мне нечего стараться, — перебивает баба нагло, — для тебя он освящен, а для нас камень и камень! Знаем! Видали во Владимире! Взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог. Ну, и молись ему сама.

— После этого я с вами и говорить не желаю.

— И не говори!

Желтозубый старик с седой щетиной на щеках спорит с рабочим:

— У вас, конечно, ничего теперь не осталось, ни Бога, ни совести, — говорит старик.

— Да, не осталось.

— Вы вон пятого мирных людей расстреливали.

— Ишь ты! А как *вы* триста лет расстреливали?

На Тверской бледный старик генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает, стоит робко, скромно, как нищий…

Как потрясающе быстро все сдались, пали духом! ‹…›

10 февраля. ‹…› «Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно…» Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно! Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное: наша «пристрастность» будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна «страсть» только «революционного народа»? А мы-то что ж, не люди, что ли? ‹…›

16 февраля. Ночью. Простясь с Чириковым, встретил на Поварской мальчишку солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал:

— Деспот, сукин сын! ‹…›

20 февраля. ‹…› Встретили М. Говорит, что только что слышал, будто Кремль минируют, хотят взорвать при приходе немцев. Я как раз смотрел в это время на удивительное зеленое небо над Кремлем, на старое золото его древних куполов… Великие князья, терема, Спас-на-Бору, Архангельский собор — до чего все родное, кровное и только теперь как следует почувствованное, понятое! Взорвать? Все может быть. Теперь все возможно. ‹…›

22 февраля. ‹…› Никитская без огней, могильно-темна, черные дома высятся в темно-зеленом небе, кажутся очень велики, выделяются как-то по-новому. Прохожих почти нет, а кто идет, так почти бегом.

Что средние века! Тогда по крайней мере все вооружены

были, дома были почти неприступны…

На углу Поварской и Мерзляковского два солдата с ружьями. Стража или грабители? И то и другое. ‹…›

24 февраля. На днях купил фунт табаку и, чтобы он не сох, повесил на веревочке между рамами, между фортками. Окно во двор. Нынче в шесть утра что-то бах в стекло. Вскочил и вижу: на полу у меня камень, стекла пробиты, табаку нет, а от окна кто-то убегает. — Везде грабеж! ‹…›

2 марта. «Развратник, пьяница Распутин, злой гений России». Конечно, хорош был мужичок. Ну, а вы-то, не вылезавшие из «Медведей» и «Бродячих Собак»?

Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» — сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал «Гавриилиаду» (юношеская поэма А. С. Пушкина. — *Сост.*), произнося все, что заменено многоточиями, полностью. Алешка осмелился предложить читать и мне, — большой гонорар, говорит, дадим.

«Вон из Москвы!» А жалко. Днем она теперь удивительно мерзка. Погода мокрая, все мокро, грязно, на тротуарах и на мостовой ямы, ухабистый лед, про толпу же и говорить нечего. А вечером, ночью пусто, небо от редких фонарей чернеет тускло, угрюмо. Но вот тихий переулок, совсем темный, идешь — и вдруг видишь открытые ворота, за ними, в глубине двора, прекрасный силуэт старинного дома, мягко темнеющий на ночном небе, которое тут совсем другое, чем над улицей, а перед домом столетнее дерево, черный узор его громадного раскидистого шатра… ‹…›

Читал о стоящих на дне моря трупах, — убитые, утопленные офицеры. А тут «Музыкальная табакерка». ‹…›

7 марта. В городе говорят:

— Они решили перерезать всех поголовно, всех до семилетнего возраста, чтобы потом ни одна душа не помнила нашего времени.

Спрашиваю дворника:

— Как думаешь, правда?

Вздыхает:

— Все может быть, все может быть.

— И ужели народ допустит?

— Допустит, дорогой барин, еще как допустит-то! Да и что ж

с ними сделаешь? Татары, говорят, двести лет нами владали, а ведь тогда разве такой жидкий народ был?

Шли ночью по Тверскому бульвару: горестно и низко клонит голову Пушкин под облачным с просветами небом, точно опять говорит: «Боже, как грустна моя Россия!»

И ни души кругом, только изредка солдаты и бляди. ‹…›

23 марта. Вся Лубянская площадь блестит на солнце. Жидкая грязь брызжет из-под колес. И Азия, Азия — солдаты, мальчишки, торг пряниками, халвой, маковыми плитками, папиросами. Восточный крик, говор — и какие все мерзкие даже и по цвету лица, желтые и мышиные волосы! У солдат и рабочих, то и дело грохочущих на грузовиках, морды торжествующие. ‹…›

24 марта. ‹…› Купил книгу о большевиках, изданную «Задругой». Страшная галерея каторжников!

12 апреля (старого стиля) 1919. Одесса. Двенадцать лет тому назад мы с В. приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор! Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город… Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье… ‹…›

15 апреля. Против наших окон стоит босяк с винтовкой на веревке через плечо, — «красный милиционер». И вся улица трепещет его так, как не трепетала бы прежде при виде тысячи самых свирепых городовых. Вообще, что же это такое случилось? Пришло человек шестьсот каких-то «григорьевцев», кривоногих мальчишек во главе с кучкой каторжников и жуликов, кои и взяли в полон миллионный, богатейший город! Все помертвели от страха, прижукнулись. Где, например, все те, которые так громили месяц тому назад добровольцев? ‹…›

19 апреля. Сейчас все дома темны, в темноте весь город, кроме тех мест, где эти разбойничьи притоны, — там пылают люстры, слышны балалайки, видны стены, увешанные черными знаменами, на которых белые черепа с надписями: «Смерть, смерть буржуям!»

Пишу при вонючей кухонной лампочке, дожигаю остатки керосину. Как больно, как оскорбительно. Каприйские мои приятели, Луначарские и Горькие, блюстители русской культуры и искусства, приходившие в священный гнев при каждом предостережении какой-нибудь «Новой Жизни» со стороны «царских опричников», что бы вы сделали со мной теперь, захватив меня за этим преступным писанием при вонючем каганце, или на том, как я буду воровски засовывать это писание в щели карниза? ‹…›

21 апреля. ‹…› «От победы к победе — новые успехи доблестной красной армии. Расстрел 26 черносотенцев в Одессе…» ‹…›

Давеча прочитал про этот расстрел двадцати шести как-то тупо.

Сейчас в каком-то столбняке. Да, двадцать шесть, и ведь не когда-нибудь, а вчера, у нас, возле меня. Как забыть, как это простить русскому народу? А все простится, все забудется. Впрочем, и я — *только стараюсь* ужасаться, а по-настоящему не могу, настоящей восприимчивости все-таки не хватает. В этом и весь адский секрет большевиков — убить восприимчивость. Люди живут мерой, отмерена им и восприимчивость, воображение, — перешагни же меру. Это — как цены на хлеб, на говядину. «Что? Три целковых фунт?!» А назначь тысячу — и конец изумлению, крику, столбняк, бесчувственность. «Как? Семь повешенных?!» — «Нет, милый, не семь, а семьсот!» — И уж тут непременно столбняк — семерых-то висящих еще можно представить себе, а попробуй-ка семьсот, даже семьдесят! ‹…›

22 апреля. По вечерам жутко мистически. Еще светло, а часы показывают что-то нелепое, ночное. Фонарей не зажигают. Но на всяких «правительственных» учреждениях, на чрезвычайках, на театрах и клубах «имени Троцкого», «имени Свердлова», «имени Ленина» прозрачно горят, как какие-то медузы, стеклянные розовые звезды. И по странно пустым, еще светлым улицам, на автомобилях, на лихачах, — очень часто с разряженными девками, — мчится в эти клубы и театры (глядеть на своих крепостных актеров) всякая красная аристократия: матросы с огромными браунингами на поясе, карманные воры, уголовные злодеи и какие-то бритые щеголи во френчах, в развратнейших галифе, в франтовских сапогах непременно при шпорах, все с золотыми зубами и большими, темными, кокаинистическими глазами… Но жутко и днем. Весь огромный город не живет, сидит по домам, выходит на улицу мало. Город чувствует себя завоеванным, и завоеванным как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгует с лотков, плюет семечками, «кроет матом». По Дерибасовской или движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какого-нибудь жулика, выдаваемого непременно за «павшего борца» (лежит в красном гробу, а впереди оркестры и сотни красных и черных знамен), или чернеют кучки играющих на гармоньях, пляшущих и вскрикивающих:

Эй, яблочко,

Куда котишься!

Вообще, как только город становится «красным», тотчас резко меняется толпа, наполняющая улицы. Совершается некий подбор лиц, улица преображается.

Как потрясал меня этот подбор в Москве! Из-за этого больше всего и уехал оттуда.

Теперь то же самое в Одессе — с самого того праздничного дня, когда в город вступила «революционно-народная армия», и когда даже на извозчичьих лошадях как жар горели красные банты и ленты.

На этих лицах прежде всего нет обыденности, простоты. Все они почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмо-холуйским вызовом всему и всем.

И вот уже третий год идет нечто чудовищное. Третий год только низость, только грязь, только зверство. Ну, хоть бы на смех, на потеху что-нибудь уж не то что хорошее, а просто обыкновенное, что-нибудь просто другое! [17, 55–56, 60, 63–64, 67, 68, 69, 72–73, 77, 78,79, 81, 85–86, 92, 95]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

27 июня / 10 июля 1919. Вечером на бульваре, но никого из знакомых не встречаем. Проходим по всему бульвару. Останавливаемся у лестницы под памятником Ришелье, пощаженным большевиками. Неподалеку от нас видим двух барышень, очень кокетливо одетых, и молодого человека. У всех на руках повязка с буквами «Ч. К.». Стоят с оживленными лицами, чему-то смеются… Взглядываю на Яна, он, побледнев, как полотно, с искаженным лицом, говорит:

— Вот от кого зависит наша судьба. И как им не стыдно выходить на люди со своим клеймом!

Я вглядываюсь в их лица, стараясь запомнить: барышни брюнетки, довольно хорошенькие, с черными глазами, худенькие, среднего роста — барышни как барышни, типичные одесситки. Молодой человек с самым ординарным лицом во френче, с фатовским пошибом, со стэком в руке.

Стараюсь поскорее увести Яна, хотя и хочется последить за этой тройкой. Даю слово больше сюда не приходить, так как он очень неосторожен и, кроме того, вижу, что подобное зрелище ему доставляет невыносимое страдание. ‹…›

Всю дорогу Ян не может успокоиться. Он даже как-то сразу осунулся. И все повторяет:

— Нет, это иное племя. Раньше палачи стыдились своего

ремесла, жили уединенно, стараясь не попадаться на глаза людям, а тут не стесняются не только выходить на людное место, а даже нацепляют клеймо на себя, и это в двадцать лет!

Теперь гулять придется по уединенным улицам [54, 226–227].

Валентин Петрович Катаев:

Почти каждый день, в любую погоду Бунин несколько часов подряд ходил по городу. Именно ходил, а не гулял, быстрым легким шагом, в коротком до колен демисезонном столичном пальтишке, с тростью, в профессорской ермолке вместо шляпы — стремительный, напряженно внимательный, сухощавый. ‹…›

Я наблюдал Бунина на солдатской барахолке, где он стоял посреди толпы с записной книжкой в руках, невозмутимо и неторопливо записывая своей четкой клинописью частушки, которые выкрикивали два братишки — черноморские военморы, лихо отплясывая, положив руки друг другу на плечо и мотая широкими «клешами», — модное «яблочко» или «Дерибасовскую». ‹…›

Помню доводящий до обморока, тошнотворный запах кунжутного масла, чеснока, едкого человеческого пота.

Но Бунин не обращал на это никакого внимания и спокойно работал, покрывая своими записями страничку за страничкой.

Самое поразительное было то, что на него решительно никто не обращал внимания, несмотря на его профессорскую внешность, которая никак не сливалась с базарной толпой, а может быть, именно вследствие этой внешности: кто знает, за кого его принимали? Мне даже тогда пришла в голову мысль: не принимают ли его здесь — этого худого костлявого барина в чудацкой шапочке, с автоматической ручкой в руке — за какого-нибудь базарного графолога, фокусника, мага или предсказателя судьбы, который продает листки со «счастьем», что было вполне в духе времени [26, 79–80].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

30 июня / 13 июля 1919. Входят трое более или менее интеллигентных людей, а за ними, стуча берданками, вваливаются кривоногие мордастые красноармейцы. Ян, в очках, с необыкновенно свирепым видом, неожиданно для меня заявляет:

— У меня вы обыска не имеете права делать! Вот мой паспорт. Я вышел из возраста, чтобы воевать.

— А запасы, может быть, у вас есть, — вежливо спрашивает тот молодой человек, который возмущался хозяином.

— Запасов, к сожалению, не имею, — отрывисто и зло говорит Ян.

— А оружие? — еще вежливее спрашивает предводитель шайки.

— Не имею. Впрочем, дело ваше, делайте [обыск], — он кидается зажигать электричество.

При свете я испугалась его бледного, грозного лица. Ну, будет дело, зачем он их раздражает, — мелькнуло у меня в голове.

Но солдаты стали пятиться, а молодой человек поклонился со словами:

— Извиняюсь.

И все вышли тихо один за другим.

Мы долго сидели молча, не в силах произнести ни слова [54, 229].

Валентин Петрович Катаев:

Он был легок на подъем и любил скитаться по разным городам и странам. Однако в Одессе он застрял: не хотел сделаться эмигрантом, отрезанным ломтем; упрямо надеялся на чудо — на конец большевиков ‹…› и на возвращение в Москву под звон кремлевских колоколов. В какую? Вряд ли он это ясно представлял. В прежнюю, привычную Москву? Вероятно, поэтому он остался в Одессе, когда в девятнадцатом году, весной, она была занята частями Красной Армии и на несколько месяцев установилась Советская власть.

К этому времени Бунин настолько скомпроментировал себя контрреволюционными взглядами, которых, кстати, не скрывал, что его могли без всяких разговоров расстрелять, и наверное бы расстреляли, если бы не его старший друг одесский художник Нилус, живший в том же доме, где жили и Бунины, на чердаке, описанном в «Снах Чанга», не на простом чердаке, а на чердаке «теплом, благоухающем сигарой, устланном коврами, уставленном старинной мебелью, увешанном картинами и парчовыми тканями…»

Так вот, если бы этот самый Нилус не проявил бешеной энергии — телеграфировал в Москву Луначарскому, чуть ли не на коленях умолял председателя Одесского ревкома, — то еще неизвестно, чем бы кончилось дело.

Так или иначе, Нилус получил специальную, так называемую «охранную грамоту» на жизнь, имущество и личную неприкосновенность академика Бунина, которую и прикололи кнопками к лаковой, богатой двери особняка на Княжеской улице.

‹…› К особняку подошел отряд вооруженных матросов и солдат особого отдела. Увидев в окно синие воротники и

оранжевые распахнутые полушубки, Вера Николаевна бесшумно сползла вдоль стены вниз и потеряла сознание, а Бунин, резко стуча каблуками по натертому паркету, подошел к дверям, остановился на пороге как вкопанный, странно откинув назад вытянутые руки со сжатыми изо всех сил кулаками, и судороги пробежали по его побелевшему лицу с трясущейся бородкой и страшными глазами.

— Если хоть кто-нибудь осмелится перешагнуть порог моего дома… — не закричал, а как-то ужасно проскрежетал он, играя челюстями и обнажив желтоватые, крепкие, острые зубы, — то первому человеку я собственными зубами перегрызу горло, и пусть меня потом убивают! Я не хочу больше жить! ‹…›

Но все обошлось благополучно: особисты прочитали охранную грамоту с советской печатью и подписью, очень удивились, даже кто-то негромко матюкнулся по адресу ревкома, однако ‹…› молча удалились по притихшей, безлюдной улице [26, 90–91].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

27 июля 1919. Гулять по улицам тоже противно. ‹…›

— Я не могу видеть их. Мне противная вся плоть их, человечина, как-то вся выступившая наружу, — говорит Ян теперь почти всегда, когда мы идем по людным улицам [54, 244].

1920. Исход

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

24 января / 6 февраля 1920 (пятница). В четыре часа дня мы тронулись в путь. Простившись с хозяином нашим, Ев. Ос. Буковецким, с которым мы прожили полтора года ‹…› мы вышли через парадные двери, давно не отпиравшиеся, и навалили чемоданы на маленькую тележку, которую вез очень старенький, пьяненький человек. ‹…›

По улицам еще двигался народ, прошли английские войска. ‹…› В четыре же часа город был пустынен и, когда мы шествовали в сопровождении нашей горничной ‹…› и очень милого и талантливого писателя-добровольца, который не захотел эвакуироваться, говоря, что устал «бежать», — то нам попадались навстречу лишь тачки с вещами — люди переезжали с квартиры на квартиру, чтобы замести следы своей преступной деятельности при большевиках, ибо самые страшные, самые яростные большевики были те, кто, притаясь, жили при добровольцах, питая злобу и копя месть к тем, кто на их глазах был правомочен.

На душе жутко. ‹…› На Елизаветинской мы позвонили Н. П. Кондакову, с которым сговорились идти вместе на пароход. Но их уже не было. Мы стали торопиться, погонять нашего старичка, помогать ему тащить нашу поклажу. Чем ближе мы подходили к гавани, тем чаще нам попадались подводы с сундуками, чемоданами, корзинами. Мы еще не отдаем себе отчета, что это последние часы возможного спокойного ухода из города, а потому не беспокоимся за друзей, которые должны грузиться завтра, послезавтра. ‹…›

Отыскали наш пароход, «Спарту», маленький, не внушивший доверия. ‹…› На пароход еще не пускают. Простояли ‹…› целый час на воздухе, ноги замерзли.

Наконец, мы на борту. Наши провожатые втаскивают чемоданы. Ян в ужасе вспоминает, что забыл деньги, запрятанные в газеты. К счастью, газеты он захватил с собой и в них, правда, лежало несколько тысяч думскими.

Кондаков и Ян получили крохотную каютку. Нам же, дамам, сказали, что оставили места в одной из дамских кают, но когда мы осмотрелись, оказалось, что места везде уже заняты. ‹…›

Ян попросил разрешения у Кондакова спать мне с ним на верхней койке, Н‹икодим› П‹авлович› разрешил. Будет, конечно, очень неудобно, но Ян боится, что в общей зале я еще заражусь. Страх вши очень силен. Устроившись в каюте, я поднялась в рубку. Там сидят недовольные французы, они возмущаются, что

на французском пароходе получили каюты русские.

Когда совсем стемнело, раздалась канонада. К ружейной стрельбе мы привыкли, но ведь это пушки? «Знатоки» определили, что стреляют с Николаевской дороги. Неужели это большевики? ‹…› Благодарю Бога, что мы погрузились сегодня. Что будет завтра — неизвестно. А многим назначено грузиться завтра, правда утром. Может быть, и успеют. ‹…›

25 янв. / 7 февр. Пережили самое тяжелое утро в жизни. Из города доносилась все время стрельба. Прибегали люди без вещей с испуганными лицами и вскакивали на пароход, у некоторых были куплены места, у других не было ничего, они даже и не думали «бежать», но поддались панике, которая царит в городе со вчерашнего вечера. ‹…›

Все время к пароходу подбегали добровольцы с ужасом в глазах, моля, чтобы их взяли на борт. Капитан не отказывает, пока может. Наконец, пароход так переполнен, что нужно говорить: «Нет». Это ужасная минута — бегут обреченные люди, молят о месте и им отказывают, они бегут дальше, пароходов много. ‹…›

Полдень, уже жутко оставаться в гавани, но мы не отчаливаем, все ждем французского консула Вотье. А снаряды уже рвутся вокруг. Стрельба в городе все усиливается и усиливается. Публику уже выгнали с палубы. Все лихорадочно ждут консула, а его все нет и нет. Наконец, в час дня он приезжает на пароход. Сообщают, что английский консул бежал по Ришельевской лестнице в порт. И вот мы отшвартовываемся. Народу такая масса, что повернуться невозможно. Рассказов без конца. Многие бросили увязанные сундуки, только чтобы спасти свою жизнь [54, 279–281].

Иван Алексеевич Бунин:

На горе в городе был в этот промозглый зимний день тот роковой промежуток в борьбе, то безвластие, та зловещая безлюдность, когда отступают уже последние защитники и убегают последние из убегающих обывателей… Город пустел все страшнее, все безнадежнее для оставшихся в нем и мучающихся еще неполной разрешенностью свой судьбы. По окраинам, возле вокзала и на совершенно вымерших улицах возле почты и государственного банка, где на мостовых уже лежали убитые, то и дело поднимался треск, град винтовок или спешно, дробно строчил пулемет.

К вечеру из-за северной заставы началась орудийная пальба, бодро раздавался тяжкий, глухой стук, от которого вздрагивала земля, за ним великолепный, с победоносной мощью режущий

воздух и звенящий звук снаряда и, наконец, громовой разрыв, оглушающий весь город. Потом внезапно пошла частая и беспорядочная оружейная стрельба на спусках в порт и в самом порту, все приближаясь к «Патрасу», под французским флагом стоявшему у набережной в Карантинной гавани. Откуда-то донесся быстро бегущий, тревожно и печально требующий дороги рожок кареты Скорой помощи… Стало жутко и на «Патрасе» — то страшное, что совершилось на горе, доходило и до него. «Что же мы стоим? — послышались голоса в толпе, наполнявшей пароход. — С ума сошли, что ли, французы? Нас не выпустят, нас всех перережут!» И все стали врать напропалую, стараясь зачем-то еще более напугать и себя и других: угля, говорят, нет, команда, говорят, бунтует, матросы красный флаг хотят выкинуть… Между тем уже темнело.

Но вот, в пятом часу, выскочил наконец из-за старого здания таможни и подлетел к пароходу крытый автомобиль — и у всех вырвался вздох облегчения: консул приехал, значит, слава богу, сейчас отвалим. Консул, с портфелем под мышкой, выпрыгнул из автомобиля и пробежал по сходням, за ним быстро прошел офицер в желтых крагах и в короткой волчьей шубке мехом наружу, нарочито грубого и воинственного вида, и тотчас же загремела лебедка, и к автомобилю стала спускаться петля каната. Все с жадным любопытством столпились к борту, уже не обращая внимания на стрельбу где-то совсем близко, автомобиль, охваченный петлей, покосился, отделился от земли и беспомощно поплыл вверх с криво повисшими, похожими на поджатые лапы колесами… Два часовых, два голубых солдатика в железных касках, стояли с карабинами на плечо возле сходней. Вдруг откуда-то появился перед ними яростно запыхавшийся господин в бобровой шапке, в длинном пальто с бобровым воротником. На руках у него спокойно сидела прелестная синеглазая девочка. Господин, заметно было, повидал виды. Он был замучен, он был так худ, что пальто его, забрызганное грязью, с воротником точно зализанным, висело как на вешалке. А девочка была полненькая, хорошо и тепло одета, в белом вязаном капоре. Господин кинулся к сходням. Солдаты было двинулись к нему, но он так неожиданно и так свирепо погрозил им пальцем, что они опешили, и он неловко вбежал на пароход.

Я стоял на рубке над кают-компанией и с бессмысленной пристальностью следил за ним. Потом так же тупо стал смотреть на туманившийся на горе город, на гавань. Темнело, орудийная, а за нею и ружейная стрельба смолкла, и в этой тишине и уже спокойно надвигающихся сумерках чувствовалось, что дело уже сделано, что город сдался… В городе не было ни одного огня,

порт был пуст, «Патрас» уходил последним. За рейдом терялась в сумрачной зимней мгле пустыня голых степных берегов. Вскоре пошел мокрый снег, и я, насквозь промерзнув за долгое стояние на рубке, побежал вниз. Мы уже двигались, все плыло подо мною, набережная косяком отходила прочь, туманно-темная городская гора валилась назад… Потом шумно заклубилась вода из-под кормы, мы круто обогнули мол с мертвым, темным маяком, выровнялись и пошли полним ходом… Прощай, Россия, бодро сказал я себе, сбегая по трапам. ‹…›

Под лестницей была особенно гнусная теснота, образовались две нетерпеливых очереди — одна возле нужников, в двери которых ожидающие поминутно стучали, и другая возле лакеев, раздававших красное вино, наливавших его из бочки в бутылки, кружки и чайники, с которыми толпились беженцы. Вино было даровое, и потому воспользоваться им хотелось всем, даже и непьющим. Я скорее многих других пробился к лакеям, получил целый литр и, возвратясь в столовую и пристроившись к уголку стола, стал медленно пить и курить.

Только что разнесся слух, что перед самым нашим отходом из порта было получено на «Патрасе» страшное радио: два парохода, тоже переполненные такими же, как мы, и вышедшие раньше вас на сутки, потерпели крушение из-за снежной бури — один у самого Босфора, другой у болгарских берегов. И новая угроза повисла над нами, новая неопределенность — дойдем ли мы до Константинополя, и если дойдем, то когда? Ни курить, ни пить мне не хотелось; сигара была ужасная, вино холодное, лиловое. Но я сидел, пил и курил. Уже началось то напряженное ожидание, которым живешь в море при опасных переходах. «Патрас» был стар, перегружен, погода разыгрывалась с каждой минутой все круче… Большинство утешало себя тем, что мы идем быстро, уверенно. Но я, по своей морской опытности, хорошо знал, что быстрота эта только кажущаяся. Это не мы увеличивали ход, это росло волнение. ‹…›

Вскоре стол опустел. Большинство стонало, томилось, — с надрывом, с молящими криками извергало из себя всю душу, валялось по диванам, по полу или поспешно, падая и спотыкаясь, бежало вон из столовой. То тут, то там кого-нибудь безобразно хлестало, а выбегающие махали дверями, и сырой холод стал мешаться с кислым зловонием рвоты. Уже нельзя было ни ходить, ни стоять, убегать надо было опрометью, сидеть — упираясь спиной в кресло, в стену, а ногами в стол, в чемоданы. Все так же казалось, что размахивающийся и вправо, и влево, и вверх, и вниз пароход идет с бешеной поспешностью, внутри его грохотало уже неистово, и перерывы, отдыхи в этом грохоте казались

мгновениями счастья… А наверху был сущий ад. Я допил вино, докурил сигару и, падая во все стороны, побрел в рубку.

Я одолел лестницу и пробовал одолеть дверь наружу, выглянуть — ледяной ветер перехватывал дыхание, резал глаза, слепил снегом, с звериной яростью валил назад… Обмерзлые, побелевшие мачты и снасти ревели и свистали с остервенелой тоской и удалью, студенистые холмы волн перекатывались через палубу и опять, опять росли из-за борта и страшно светились взмыленной пеной в черноте ночи и моря… Крепко прохваченный холодом и морской свежестью, я насилу добрался назад до столовой, потом до своей каюты, по некоторым причинам предоставленной в мое распоряжение. Там было темно и все скрипело, возилось, точно что-то живое, борющееся. Проклятый корабельный пол, косой, предательский, зыбко уходил из-под ног. И, когда он уходил особенно глубоко, в стену особенно тяжко ударяла громада воды, все старавшаяся одним махом сокрушить и захлестнуть «Патрас», но «Патрас» только глубоко нырял под этим ударом и снова пружинил наружу ‹…›.

И не раздеваясь, — раздеться никак нельзя, того гляди, расшибет об стену, об умывальник, да и слишком было холодно, — я нащупал нижнюю койку и, улучив удобную минуту, ловко повалился на нее. Все ходило, качалось, дурманило. Бухало в задраенный иллюминатор, с шумом стекало и бурлило — противно, как в каком-то чудовищном чреве. И, понемногу пьянея, отдаваясь все безвольнее в полную власть всего этого, я стал то задремывать, то внезапно просыпаться от особенно бешеных размахов и хвататься за койку, чтобы не вылететь из нее. Труба в рукомойнике, его сточная дыра гудела, гудела — и вдруг начинала булькать, реветь и захлебываться… Ах, встать бы, заткнуть чем-нибудь это анафемское горло! Но не было воли даже приподняться, как ни готовился я вот-вот решиться на это. И потекли часы за часами, и стало казаться, что уже никогда не минет эта мука качания, эта ночь, этот мрак, завывание, шум, плеск, шипение и все новые и новые удары то и дело налетающих откуда-то из страшной водной беспредельности волн…

В полусне, в забытьи я что-то думал, что-то вспоминал… Пришло в голову и стало повторяться, баюкать:

Гром и шум, корабль качает,
Море Черное шумит…

— Как дальше? — в полусне спрашивал я себя. — Ах да!

Снится мне — я свеж и молод…

От зари роскошный холод
Проникает в сад…

Как все это далеко и ненужно теперь! Так только, грустно немного, жаль себя и еще чего-то, а за всем тем — бог с ним! И опять повторялись стихи и опять путались, опять клонило в сон, в дурман, и опять все лезло куда-то вверх, скрипело, боролось, — и все лишь затем, чтобы опять неожиданно разрешиться срывом, а за ним новым пружинным подъемом, и новым шипением бурлящей, стекающей воды, и пахучим холодом завывающего ветра, и клокочущим ревом захлебывающегося умывальника… Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило: да, так вот оно что — я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России — конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине! Только как же это я не понимал, не понял этого раньше?[11]

Грасский дневник

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

1/14 янв. 1922. Да, вот мы и освободились от всего — от родины, дома, имущества… Как нельзя более идет это нам и мне в частности! [55, 60]

Галина Николаевна Кузнецова:

Бунин всю свою жизнь жил жизнью не оседлой, а скитальческой. В России у него не было своего дома, он гостил то у родных в деревне, то жил в Москве — и всегда в гостинице, — то уезжал в странствия по всему миру. Поселившись окончательно во Франции, Бунин и там продолжал жить по-прежнему, часть года в Париже, часть на юге в Провансе, который любил горячей любовью. В городе позволял он себе жить весьма рассеянной жизнью, беспорядочно ел и пил, превращал день в ночь и ночь в день, но стоило ему приехать в деревню, как все менялось. В простом, медленно разрушавшемся провансальском доме на горе над Грассом, бедно обставленном, с трещинами в шероховатых желтых стенах, но с дивным видом с узкой площадки, похожей на палубу океанского парохода, откуда видна была вся окрестность на много километров вокруг, с цепью Эстереля и морем на горизонте, он, вскоре по приезде, начинал готовиться к работе.

Подобно буддийским монахам, йогам, всем вообще людям, идущим на некий духовный подвиг, он приступал к этой жизни, начиная постепенно «очищать» себя. Старался все более умеренно есть, пить, рано ложился, помногу каждый день ходил, во время же писания, в самые горячие рабочие дни, изгонял со своего стола даже легкое местное вино и часто ел только к вечеру. Легкий, сухой, напряженный, солнечным июньским утром быстро проходил в кабинет, неся с собой чашечку крепкого черного кофе, которую часто не допивал, погрузившись в работу. По спешному звуку зажигаемой спички в столовой рядом можно было слышать, как он то и дело зажигает папиросу, которую тут же в увлеченье забывает… [6, 223]

Леонид Федорович Зуров *(1902–1971), писатель, этнограф, жил с Буниными с 1929 г.:*

В Грассе Бунины вначале снимали виллу (а не дом) с прекрасным садом (оливковые деревья, пальмы, кедры, приморские сосны, агавы) «Mont-Fleuri». На этой вилле у них гостили литераторы, долго жили Шмелевы. Своей виллы у Ивана

Алексеевича никогда не было. «Mont-Fleuri» принадлежала мэру города Грасса Рукье. Ему принадлежала и соседняя вилла (расположенная выше, на склоне тех же альпийских предгорий) «Бельведер». Ивану Алексеевичу «Бельведер» особенно полюбился. Место более сухое, из окон видны деревни, городки на побережье, Эстерель, Средиземное море.

Во время войны Бунины поселились на вилле «Jeannette», построенной высоко на крутом каменистом обрыве, под которым проходит дорога Наполеона, ведущая на Гренобль. Там мы пережили итальянскую и немецкую оккупацию. Голодали [6, 225–226].

Николай Яковлевич Рощин:

С 1923 года, лишь на зимние месяцы выезжая в Париж, здесь живет Ив. Ал. Бунин. ‹…› Сюда, к старому мирному дому крепкой провансальской стройки, приходят многочисленные интервьюеры, переводчики, представители отечественной и иностранной печати. ‹…›

С. В. Рахманинов, академик М. И. Ростовцев, И. С. Шмелев, М. А. Алданов, покойный С. С. Юшкевич, С. Л. Поляков-Литовцев, И. И. Бунаков [Фондаминский], С. В. Яблоновский, А. В. Неклюдов (быв. посол в Испании) — вот неполный список русских «имен», о которых могут рассказать стены старого французского дома. ‹…›

В «Монфлери», где до переезда в «Бельведер» жили Бунины, написаны «Митина любовь», книга Шмелева ««Солнце мертвых». Бунаков работает над своими «Путями России», проф. Кульман писал свои критические очерки. Писал здесь М. И. Ростовцев. Работает поэтесса Г. Н. Кузнецова. Писала свои «портреты» писательница Ельцова, сестра философа Л. М. Лопатина.

Милый «Бельведер»! Там ласковое вечное солнце, простор, в солнечном тепле тихо дремлют ветры и ласково плещет у зеленого берега море. Высота, ширь, необъятность. И — осколок другого мира, русский говор и смех, кусочек русского царства в чужой и волшебной рамке… [40, 172–173]

Антонин Петрович Ладинский:

Грасс — сонный городок в Провансе, в котором много парфюмерных фабрик и вилл с опущенными жалюзи. ‹…› Здесь Бунин написал многие свои книги, среди чудесных южных пейзажей. Кто бывал в Крыму, тот легко может представить себе этот мир. Очень много солнца, безоблачное небо, голубоватые горы на горизонте, а на соседних холмах древние, пурпурные к осени, виноградники, розоватые дома с голубыми ставнями под

красной черепицей и у круглого каменного колодца серебристые оливы. Целый день поют в этом зное цикады, а по вечерам особенно сильно пахнет лавандой, мятой, пиниями и еще какими-то травами и злаками [36, 219].

Николай Яковлевич Рощин:

С каменной сухостью шуршат жесткие, широко изогнутые перистые листья пальм; свившаяся в длинные трубки темная кора гигантского эвкалипта звонко бьет о голый желтый ствол; под тутовым деревом стынут широкие маслянистые сине-черные пятна; непрерывно трепещет тускло-платиновая мелкая зелень оливок.

Бурая черепичная кровля бунинской дачи глубоко внизу. Пещерно крепкие дома древнего провансальского городка спускаются к долине, сплошь занятой плантациями удушающе-пряного жасмина, вдали вдоль залива раскинулись белостенные Канны и как-то противоестественно высоко, страшно, тупо и мощно поднялось к небу море. Справа синеют и уже переходят к сиреневым тонам мягкие увалы Эстереля, слева вонзается в море Антибский мыс. Если подняться выше, увидишь Ниццу, Монако, Ментону и пологий итальянский берег, к вечеру волшебно играющий огнями.

Какая ослепительная, уже преизбыточная, чрезмерная — и вместе с тем гнетущая, бездушная, бесчеловечная красота! [40, 169]

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова. *Из письма А. Бабореко. 15 января 1967 г.:*

Иван Алексеевич называл Грасс «пустыней». Любил и наслаждался он природой и много писал стихов здесь — но, кроме природы — восходов, огненных закатов, ослиных тропинок, заброшенных ферм, с кипарисами и цветущим розовым миндалем, — здесь безлюдие — истинная «пустыня», — а без людей Иван Алексеевич ужасно скучал. Поэтому и жили, подолгу гостили, и просто жили с ним и в Бельведере — и позже на «Villa Jeannette» всякий литературный люд… [6]

Галина Николаевна Кузнецова:

Вилла Бельведер, стоявшая высоко на стене горы, подымавшейся над Грассом, была старым провансальским домом с трещинами в желтоватых стенах, с зелеными створчатыми ставнями по обе стороны высоких окон. Ставни эти с грохотом и скрипом распахивала по утрам стремительная рука И. А., и сам он быстро сбегал по лестнице своей легкой, почти юношеской

походкой. Площадка сада, куда он выходил утром взглянуть на Грасс внизу, на далекое море, то синим дымом вставшее на горизонте, то пролегавшее на нем чистой бирюзовой струей, висела высоко над волнами оливковых садов, одевавших гору, и была чем-то похожа на палубу корабля. На сетках проволочной изгороди коврами висели яркие июньские розы, в креслах под пальмой — невысокой, но чудесно-полной со своими круто изгибавшимися, темно-блестящими «вайями», как любил писать И. А., — было особенно хорошо сидеть по утрам с книгой в ожидании почтальона или лежать с закрытыми глазами, чувствуя горячую руку солнца на своем лице. Но в креслах этих по утрам почти никогда никто не сидел. Жизнь на вилле Бельведер текла по одному и тому же образцу. И. А. приезжал сюда с тем, чтобы, стряхнув с себя усталость и пыль города, постепенно подготовить и подвести себя к писанию. Соловьиное пение, роса в высокой траве, звездочки липких белых цветов, раскрывавшихся по вечерам на верхних пустых террасах сада, наполняя воздух опьяняющим благоуханием, — все это было лишь на миг, лишь на взгляд для живущих в вилле. Надо было рано ложиться, чтобы утром рано встать, бодрым, выспавшимся, полным творческих сил для работы. Все здесь работали: И. А. читал или писал что-то у себя в кабинете — большой угловой комнате в нижнем этаже, В. Н. печатала его рукописи на машинке или тоже писала что-то свое [28, 314–315].

Николай Яковлевич Рощин:

В литературных парижских кругах «Бельведер», смеясь, называют «монастырем муз». И правда, есть что-то аскетически-отрешенное, монастырское в простом и скромном укладе жизни на «Бельведере» [32, 436].

Борис Константинович Зайцев:

Милая вилла Бельведер, скромная, с поразительным видом на Канн, море, горы Эстерель направо. Юг, солнце, свет, необъятная ширь, запах лаванды, тмина — порождение Прованса — и вообще дух поэзии, окружавшей жизнь Ивана, Веры, молодых писателей-друзей, с ним живших (Леонид Зуров, Галина Кузнецова) [22, 398].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Издали кажется чем-то противоестественным — это вне личных взаимоотношений тех, кто жил на вилле Жаннетт, — существование некоего писательского общежития. Профессиональные союзы и организации для защиты

писательских прав — дело одно: мы одного цеха, хоть и разных пород. Но писательские коммуны — уже нечто вроде гетто. А в Грассе по крайней мере три писателя, под взглядами мемуаристов, — среди которых первая Вера Николаевна — были связаны не только личной жизнью, но и профессиональной. Если принять во внимание, что все писатели, от гения до графомана, все же люди особенные — сам позыв к писанию вещь необъяснимая и ненормальная, — то их близкое сосуществование уже представляет тяжесть и трудность… ‹…›

А тут еще прибавилась и тяжесть личных отношений. Всем было трудно в Грассе, но последствия особенно драматически отразились на Леониде Зурове. После первого удовлетворения — обрести наконец ученика, писателя, хотящего идти по его стопам, у Бунина отношение к Зурову переменилось. Во-первых, опять-таки, по виду здоровая молодость Зурова его раздражала. А Зуров, тщательно и трудно писавший (это стоило ему невероятного напряжения), мучился не только творческим бессилием, но и своим положением — уже не любимого ученика и приемного сына, а подсознательного орудия реванша Веры Николаевны, в некоторых случаях проявлявшей удивительное упорство. Уйти же было некуда, и Зуров, у которого были и другие причины душевного неравновесия, не выдержал — и последствия травмы были и для него и для Веры Николаевны драматичны до конца их жизни. Все четыре участника грасского периода были люди хорошие, и поэтому-то все и мучились, каждый по-своему [57, 210].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

«Леня» (Зуров. — Сост.) не упускал случая поспорить с И. А. на литературные и житейские темы и с пылом отстаивал свои позиции, а иногда и прямо переходил в атаку. Спор так разгорался, и оба так горячились, что, казалось, это уже не спор, а ссора. Вспыльчивый И. А. поднимал голос, и дело доходило до крика. Он не переносил противоречий, но был не злопамятен и очень, очень снисходителен к «молодым».

На другой день встречались как ни в чем не бывало, и все было тихо до нового «поединка», а иной раз после спора по нескольку дней не разговаривали [32, 314].

Александр Васильевич Бахрах:

Я ‹…› был уже осведомлен о непрестанных трениях, возникавших между Буниным и Зуровым. Все-таки мне еще было не совсем понятно, как же к человеку, который уже годами живет под его крышей (а Зуров с редкими промежутками прожил

у Буниных до самой их смерти, унаследовал часть их парижской квартиры, а заодно с ней и архив Ивана Алексеевича), человеку, которого он сам выписал из прибалтийских стран, которому поначалу он всячески литературно покровительствовал, мог он относиться с такой нескрываемой неприязнью? Мне хотелось разгадать, было ли это у Бунина постоянным чувством или минутной вспышкой.

Оказалось, и это я мог обнаружить только впоследствии, отношения между ними были не только нелегкими, но настолько запутанными, что распутать их уже не было возможности. Сознание того, что, может быть, через час-другой ему предстоит вступить в какие-то препирательства с одним из своих сожителей, выдержать очередной наскок, неизбежно накладывало известный отпечаток на последний период жизни Бунина, действовало на его нервы.

Отношения между этими двумя людьми, если их можно было бы изобразить графически, шли неравномерными зигзагами ‹…›. Бывали, конечно, периоды, когда Бунин бывал даже рад обществу Зурова, его присутствию, спорам с ним, несмотря на то, что они всякий раз кончались взаимными пикировками и каждый из них пытался всадить в другого какие-то «бандерильи» и тут же, как полагается по всем правилам тавромахии, отступить, чтобы подготовиться к новому нападению [8, 34–35].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

17 июня 1930. Книги И. А. не дают никакого дохода. За «Арсеньева» он получил 1000 франков, т. е. меньше, чем Рощин за книгу рассказов, изданную в Белграде (1800). Денег нам хронически не хватает. Получается в месяц 2500 ф., а жизнь стоит больше трех, не считая квартиры, за нее уплачено деньгами с вечера И. А. [28, 142].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

26 мая 1933. Кризис полный, даже нет чернил — буквально на донышке, да и полтинночки у меня на донышке [55, 232].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

1. X.33. Вчера именины Веры. Отпраздновали тем, что Галя купила кусок колбасы. Недурно нажился я за всю жизнь! [55, 236]

Последняя любовь (Галина Кузнецова)

Василий Семенович Яновский:

Кузнецова, кажется, была последним призом Ивана Алексеевича в смысле романтическом. Тогда она была хороша немного грубоватой красотой [59, 315].

Ирина Владимировна Одоевцева. *Из письма Н. П. Смирнову. 12 апреля 1970 г.:*

Нет, ни на Беатриче, ни на Лауру она совсем не похожа. Она была очень русской, с несколько тяжеловесной, славянской прелестью. Главным ее очарованием была медлительная женственность и кажущаяся покорность, что, впрочем, многим не нравилось [30, 112].

Галина Николаевна Кузнецова:

Я в первый раз говорила с Буниным у него дома, придя по поручению пражского профессора, выдумавшего это поручение, чтобы познакомить нас. «Вы едете в Париж? Не можете ли вы передать Бунину эту книгу… Думаю, что для вас, молодой поэтессы, будет весьма полезно познакомиться с ним».

И вот я сидела перед Буниным и смотрела на свою тетрадь в черном клеенчатом переплете, которую он бегло перелистывал. Не помню, о чем мы говорили. Помню, что он спросил меня, на каком факультете я была в Праге, когда приехала, что думаю делать дальше. Потом спросил: «Кого же из поэтов вы больше всего любите?»

Я ответила не совсем честно — я любила не одного, а нескольких. Ахматову, Блока и, конечно, Пушкина:

— Гумилева.

Он иронически засмеялся.

— Ну, невелик ваш бог!

Я ушла охлажденная, разочарованная. Бунин показался мне надменным, холодным. Даже внешность его — он, впрочем, был очень моложав, с едва седеющими висками, — показалась мне неприятной, высокомерной.

Я решила забыть о своей тетради и о своем знакомстве с ним. Я не знала, что этот человек в свое время окажет на меня большое влияние, что я буду жить в его доме, многому учиться у него, писать о нем [29].

Ирина Владимировна Одоевцева. *Из письма Н. П. Смирнову. 30 сентября 1969 г.:*

Постараюсь, правда, коротко, ответить на Ваши вопросы об отношениях Бунина и Галины Кузнецовой. Сведения эти вполне достоверны — автор их бывший муж Галины, Д. М. Петров.

Летом 26-го года в Жуа-ле-Пэн Петров и Галина жили на одной даче с Модестом Гофманом — пушкинистом. Он и познакомил их на пляже с Буниным, и они стали часто купаться в море вместе с ним. Бунин отлично плавал, по словам Галины. «У Ивана Алексеевича такое сухое, легкое тело!» — рассказывала она мне.

Через две недели Петрову пришлось вернуться в Париж — он, юрист по образованию, был шофером в эмиграции. Галина захотела продлить свои каникулы и вернулась в Париж только через пять недель. И тут сразу пошли недоразумения и ссоры.

Петров очень любил Галину и был примерным мужем, всячески стараясь ей угодить и доставить удовольствие. Но она совершенно перестала считаться с ним, каждый вечер исчезала из дома и возвращалась все позже и позже.

Однажды она вернулась в три часа ночи, и тут между ними произошло решительное объяснение. Петров потребовал, чтобы Галина выбрала его или Бунина. Галина, не задумываясь, крикнула:

— Конечно, Иван Алексеевич!

На следующее утро Петров, пока Галина еще спала, сложил свои чемоданы и уехал из отеля, не оставив адреса…

Петров носился с мыслью об убийстве Бунина, но пришел в себя и на время покинул Париж [30, 111].

Нина Николаевна Берберова:

В тот вечер (зимой 1926–1927 г. — Сост.) я впервые увидела ее (она была со своим мужем, Петровым, позже уехавшим в Южную Америку), ее фиалковые глаза (как тогда говорили), ее женственную фигуру, детские руки, и услышала ее речь с небольшим заиканием, придававшим ей еще большую беззащитность и прелесть. Надпись Бунина на книжке была ей непонятна (он называл ее «Рики-тики-тави»), и она спросила Ходасевича, что это значит. Ходасевич сказал: «Это из Киплинга, такой был прелестный зверек, убивающий змей». Она тогда мне показалась вся фарфоровая… Через год она уже жила в доме Бунина. Особенно бывала она мила летом, в легких летних платьях, голубых и белых, на берегу в Канне или на террасе грасского дома [10, 299].

Ирина Владимировна Одоевцева. *Из письма Н. П. Смирнову. 6 февраля 1970 г.:*

Уехав из отеля, в котором Галина жила с мужем, она поселилась в небольшом отеле на улице Пасси, где ее ежедневно, а иногда два раза в день навещал Бунин, живший совсем близко.

Конечно, ни ее разрыва с мужем, ни их встреч скрыть не удалось. Их роман получил широкую огласку. Вера Николаевна не скрывала своего горя и всем о нем рассказывала и жаловалась: «Ян сошел с ума на старости лет. Я не знаю, что делать!» Даже у портнихи и у парикмахера она, не считаясь с тем, что ее слышат посторонние, говорила об измене Бунина и о своем отчаянии. Это длилось довольно долго — почти год, если я не ошибаюсь.

Но тут произошло чудо, иначе я это назвать не могу: Бунин убедил Веру Николаевну в том, что между ним и Галиной ничего, кроме отношений учителя и ученика, нет. Вера Николаевна, как это ни кажется невероятно, — поверила.

Но я не уверена, что действительно поверила. Поверила оттого, что хотела верить. В результате чего Галина была приглашена поселиться у Бунина и стать «членом их семьи» [30, 112].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Я очень люблю Галину и всегда рада встрече с ней. Она смотрит на меня своими прелестными грустными глазами. ‹…› Я слушаю ее взволнованный, милый, чуть задыхающийся голос. До чего она вся мила. В ней что-то невинное, трогательное, девичье, какой-то молодой «трепых», особенно очаровательный не у девушки, а у женщины. Русский молодой «трепых». У иностранок его не бывает [37, 61].

Ирина Владимировна Одоевцева. *Из письма Н. П. Смирнову. 6 февраля 1970 г.:*

Галина удивительно хорошо сумела войти в свою роль приемной дочери. ‹…› Она действительно была обезоруживающе мила, послушна и безропотна. Гораздо милее и добрее, чем в своем «Дневнике».

И Вера Николаевна, и особенно Бунин относились к ней как к маленькой дочери и докучали заботами: «Застегните пальто, Галя. Не идите так быстро, устанете! Не ешьте устриц. Довольно танцевать!»

Она слушалась и только улыбалась.

Когда мы с ней вместе бывали на каких-нибудь вечерах, она, выпив немного вина, облокачивалась о стол и, глядя на меня своими прелестными серыми глазами, вздыхала и, слегка

заикаясь — что у нее получалось очень мило, — повторяла все одну фразу: «Ах, Ирочка, разве мы, женщины, сами устраиваем свою судьбу?» После чего две слезы — никогда не более двух — скатывались по ее щеке.

Конечно, она не была счастлива. Ей было смертельно скучно в Грассе, и жилось там им всем нелегко [30, 112].

Нина Николаевна Берберова:

В 1932 году, когда я жила одна на шестом этаже без лифта в гостинице на бульваре Латур-Мобур, они оба однажды зашли ко мне вечером, и он ей сказал:

— Ты бы так не могла. Ты не можешь одна жить. Нет, ты не можешь без меня.

И она ответила тихо: «Да, я бы не могла».

Но что-то в глазах ее говорило иное [10, 300].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи И. В. Одоевцевой:*

Мы с ней вдвоем постоянно гуляли, исходили все дороги, объездили все окрестности. И как это было чудесно. Она мало говорила, но как она умела слушать. И понимать меня. Раз, когда мы с ней возвращались домой, до того усталые, что с трудом передвигали ноги, я подумал — как хорошо было бы сейчас лечь здесь, под шуршащим тополем, обняться и уснуть вместе. И — ведь мысль о смерти всегда присутствует в любви — мне вдруг мучительно захотелось не только уснуть, но умереть вместе с нею. Умереть с нею. Не сейчас, конечно. А когда придет мой час. Я пожелал это с такой силой, что почувствовал боль в горле. Но я не сказал ей: я хочу умереть вместе с тобой. Нет, ведь она на столько лет моложе меня. Она, конечно, переживет меня и будет еще долго жить после моей смерти. Я сдержался. Я не сказал ничего. И все-таки она почувствовала. Она поняла. Ее нежные, прелестные пальцы вздрогнули в моей руке. В ответ. Будто выражая согласие и готовность исполнить и это мое желание. ‹…› И все-таки она меня бросила, бесчеловечно бросила. Бросила, зная, что это убьет меня [37, 258].

Ирина Владимировна Одоевцева. *В пересказе А. Саакянц:*

На обратном пути из Стокгольма, рассказала Ирина Владимировна, все четверо прибыли в Германию; немецкого языка никто, кроме Цвибака, не знал. Галина простудилась — из-за чего, по-видимому, пришлось задержаться у Ф. Степуна, к которому заехали по дороге. Степун был писатель, у него была сестра, сестра была певица, известная певица — и отчаянная лесбиянка. Заехали. И вот тут-то и случилась трагедия. Галина

влюбилась страшно — бедная Галина ‹…›. Степун властная была, и Галина не могла устоять ‹…›.

На вилле в Грассе подруги жили отдельно, в верхних комнатах ходили только в своем садике… Степун запретила им ‹Бунину и Галине› даже видеться — хотя они жили на счет, конечно, Бунина, и все, — но ходить ‹к нему› — только тогда, когда надо было за деньгами: Галина могла пойти и получить деньги — это Степун разрешала, а кроме того — ничего… Все это было, конечно (она не договорила)… Бунин говорил, что дал ей пятьдесят тысяч, а Галина мне говорила: «Ириночка, он мне дал только двадцать пять тысяч» — и я верю… Он ее страшно любил и ужасно долго, по-настоящему страдал…

Наконец ее отъезд был решен бесповоротно. Она так попала под влияние Степун, что не могла лишний час остаться… Бедная Вера Николаевна ее целовала, обнимала…

Конечно, Бунин страшно обозлился, сломал несколько стульев, ну, этим дело и кончилось: она все-таки уехала.

До конца жизни своей Степун ее держала в лапках… Они поступили на службу и жили довольно прилично… Все было хорошо. ‹…›

Поездка в Стокгольм оказалась роковой. Потому-то Ирина Владимировна и сказала, что счастья Нобелевская премия Бунину не принесла… [42]

Нина Николаевна Берберова:

Когда она в конце 1930-х годов уехала от Буниных, он страшно тосковал по ней. За всю жизнь он, вероятно, по-настоящему любил ее одну. Его мужское самолюбие было уязвлено, его гордость была унижена. Он не мог представить себе, что то, что случилось с ним, случилось на самом деле, ему все казалось, что это временно, что она вернется. Но она не вернулась [10, 300].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

11 августа 1935. Пребывание Гали в нашем доме было от лукавого [55, 251].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

9. V.36. Grasse. ‹…› Она в Берлине.

Чудовищно провел 2 года! И разорился от этой страшной и гадкой жизни. Радио, джазы, фокстроты. Оч. мучит. Вспоминаю то ужасное время в J. les-Pins, балы в Париже, — как она шла под них. Под радио все хочется простить. ‹…›

7. VI.36. Grasse. Главное — тяжкое чувство обиды, подлого

оскорбления — и собственного постыдного поведения. Собственно, уже два года болен душевно, — душевно больной. ‹…›

16. VIII.36. Иногда страшно ясно сознание: до чего я пал! Чуть ни каждый шаг был глупостью, унижением! И все время полное безделие, безволие — чудовищно бездарное существование!

Опомниться, опомниться! [55, 252–255]

«Жизнь Арсеньева»

Ирина Владимировна Одоевцева:

— Вот все думают, что «Жизнь Арсеньева» — моя автобиография. Но я о многом, об очень многом, о самом тяжелом не писал. «Жизнь Арсеньева» гораздо праздничнее моей жизни. В ней много подтасовано и подтушевано. А ведь никто не верит. И мне это неприятно.

Он поворачивается ко мне, этим движением производя меня в слушателя и даже в собеседника.

И я спрашиваю, осмелев:

— Почему бы вам, Иван Алексеевич, не написать комментариев к «Жизни Арсеньева» и все поставить на свое место?

Он морщится.

— Ну нет. Ни к чему это. И не удалось бы мне. Я пробовал писать о себе правду. Не удавалось. Должно быть, от душевной застенчивости. Я ведь болезненно стыдлив, целомудрен и застенчив внутренне — хотя никто не верит. Мне как-то стыдно писать о себе правду [37, 265].

Марк Алданов:

Иван Алексеевич сердился, когда говорили, что «Жизнь Арсеньева» — автобиография. Конечно, Арсеньев не весь Бунин, но в нем от Бунина очень многое: его мысли, его чувства, его взгляды на жизнь, его отношение к людям. Не раз убеждали его писать второй том, он всегда отказывался: «Я там писал о давно умерших людях, о навсегда конченных делах. В продолжении надо было бы писать в художественной форме о живых, — разве я могу это сделать?» Так и не написал [4].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из письма А. Седых. 22 мая 1957 г.:*

«Жизнь Арсеньева» не жизнь Бунина ‹…› это не автобиография, а роман, написанный на биографическом материале, но, конечно, многое изменено. Например, он описывает, как он с подругой Лики ходил к усадьбе, взятой в «Дворянском гнезде» Тургеневым. Это он ходил со мной, а во время своей орловской жизни не удосужился ее посмотреть… Но вы понимаете, что для романа это был козырь, тут он и высказывает свои мысли о Тургеневе. ‹…› Также из Одессы перенесена в Елец сцена беготни брата героини с собакой, — это был брат Анны Николаевны. ‹…› Бунин даже у Гали ‹Кузнецовой›

взял, как она под большим шелковым платком лежала на диване [6, 50].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Вечером Ян долго говорил о «Жизни Арсеньева». Он горюет, что дал такое заглавие, нужно было назвать «У истока дней» [55, 150].

Георгий Викторович Адамович:

Я рассказал ему о Листе, который в ответ на скептические замечания о Вагнере не говорил большей частью ничего, а садился за рояль и наигрывал несколько тактов из «Тристана». Бунину рассказ понравился, он неожиданно повеселел и с добродушной усмешкой заметил: «Отлично, вот и я на все ваши ехидства отвечать больше не стану, а буду наизусть читать полстранички из „Жизни Арсеньева“, чтобы вы знали, с кем имеете дело» [3, 119].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

Мы говорили о рецензиях на «Жизнь Арсеньева» и в частности о рецензии Вейдле, написавшего, что это произведение есть какой-то восторженный гимн жизни, красоте мира, самому себе, и сравнившему его с одой. Это очень правильно. И вот тут-то мне пришла в голову мысль, поразившая меня.

Сейчас, когда все вокруг стонут о душевном оскудении эмиграции, и не без оснований, — горе, невзгоды, ряд смертей, все это оказало на нас действие, — в то время, как прочие писатели пишут или нечто жалобно-кислое или экклезиастическое или просто похоронное, как почти все поэты; среди нужды, лишений, одиночества, лишенный родины и всего, что с ней связано, «фанатик», или, как его назвали большевики, «Великий инквизитор» Бунин вдохновенно славит Творца, небо и землю, породивших его и давших ему видеть гораздо больше несчастий, унижений и горя, чем упоений и радостей. И еще когда? Во время, для себя тяжелое не только в общем, но и в личном, отдельном смысле… Да это настоящее чудо, и никто этого чуда не видит, не понимает! Каким же, значит, великим даром душевного и телесного (несмотря ни на что) здоровья одарил его Господь!..

Я с жаром высказала ему все это. У него были на глазах слезы [28, 97–98].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

11 февраля 1929. Яна расспрашивали о «Жизни Арс.» ‹…› Он кратко сказал: «Вот молодой человек ездит, все видит, переживает войну, революцию, а затем и большевизм, и приходит к тому, что жизнь выше всего, и тянется к небу» [55, 161].

Иван Алексеевич Бунин. *Из интервью корреспонденту белградской газеты «Время» Милораду Дивьяку:*

«Жизнь Арсеньева» можно бы вполне назвать «Жизнью Дипона» или «Жизнью Дирана». Я хотел показать жизнь одного человека в узком кругу вокруг него. Человек приходит в мир и ищет себе в нем место, как и миллионы ему подобных: он работает, страдает, мучается, проливает кровь, борется за свое счастье и в конце концов или добивается его, или, разбитый, падает на колени перед жизнью. Это все!.. Арсеньев, Дипон, Диран, можете назвать героя как угодно, суть дела от этого нисколько не изменится.

Можно при желании считать этот роман и автобиографией, так как для меня всякий искренний роман — автобиография. И в этом случае можно было бы сказать, что я всегда автобиографичен. В любом произведении находят отражение мои чувства. Это, во-первых, оживляет работу, а во-вторых, напоминает мне молодость, юность и жизнь в ту пору [6, 49].

Никита Алексеевич Струве:

Получение им Нобелевской премии в 1933 году стало для эмиграции огромным событием. Добивались ее для русского автора с 1920-х годов. И нужно было, чтобы советская власть действительно утвердилась бы в своей смертоносной сущности, чтобы Бунину присудили Нобелевскую премию. К тому времени эмиграция уже устала от своего противостояния, внешнего и внутреннего, от полной безнадежности ситуации, от утраты надежды на скорое возвращение на родину. Тягостное ожидание, тщетная, неравная борьба выматывали. Когда же Ивану Алексеевичу наконец дали Нобелевскую премию, то это стало заслуженным вознаграждением для всей страдающей эмиграции [51, 43].

Георгий Викторович Адамович:

Он радовался своему долгожданному реваншу, доказывал свою дальновидность и правоту, гордился тем, что большое литературное будущее и реванш предчувствовал [3, 114].

Ирина Владимировна Одоевцева:

— Человек почти всегда добивается того, о чем мечтает, чего страстно желает, беспрестанно, днем и ночью, во сне и наяву, — каждую минуту. Например, «как я хочу получить Нобелевскую премию», — убежденно произнес на одном из «воскресений» на 11-бис, рю Колонель Боннэ, Димитрий Сергеевич Мережковский.

О том, что он страстно желает получить Нобелевскую премию, знали все посетители «воскресений». Мережковский не скрывал, а даже, скорее, подчеркивал свое желание. Он считал, что Нобелевская премия по справедливости должна быть присуждена ему и он один достоин ее.

— Бунин? Но разве можно считать Бунина серьезным конкурентом? Он просто бытовик, бытописатель, надоедливо и скучно фотографирующий скучные мелочи существования вперемежку с надоевшими всем давно закатами, снегопадами, дождливыми вечерами и заходами солнца. Кому это нужно? Кому это интересно? «Жизнь Арсеньева»? — безмерно растянутое описание молодости никчемного дворянского недоросля, к тому же перегруженное описаниями природы. Ну, еще два-три томика всяких нудных рассказов и хваленая «Деревня». — Ее Мережковский, о чем он любил поминать, так и не мог

одолеть: — Каждый раз засыпал от скуки на двадцатой или тридцатой странице, как ни старался. Пришлось бросить. — Он вздыхал с притворным огорчением и добавлял: — Все же я постоянно держу эту самую «Деревню» на ночном столике — на случай бессонницы. Великолепно помогает!

Нет, положа руку на сердце, Мережковский не считал Бунина серьезным конкурентом:

— Ведь не совсем же идиоты судьи, не слепые же кроты они! Разве можно сравнивать меня и Бунина?!

И все же его тревожили и беспокоили слухи о кампании, ведущейся в пользу Бунина. В ней участвовало столько «именитых» эмигрантов с Густавом Нобелем и Конжунцевым во главе. Да и среди писателей не все были сторонниками Мережковского, хотя бы тот же Алданов, ведший яростную кампанию в пользу Бунина среди своих «иностранных коллег» — не только французов, но и шведов.

Быть вполне уверенным, что Нобелевская премия достанется ему, а не Бунину, Мережковский все же не мог и считал, что лучше обеспечить себя на всякий случай.

Однажды, весной 1932 года, Мережковский на одном из «воскресений» предложил Бунину (Бунин, Вера Николаевна и Галина Кузнецова во время своих наездов в Париж из Грасса изредка навещали «воскресенья» Мережковского):

— Давайте, Иван Алексеевич, заключим пакт. Если мне достанется Нобелевская премия, я вам отдам половину, если вам — вы мне. Поделим ее пополам. Застрахуемся взаимно. Тут, в присутствии их всех, — он обвел взглядом сидящих за столом. — Дадим друг другу честное слово, что поделим премию.

Но Бунин решительно покачал головой.

— Ну уж нет, Дмитрий Сергеевич. Не согласен. Заранее заявляю — делиться и не подумаю. Вам присудят — ваше счастье. Мне — так мое.

Мережковский на минуту весь даже съежился, глаза его и все лицо поблекли и затуманились, будто в нем погас свет, освещавший его изнутри.

Он, по-видимому, никак не ожидал такого решительного, резкого отказа на свое великодушное (ведь премия, по всей вероятности, достанется именно ему) предложение.

— Воля ваша, — проговорил он хрипло, превозмогая обиду. — Боюсь только, что вы пожалеете, и очень, что так опрометчиво…

Но Бунин, удобнее откинувшись на спинку зеленого кресла, широко и свободно взмахнул рукой.

— Ну, что там гадать на кофейной гуще. Поживем — увидим.

А связывать себя обещаниями я всегда терпеть не мог. И страховок не признаю. — И закончил убежденно: — А в звезду свою я верю! [37, 59–60]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

2 октября 1931. Вчера была Ек. М. (Лопатина. — Сост.) парламентарием от Мережковских. Д. С. предлагает Яну написать друг другу письма и их удостоверить у нотариуса, что в случае, если кто из них получит Нобелевскую премию, то другому даст 200.000 франков. Не знаю, но в этом есть что-то ужасно низкое — нотариус, и почему 200.000? Ведь, если кто получит, то ему придется помочь и другим. Да и весь этот способ очень унизительный. ‹…› И выбрать Лопатэн для дипломатических разговоров! Все это мне очень неприятно. ‹…›

У меня почти нет надежды, что Ян получит, но все же, если получит, то почему дать такую сумму Мережковскому? Ведь у нас есть и более близкие друзья. Если же получит Мережковский, то… — их счастье! [55, 205]

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

6 ноября 1932. Дело к назначению премии приближается. Газеты по утрам начинают становиться жуткими. Французские утренние газеты ждем теперь с трепетом. Развертывает ее первый И. А. Воображаю себе его волнение. Уж скорей бы упал этот удар! В прошлом году это было сделано раньше, чем ожидали.

Днем неосторожная (и может быть неуместная) предпоздравительная телеграмма из Берлина, взволновавшая весь дом. Вечером говорили о ней на прогулке. И. А. держится в этом положении, как он сам сказал, естественно. ‹…› Но, конечно, все-таки беспокойно, особенно после внезапного упорного появления в печати имени Мережковского.

8 ноября. Ожидание известия о премии стало болезненным. Вырезка с портретом Мережковского, присланная Аргусом прессы, произвела тяжелое впечатление.

11 ноября. Премию получил англичанин — Голсуорси. Я испытала настоящее облегчение, узнав, что та тайная пытка ожиданием, которой был подвергнут в течение последней недели весь дом, кончилась. Теперь можно заняться обычными делами, перестать тревожиться, ждать чего-то, чего все равно не дождаться нам, русским. Да, все это вообще от лукавого, эта тревога с премией, длящаяся уже 2 года. Доказательство, что это так, то, что буквально весь дом и И. А., кажется, больше всех почувствовали облегчение при получении известия о назначении премии. И. А. с каким-то добрым облегченным лицом поругал

шведов, мы поговорили пять минут в столовой, и затем он пошел в свой кабинет писать [28, 264].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

19 октября 1933. Неприятный день. Завтра присуждается премия Нобеля. Хорошо, что в этом году мы за неделю узнали об этом, и только сегодня об ней думали и говорили. ‹…› К нам теперь ездят со своей закуской. Действительно, обеднели очень [55, 237].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

20. X.33. 9 ч. утра. 16-го послал avion Полонскому в Холливуд. 18-го еще.

Нынче проснулся в 6½. Лежал до 8, немного задремал. Сумрачно, тихо, испещрено чуть-чуть дождем возле дома.

Вчера и нынче невольное думанье и стремление не думать. Все таки ожидание, иногда чувство несмелой надежды — и тотчас удивление: нет, этого не м. б.! Главное — предвкушение обиды, горечи. И правда непонятно! За всю жизнь ни одного *события,* успеха (а сколько у других, у какого-нибудь Шаляпина, напр.!). Только один раз — Академия. И как *неожиданно!* А их ждешь…

Да будет воля Божия — вот что надо твердить. И, подтянувшись, жить, работать, *смириться мужественно* [55, 238].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Завтрак. Едим гречневую кашу. Все внутренне волнуемся, но стараемся быть покойными. Телеграмма Кальгрена нарушила наш покой. Он спрашивал, какое подданство у Яна. Ответили: refugié russe[12]. Мы не знаем, хорошо это или плохо.

Перед завтраком Леня мне говорит: «Вот теперь чистят фраки-мундиры, готовятся к заседанию, бреются».

За завтраком я: «Давай играть в тотализатор. Ян, ты за кого?» — «Мне кажется, дадут финляндцу, у него много шансов…» — «А вы, Галя?» — «Не знаю… ничего не могу сказать». Я: «А мне кажется, если не русскому, то португальцу скорее».

После завтрака все разошлись. Ян сел опять писать. Галя предложила кино. Он ответил неопределенно. Часа полтора писал. Погода была хмурая. К нам пришла femme de ménage[13] [35, 482].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника. Запись от 15 ноября 1933 г.:*

И. А. сел за письменный стол, не выходил и как будто даже пристально писал (накануне он говорил мне, что под влиянием

происходящего с какой-то «дерзостью отчаяния» стал писать дальше). День был нежный с солнцем сквозь белое, почти зимнее русское небо. Я смотрела в третьем часу на широко и кротко упавший с неба свет над Эстерелем и думала о том, что на другом конце света сейчас решается судьба Бунина и судьба всех нас. ‹…› Л.‹еонид Зуров› спросил, что делать в случае, если придет телеграмма из Стокгольма (мы решили пойти днем в синема, чтобы скорее прошло время и настало какое-нибудь решение), и сам же ответил, что придет за нами [28, 280–281].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Звонок по телефону. Прошу Леню подойти. Через секунду он зовет меня. Беру трубку. Спрашивают: хочу ли я принять телефон из Стокгольма. Тут меня охватывает волнение, главное — говорить через тысячи километров. И когда мне снова звонят и я сквозь шум, гул, какие-то голоса улавливаю отдельные слова:

«Votre mari, prix Nobel, voudrais parler a Mr. Bounine…»[14] — то моя рука начинает ходить ходуном… Я прошу Леню взять второй «слушатель». И говорю:

«Mon mari est sorti, dans une petite demi-heure il va rentrer»[15] — и мы опять оба слышим, что это из газеты, но название не удерживается в памяти, и опять отдельные слова долетают до нас из далекого Стокгольма: «votre mari», «prix Nobel…».

Леня летит в синема. Денег не берет: «Так пройду…» И я остаюсь одна, и двадцать минут проходят для меня в крайне напряженном волнении. Спускаюсь на кухню, где гладит хорошенькая, свеженькая, только что вышедшая замуж женщина. Я сообщаю ей, что вот очень важное событие, может быть, случилось, но я еще не уверена. И вдруг меня охватывает беспокойство — а вдруг это кто-нибудь подшутил… И я бросаюсь к телефону и спрашиваю, правда ли, что нам звонили из Стокгольма? Со станции удивленно: «Да ведь вы не приняли его ‹телефонный разговор›». Я начинаю выворачиваться, говорить, что это была не я, и я только что пришла домой, и мне сообщили, что был звонок, — это очень для нас важно. «Да, из Стокгольма». — «Ну, думаю, из Стокгольма шутить не станут — дорого!» И я успокоилась, сошла в кабинет и помолилась [35, 482–483].

Галина Николаевна Кузнецова:

В синема И. А. был нервен и сначала даже плохо смотрел. В зале было холодно, он мерз. Первое отделение прошло, в антракте мы вышли на улицу, он ходил в бар напротив пить

коньяк, чтобы согреться. Когда началось второе отделение, я несколько раз оглядывалась, но еще все-таки было рано тревожиться, т. к. было всего четыре часа. Тем более странно (странно тем, что уже мысленно вперед пережито и сбывалось), когда, оглянувшись на свет ручного фонарика, внезапно блеснувшего позади в темноте зала, я увидала у занавеса двери фигуру Л., указывавшего на нас билетерше. «Вот… пришел…» — сказала я И. А., мгновенно забыв его имя. Все последующее происходило как-то тихо, но тем более ошеломительно. Л. подошел сзади в темноте, нагнулся и, целуя И. А., сказал: «Поздравляю Вас… звонок из Стокгольма…» И. А. некоторое время оставался сидеть неподвижно, потом стал расспрашивать. Мы тотчас вышли, пошли спешно домой. Л. рассказал, что в четыре часа был звонок по телефону, он подошел и разобрал: «Иван Бунин… Prix Nobel…» В. Н. так дрожала, что ничего не могла понять. Узнав, что самого Бунина нет дома, обещали позвонить через полчаса, и тут Л. побежал за нами. Дома нас встретила красная и до крайности взволнованная В. Н., рассказала, что уже опять звонили, поздравляли из Стокгольмской газеты и пытались интервьюировать ее. И. А. все переспрашивал, как бы боясь ошибиться. Потом начались почти непрестанные телефонные звонки из Стокгольма и разных газет. За огромностью расстояния никто ничего не понимал, и говорить и слушать и отвечать на интервью приходилось почти исключительно мне, так как я одна могла хоть что-нибудь улавливать из гудящей трубки. Около пяти часов принесли первую телеграмму от Шассэна. «Поздравляю с Нобелевской премией. Обезумел от радости. Шассэн». Потом телеграмму от Шведской Академии. Тут уж мы все поверили. Но это было только начало… Весь вечер не умолкали звонки из Парижа, Стокгольма, Ниццы и т. д. Уже все газеты знали и спешили получить интервью. В столовой сидел представитель ниццской шведской колонии кап. Брандт, приехавший поздравлять из Ниццы. За обедом мы выпили шампанского (и Жозеф с нами). И. А. был чрезвычайно нервен, на всех все время сердился, и все вообще бегали и кричали [28, 281–282].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Опять звонок. Посылаю за Жозефом, не надеясь на свой слух — он стал у меня портиться.

Звонок из Копенгагена. Жозеф объясняет, что он друг наш, что Mr. Bounine va rentrer dans un petit quart d'heure[16], M-me Bounine у телефона. И я даю впервые по телефону в Данию интервью на французском языке — это волнует меня больше, чем

сама премия. Спрашивают, давно ли во Франции? Когда покинули Россию? Приедем ли в Стокгольм, и поеду ли я?..

Слышу голоса внизу, говорю: «Mr. Bounine est rentré» — и бросаюсь к лестнице, по которой подымается Ян.

— Поздравляю тебя, — говорю я, целуя, — иди к телефону.

— Я еще не верю…

Он вернулся с Леней, Галя пошла к сапожнику, вспомнив, что я без башмаков, не могу выйти. Леня мне рассказал: «Вошел в зрительный зал, пропустили даром. Галя обернулась и замерла. Иван Алексеевич смотрел на сцену. Я подошел. Наклонился, поцеловал и сказал: «Поздравляю. Нобелевская премия ваша!..» Дорогой я ему все рассказал. Он был спокоен».

Вернулась Галя с башмаками. Телеграмма от Шассена и Академии. Шассен пишет — Академия спрашивает, принимает ли Ян премию?

Телефон опять из Стокгольма. Отвечает Галя, как лучше всех слышащая [35, 484].

Андрей Седых:

Так сразу оборвалась его прежняя жизнь: Бунин получил Нобелевскую премию по литературе.

Примерно час спустя я вызвал Ивана Алексеевича по телефону из Парижа. Соединение было плохое, голос звучал глухо, и отвечал он на вопросы как-то неохотно, казался растерянным [43, 172].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

После еще одного телефона Ян ушел гулять: «Хочу побыть один». Мы остались втроем, сидя на моей постели у телефона. ‹…›

Жозеф спросил нас, нужно ли на завтра кашу, и мы все трое хором радостно ответили: non, non, non!!! Это был самый радостный момент.

В девятом часу Галя с Яном ушли. Я после ванны боялась, да и звонки нужно было принимать, могли быть иностранные. Звонили и Аминад, и Рощин, и из Стокгольма, и из других столиц. А Яна на Mont-Fleuri поймали из двух газет ниццских, снимали и расспрашивали. Галя направила разговор на литературную тему. Когда они вернулись, то снова звонки и снова интервью и по-русски и по-французски. И из газет, и от друзей [35, 484].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

‹15 ноября 1933 г.› В десятом часу мы с И. А. вышли в город. В парке Монфлери, в темноте кто-то неинтеллигентным голосом

навстречу: «Не знаете ли, где здесь вилла Бельведер?» — «Здесь». — «Я ищу Бунина, кот. сегодня получил премию Нобеля». — «Это я». Волшебное превращение. Изменение тона, поклоны, представленья. Корреспондент от Ниццской газеты. Но ничего не знает, говорит с грубым акцентом, спрашивает, за что дали премию… не знает даже, что Бунин писатель.

Интервью было дано тут же по дороге, он спустился с нами в Грасс. На бульваре нас поймали еще два журналиста, отыскивавшие Бельведер уже в течение двух часов и наконец обратившиеся к начальнику полиции, который был кстати тут же налицо (очень милый, скромный, интеллигентного вида человек). Нас повели в помещенье «Пти нисуа», принесли из кафе напитки, и тут же началось спешное интервью. Потом была сделана первая фотография, на следующее утро появившаяся в Эклерере, вместе с интервью, которое пришлось давать мне, т. к. И. А. был так взволнован, что не на все сразу мог отвечать [28, 282].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

К одиннадцати часам все кончилось. Легли спать. Но едва ли вилла Бельведер хорошо спала в эту ночь. Всякий думал свои думы. Кончилась часть нашей жизни, очень тихой, бедной, но чистой и незаметной [35, 484].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

‹15 ноября 1933 г.› Следующее утро — прекрасное, солнечное — началось со звонков, телеграмм и новых интервью. ‹…› И. А. на этот раз был мил, растроган, очень ласков с журналистами и фотографами.

‹…› В городе, куда я пошла на следующий день за покупками, было очень забавно встречать разных людей и слушать то смущенные, то любопытные, то удивленные поздравления. Носильщик подошел ко мне и, величественно протянув руку, сказал с достоинством: «Je suis satisfais». Неприятные хозяева книжного магазина Ашетта встретили с чрезмерно любезными лицами и стали просматривать и отбирать газеты, где были портреты и статьи. На улице ко мне бросилась дама из другой книжной лавки, прежде не хотевшая кланяться И. А., т. к. он не покупал у нее книг, стала оживленно поздравлять и спрашивать, какие книги переведены на французский, т. к. все теперь спрашивают книги Бунина: «Это большая честь для него и для Грасса тоже…» Фотограф сказал мне, что швед, пришедший в первый день с ним на виллу Бельведер, дал ему адрес и он уже разослал все снимки, включая даже крохотный для паспорта.

Дома, когда я пришла, сидел какой-то важного вида пожилой

корреспондент и мэр Грасса Рукье, накануне приславший сноп роскошных цветов, о которых И. А. с ужасом, поморщившись, сказал: «К чему эти цветы, в этом есть что-то…» (он, конечно, хотел сказать «погребальное»). На следующий день мы с В. Н. ездили в Канны, купить себе кое-что из самого необходимого, одеты мы были последнее время более чем скромно. Все это время в доме не было денег. Только в понедельник пришли три тысячи из Парижа по телеграфу. И. А. решил ехать в Париж во вторник. Мы еще долго говорили накануне в его кабинете, он с карандашом считал. Выходило, что для поездки в Швецию надо 50 тысяч. Мы слушали, слушали и все хором сказали, что он должен ехать в Стокгольм один [28, 282–283].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

13 ноября 1933. ‹…› За эти дни у нас столько было всего, что сопровождает всегда славу — и как все это поверхностно, и собственно не нужно. ‹…›

14 ноября. ‹…› Ян едет в Париж. Отъезд Яна — настоящее комическое синема. Он все делал сам, убирал вещи, комнаты, складывал белье, пары — словом, волновался очень [55, 239].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

‹15 ноября 1933 г.› Во вторник мы его провожали. Весь день он собирался, как всегда сам укладывал вещи, никому не позволяя помочь себе, крича, разговаривая по телефону, просматривая приходящие телеграммы и письма. Обед был праздничный, и за столом говорили о том, кому из писателей и сколько надо будет дать из премии и насчитали сто с лишним тысяч… Вез нас на вокзал знакомый шофер. Приехали за 10 минут до отхода поезда. На этот раз И. А. ехал в первом классе, в спальном вагоне. Поезд ушел, мы оглянулись… и пришли в себя только через час. ‹…›

16 ноября. В четыре часа первый раз звонил из Парижа И. А. Доехал благополучно, его встретили на вокзале, прямо повезли в ресторан Корнилова. Был завтрак, который стоил 1.000 фр., и Корнилов отказался взять деньги, сказав, что это для него честь. Остановился в отеле Мажестик. «У меня целые апартаменты в несколько комнат, очень спокойных, и плату, сказали, будут брать как за самый маленький номер, так как для отеля это реклама, что у них остановился нобелевский лауреат… Сейчас еду в „Новости“, где ждут французские интервьюеры. Позвоню еще в шесть…» [28, 283–284]

Андрей Седых:

Через три дня, приехав в Париж, Иван Алексеевич рассказывал мне уже с юмором, как нахлынули в этот вечер в его «Бельведер» журналисты и фотографы, как вспыхивал и ослеплял магний и как потом газеты всего мира обошла фотография «какого-то бледного безумца». И еще признался он, что в доме в этот вечер не было денег и нельзя было даже дать на чай мальчикам, приносившим поздравительные телеграммы.

‹…› Я стал на время секретарем Бунина, принимал посетителей, отвечал на письма, давал за Бунина автографы на книгах, устраивал интервью. Приезжал я из дому в отель «Мажестик», где остановился Бунин, рано утром и оставался там до поздней ночи. К концу дня, выпроводив последнего посетителя, мы усаживались в кресла в полном изнеможении и молча смотрели друг на друга. В один из таких вечеров Иван Алексеевич вдруг сказал:

— Милый, простите. Бога ради…

— За что, Иван Алексеевич?

— За то, что я существую.

С утра надо было разбирать почту. Письма приходили буквально со всех концов мира. Было, конечно, немало странных посланий и просьб о помощи. Сумасшедшая из Дании написала открытку:

«Ради Спасителя, соединяйтесь с Римом! Спасем мир!»

Другое письмо вызвало у нас много веселья. Какой-то матрос просил в спешном порядке прислать ему 50 франков и, чтобы расположить к себе лауреата, писал:

«Я уверен, что Бог поможет Вам. Если пришлете мне эти 50 франков, то и на будущий год, наверно, получите премию Нобеля!»

Идея эта так понравилась Ивану Алексеевичу, что 50 франков матросу послали [43, 172–173].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

17 ноября. ‹…› Сегодня опять был звонок от И. А. по телефону. Он сказал, что берет с собой в Швецию секретарем Я. Цвибака и что предполагает пока жить в Мажестике. Его очень чествуют, газеты полны его портретами во всех возрастах, статьями о нем, описаниями его прибытия в Париж.

И. А. звонил опять. Говорил, что почести ему большие, но что он уже очень устал, по ночам не спит и что ему очень грустно одному. Он еще не одет для Стокгольма, но уже был портной, кот. будет шить ему фрак, пальто и т. д. Мы должны приехать в Париж приблизительно через неделю к большому банкету в его честь.

Его снимали уже для синема, он говорил перед микрофоном

[28, 285].

Иван Алексеевич Бунин:

Секретарь столько давал за меня, замученного, бесед со всякими иностранными газетчиками, так решительно расправлялся с грудами писем, что я получал от несметных поздравителей и просителей, так ловко и спокойно выставлял за порог всяких «стрелков», осаждавших меня в «Мажестике»! В те часы, когда он отсутствовал, я часто сидел, запершись на замок, и недаром: бывали «стрелки», обладавшие удивительным нахрапом, анекдотическим бесстыдством. Однажды сидел я вот так, под замком, не отвечая на стуки в дверь. Раздается, наконец, стук настолько крепкий, требовательный, что я подхожу к двери:

— Кто там?

— Отворите, господин Бунин, — отвечает грубый, простонародный бас. — Нам нужен личный разговор по очень важному делу.

— Кому нам?

— Мне и моим товарищам.

— Я нездоров, никого не принимаю, должен лежать в постели.

— Не стесняйтесь, пожалуйста, мы же не дамы.

— Да в чем дело?

— Дело в русской национальной ценности, которую вы обязаны по своему положению лауреата приобрести, чтобы она не попала в руки кремлевских палачей.

— Что за ценность?

— Топор императора Петра Великого. Его личная собственность с государственным сертификатом и приложением печати.

— Вы, кажется, не в своем уме. Какой такой топор? Очевидно, тот самый, которым Петр прорубил окно в Европу?

— С этим не шутят, господин Бунин! — уже с угрозой, с хамской мрачностью возвышает голос мой собеседник за дверью. — Не имеете права шутить. Это священная национальная ценность. И только ввиду всего этого уступаем всего за пятьсот франков с ручательством… [43, 175–176]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

25 ноября, Париж. Уже ощущение славы явственнее. Уже живем в Мажестике. Уже заказываем манто у Солдатского. Уже чувствую, что многие обиделись, обижаются. Но не могу сказать, что много испытываю радости. Лучше всего ездить на такси и смотреть вокруг.

Два дня здесь, а наедине с Яном была всего минут 20, не больше. Устала так, что сейчас нет 10, а писать трудно. ‹…›

27 ноября. Вчера познакомилась с Г. Л. Нобелем и его женой, за завтраком у Корнилова. Он мне очень понравился, похож на Царицынских немцев.

3 декабря. Поезд. Цветы, конфеты, фрукты. Проводы. Необыкновенно грустно. В голове Павлик. ‹…› Трудно улыбаться. Ян тоже был какой-то растерянный. Грустно было разлучаться с Леней. Хотя ему пожить в Париже одному полезно. Книги его нравятся. ‹…›

На границе: ‹…› вызвал подозрение мой чемодан, перевязанный ремешком. Старший ‹…› увидав тетради, альбом, как-то безнадежно махнул рукой.

У Яна тоже потребовали открыть чемодан, где были рукописи. ‹…› Яша [Я. Цвибак — Андрей Седых] что-то говорил перед этим насчет премии, но на бельгийцев это не подействовало. ‹…›

Около часу ночи Галя разбудила меня. Приближалась Германия. ‹…› Опять быстро заснула. И опять была разбужена, на этот раз проводником, принес кофе с розанчиком, где были тончайшие ломтики колбасы. Было около 8 ч. утра (нем. время). ‹…› Вошел Ян. В восхищении: «Солнце оранжевое, красное выкатилось. Чудесное морозное утро». Вчера, когда мы вернулись из вагона-ресторана, он сказал: «Первый раз почувствовал, испытал приятность». ‹…›

6 декабря. ‹…› В Стокгольме встреча — русская колония, краткое приветствие, хлеб-соль, цветы; знакомые — Шассен и Олейников, — много неизвестных. Знакомства. Фотографы, магния и т. д.

Прекрасный дом, квартира в четвертом этаже, из наших окон чудный вид. Напоминает Петербург. Комнаты прекрасные, мебель удобная, красного дерева. Картины. Портреты. ‹…› После завтрака сидели с Мартой Людвиговной ‹Нобель›.

Был Троцкий. Рассказывает, что за кулисами творилось Бог знает что. Кто-то из Праги выставил Шмелева. Бальмонт тоже был кандидатом, Куприн — но это не серьезные. Мережковский погубил себя последними книгами. Ян выиграл «Жизнью Арсеньева». ‹…› Дания выставляла Якобсона и пишет, что «Бунин это тот, кто помешал нашему писателю увенчаться лаврами».

Ян вернулся из турецкой бани веселый, надел халат, обвязал платком голову и пьет чай с Олейниковым. Сегодня я не сказала с ним ни слова [55, 239–241].

Галина Николаевна Кузнецова:

6 декабря. Стокгольм. Утро началось неприветливо, серо, с темноты и огней в еловых лесах. На последней станции перед Стокгольмом вскочил молоденький журналист, ехал с нами до Стокгольма, расспрашивал и записывал с чрезмерной молодой серьезностью, стараясь сохранить свое достоинство. На вокзале в Стокгольме встретила уже толпа, русская и шведская. Какой-то русский произнес речь, поднес «хлеб-соль» на серебряном блюде с вышитым полотенцем, которое кто-то тотчас же ловко подхватил. Несколько раз снимали, вспыхивал магний, а вокруг было еще как будто темно… Вышли из вокзала, у входа ждал аппарат синема, потом повезли по снежным улицам. Первое впечатление от Стокгольма очень приятное: набережная, вода, дворцы, чуть прибеленная снегом земля. Не холодно. Во всем есть полузабытое, русское, родное. Дом Нобеля глядит на канал и на тяжкую громаду дворца за ним. Квартира великолепная, картины, кресла, столы из красного дерева и всюду цветы… Нам отведен отдельный апартамент: три комнаты с ванной. Служит специально выписанная для этого из Финляндии русская горничная, молоденькая, смышленая, любопытная [28, 290].

Андрей Седых:

В Стокгольм приехали на рассвете. Толпа на вокзальном перроне, «юпитеры» кинооператоров, поднос с хлебом-солью и букеты цветов в руках В. Н. Буниной и Г. Н. Кузнецовой… Через час мы были уже в особняке Г. Л. Нобеля. В окне — канал с темной, свинцовой водой, тяжелая громада королевского дворца и хлопья мокрого, быстро тающего снега.

Бунин стоит у окна и смотрит на набережную. Часы показывают 9. Северный день только начинается, и газовые фонари у дворца еще не потушены, но небо на Востоке светлеет, и уже видно, как плывут по каналу крупные льдины.

— Хорошо бы поехать куда-нибудь за город, побродить по снегу, потом зайти в шведский кабачок и выпить стакан горячего пуншу… Что у нас сегодня? Какая программа?

— В 11 часов визит в академию. В час дня завтрак у чехословацкого посланника. В 4.30 чай во французском посольстве. В 10 ужин св. Люции, который устраивает в вашу честь редакция «Стокгольм Тиндинген». Кажется, это все.

Иван Алексеевич вздыхает и покорно начинает одеваться. Ни сегодня, ни завтра, ни разу до своего отъезда из Стокгольма он не сможет отправиться за город и побродить по свежему, скрипучему снегу, который напоминает ему Россию [43, 179].

Галина Николаевна Кузнецова:

Перед закатом прошлись с хозяином дома, Олейниковым, по главной улице. Уже зажглись огни — здесь чуть не в три часа темнеет, — было холодней, чем утром. После залитого светом Парижа Стокгольм кажется темным, несмотря на обилие фонарей. Зато канал в фонаре нашей комнаты, переливающийся огнями, все время напоминает Петербург. Завтра здесь предполагается первый большой обед на сорок человек, на котором будет присутствовать вся семья Нобелей. Днем опять была интервьюерша, молодая, серьезная, скромно, но хорошо одетая. ‹…›

В газетах уже появились сделанные утром на вокзале снимки. Бледные расплывшиеся лица и «хлеб-соль» с длинным белым полотенцем, о котором расспрашивают все интервьюеры и потом записывают: «Древний русский обычай». Пишу за столом самого Нобеля. Передо мной его портрет и его круглая хрустальная чернильница [28, 290].

Андрей Седых:

Фотографии Бунина смотрели не только со страниц газет, но и из витрин магазинов, с экранов кинематографов. Стоило Ивану Алексеевичу выйти на улицу, как прохожие немедленно начинали на него оглядываться. Немного польщенный, Бунин надвигал на глаза барашковую шапку и ворчал:

— Что такое? Совершенный успех тенора.

Должен сказать, что успех Буниных в Стокгольме был настоящий. Иван Алексеевич, когда хотел, умел привлекать к себе сердца людей, знал, как очаровывать, и держал себя с большим достоинством. А Вера Николаевна сочетала в себе подлинную красоту с большой и естественной приветливостью. Десятки людей говорили мне в Стокгольме, что ни один нобелевский лауреат не пользовался таким личным и заслуженным успехом, как Бунин [43, 179].

Галина Николаевна Кузнецова:

10 декабря. День раздачи премий. Утром И. А. возили возлагать венок на могилу Нобеля. В газетах портреты нас всех на чае в русской колонии — было человек 150. Говорили речи, пели, снимали. Здешние русские говорят плохо по-русски, и вообще очень ошведились [28, 291].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

В день получения prix Nobel.

Был готов к выезду в 4½. Заехали в Гранд-отель за прочими лауреатами. Толпа едущих и идущих на улице. Очень большое

здание — «концертное». Лауреатов… провели отдельным входом. Все три молодые [55, 242].

Андрей Седых:

В Концертный зал надо было приехать не позже 4 часов 50 минут дня — шведы никогда не опаздывают, но и слишком рано приезжать тоже не полагается. Помню, как мы поднимались по монументальной лестнице при красноватом, неровном свете дымных факелов, зажженных на перроне. Зал в это время был уже переполнен — мужчины во фраках, при орденах, дамы в вечерних туалетах… За несколько минут до начала церемонии, на эстраде, убранной цветами и задрапированной флагами, заняли места члены Шведской академии. По другой стороне эстрады стояли четыре кресла, заготовленные для лауреатов. Ровно в пять с хоров грянули фанфары, и церемониймейстер, ударив жезлом о пол, провозгласил:

— Его Величество король!

В зал вошел ныне покойный Густав V — необыкновенно высокий, худощавый, элегантный. За ним шли попарно члены королевской семьи, двор. Снова зазвучали фанфары — на этот раз для лауреатов. Бунин вошел последний, какой-то особенно бледный, медлительный и торжественный [43, 180–181].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

В зале фанфары — входит король с семьей и придворные. Выходим на эстраду — король стоит, весь зал стоит.

Эстрада, кафедра. Для нас 4 стула с высокими спинками. Эстрада огромная, украшена мелкими бегониями, шведскими флагами (только шведскими, благодаря мне) и в глубине и по сторонам. Сели. Первые два ряда золоченые вышитые кресла и стулья — король в центре. Двор и родные короля. Король во фраке (?). Ордена, ленты, звезды, светлые туалеты дам — король не любит черного цвета, при дворе не носят темного. За королем и Двором, которые в первом ряду, во втором дипломаты. В следующем семья Нобель, Олейниковы. В четвертом ряду Вера, Галя, старушка-мать физика-лауреата. Первым говорил С. об Альфреде Нобель.

Затем опять тишина, опять все встают, и я иду к королю. Шел я медленно. Спускаюсь по лестнице, подхожу к королю, который меня поражает в этот момент своим ростом. Он протягивает мне картон и футляр, где лежит медаль, затем пожимает мне руку и говорит несколько слов. Вспыхивает магния, нас снимают. Я отвечаю ему.

Аплодисменты прерывают наш разговор. Я делаю поклон и

поднимаюсь снова на эстраду, где все продолжают стоять. Бросаются в глаза огромные вазы, высоко стоящие с огромными букетами белых цветов где-то очень высоко. Затем начинаются поздравления. Король уходит, и мы все в том же порядке уходим с эстрады в артистическую, где уже нас ждут друзья, знакомые, журналисты. Я не успеваю даже взглянуть на то, что у меня в руках. Кто-то выхватывает у меня папку и медаль и говорит, что это нужно где-то выставить. Затем мы уезжаем, еду я с этой милой старушкой-матерью. Она большая поклонница русской литературы, читала в подлиннике наших лучших писателей. Нас везут в Гранд-отель, откуда мы перейдем на банкет, даваемый Нобелевским Комитетом, на котором будет присутствовать кронпринц, многие принцы и принцессы, и перед которым нас и наших близких будут представлять королевской семье, и на котором каждый лауреат должен будет произнести речь.

Мой диплом отличался от других. Во-первых тем, что папка была не синяя, а светло-коричневая, а во-вторых, что в ней в красках написана ‹написаны› в русском билибинском стиле две картины, — особое внимание со стороны Нобелевского Комитета. Никогда, никому этого еще не делалось [55, 242].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

11 декабря. В момент выхода на эстраду И. А. был страшно бледен, у него был какой-то трагически-торжественный вид, точно он шел на эшафот или к причастию. Его пепельно бледное лицо наряду с тремя молодыми (им по 30–35 лет) прочих лауреатов обращало на себя внимание. Дойдя до кафедры, с которой члены Академии должны были читать свои доклады, он низко, с подчеркнутым достоинством поклонился [28, 291].

Андрей Седых:

Помню поклон Бунина, преисполненный великолепия, рукопожатие короля и красную сафьяновую папку, которую Густав V вручил Ивану Алексеевичу вместе с золотой нобелевской медалью… Дальше произошел комический эпизод. После церемонии Бунин передал мне медаль, которую я тотчас же уронил и которая покатилась через всю сцену, и сафьяновую папку. Была давка, какие-то люди пожимали руки, здоровались, я положил папку на стол и потом забыл о ней, пока Иван Алексеевич не спросил:

— А что вы сделали с чеком, дорогой мой?

— С каким чеком? — невинно спросил я.

— Да с этой самой премией? Чек, что лежал в папке.

Тут только понял я, в чем дело… Но папка по-прежнему

лежала на столе, где я ее легкомысленно оставил, — никто к ней не прикоснулся, и чек был на месте…

Сколько мы потом смеялись, вспоминая этот эпизод, и с каким неподражаемым видом Иван Алексеевич вздыхал:

— И послал же мне Господь секретаря! [43, 181]

Галина Николаевна Кузнецова:

Вечером был банкет в большом зале Гранд-Отеля, где посредине бил фонтан. Зал в старошведском стиле, убранный теми же желто-голубыми флагами. Посреди главный стол, за которым, среди членов королевской семьи, сидели лауреаты (Голова В. Н. между двух канделябров, с тяжелым черно-блестящим ожерельем на шее, в центре стола.)

Сидеть за столом во время банкета было довольно мучительно. Я сидела за столом ближайшим к главному, по бокам были важные незнакомые лица, кроме того, я волновалась за И. А. — ему предстояло в этом огромном чопорном зале, перед двором говорить речь на чужом языке. Я несколько раз оглядывалась на него. Он сидел с принцессой Ингрид, большой, красивой, в голубом с собольей оторочкой платье.

Речи начались очень скоро. И. А. говорил, однако, очень поздно, после того как пронесли десерт (очень красивая церемония: вереница лакеев шла, высоко неся серебряные блюда, на которых в глыбах льда лежало что-то нежное и тяжелое, окруженное розово-паутинным, блестящим, сквозившим в свете канделябров). Я волновалась за него, но когда он взошел на кафедру и начал говорить перед радиоприемником, сразу успокоилась. Он говорил отлично, твердо, с французскими ударениями, с большим сознаньем собственного достоинства и временами с какой-то упорной горечью. Говорили, что, благодаря плохой акустике, радиоприемнику и непривычке шведов к французскому языку, речь его была плохо слышна в зале, но внешнее впечатление было прекрасное. Слово «exilé»[17] вызвало некоторый трепет, но все обошлось благополучно [28, 292–293].

Владимир Семенович Яновский:

Когда Иван Алексеевич удостоился Нобелевской премии, все корреспонденты, и русская печать в особенности, описывали, как изящно, по-придворному, лауреат отвесил поклон шведскому королю. И фрак Ивана Алексеевича, и рубашка — все выглядело безукоризненно. Об одном почти забыли упомянуть или упоминали только мельком — это о содержании его речи. Кем-то переведенная для Бунина, может быть при участии А. Седых, и произнесенная с плохим французским выговором, она была

плоска и бесцветна.

Казалось бы, вот оказия выпрямиться во весь рост, выкрикнуть что-то свое о большевиках, о войне, о подвиге эмиграции, о свободе явной и тайной. Весь мир через час услышит, прочитает, повторит.

Но нет, Ивану Алексеевичу нечего прибавить к своим произведениям. Он локальное, русское, литературное явление. Европу, Америку он может удивить только европейским фраком и придворным книксеном [59, 317].

Галина Николаевна Кузнецова:

17 декабря. День отъезда из Стокгольма. Уезжаем в 10 вечера. Солнце, серебристо-голубой канал, с плывущим по нему льдом, похожим на воск, вылитый на воду во время гаданья, колокольный звон (воскресенье). В канале неподвижные пароходики, со стелющимися по ветру флагами, напротив — мрачная кирпично-серая громада дворца. Проходит молодежь в костюмах для катанья на коньках или лыжах, дамы в русских ботиках, мужчины в меховых шапках. Голубые трамваи, дома с колоннами, с вышками ренессанса, высокая темно-красная башня Статхюста с блестящими высоко в сером воздухе тремя золотыми коронами на шпиле. ‹…›

21 января 1934. Париж. Странное чувство пустоты, конца. Шум двух последних месяцев совсем отшумел. И многое еще как будто неосознанное отшумело. Жизнь все-таки переломилась, и надо опять начинать какое-то новое существование… [28, 293–295]

Георгий Викторович Адамович:

Вернувшись из Стокгольма после получения Нобелевской премии, Бунин пришел к Мережковским: visite de courtoisie[18], тем более необходимый, что Мережковский был его нобелевским соперником и даже тщетно предлагал условиться о разделе полученной суммы пополам, кому бы из них двоих премия ни досталась.

Зинаида Николаевна встретила его на пороге и будто не сразу узнала. Потом, не отнимая лорнета, процедила:

— Ах, это вы… ну что, облопались славой?

Бунин рассказывал об этом несколько раз и всегда с раздражением [3, 140].

Ирина Владимировна Одоевцева:

В январе 1934 года, вернувшись из Риги, где мы с Георгием Ивановым провели год, мы отправились к Мережковским

на «воскресенье». Не успела я поздороваться со всеми и ответить на многочисленные вопросы Зинаиды Николаевны, как раздался звонок и в столовую вбежал взволнованный, растерянный Злобин, звонко крича:

— Бунин!

Минута замешательства.

Это действительно была историческая минута, и все сразу почувствовали ее значение.

Бунин недавно вернулся из Стокгольма. И это был его первый (и последний) визит к Мережковским. Ответный визит: Мережковский еще до отъезда Бунина в Стокгольм для получения Нобелевской премии ходил поздравлять его в отель «Мажестик». Но не застал.

— Не был принят. Не удостоился лицезреть, — уверяла Зинаида Николаевна. — Понятно — зазнался Иван. Теперь уж он к нам ни ногой.

И вдруг Бунин, «сам Бунин», во всем сиянии и блеске своего величия и славы…

Шум отодвигаемых стульев. Все, за исключением одной Зинаиды Николаевны, встали и почтительно замерли на своих местах.

Мережковский, побледнев до пепельной серости, вскочил и, еще больше сгорбившись, суетливо, почти вприпрыжку бросился встречать.

Казалось, даже тусклая лампа над столом засветила ярче, когда в столовую легко, твердо и не спеша вступил, держась необычайно прямо, новонобелевский лауреат. Его худое, бритое лицо с зоркими глазами, с чуть презрительно сжатыми тонкими губами выражало царственную, высокомерную благосклонность.

За ним, придавая еще большую торжественность его появлению, скромно шли Вера Николаевна и Галина Кузнецова.

Зинаида Гиппиус одна среди этого моря почтительного волнения сохраняла спокойствие и хладнокровие, внимательно рассматривала вошедших сквозь стекло своего лорнета. Грациозно подавая руку Бунину, она протянула лениво:

— Поздравляю, — добавив после короткой паузы: — И завидую.

Она здоровается с Верой Николаевной и Галиной Кузнецовой, в упор уставляя на них свой лорнет.

— Какое на вас красивое платье, Вера Николаевна, — растягивая слова, произносит она, — верно, страшно дорого стоило? — Улыбка в сторону Галины Кузнецовой: — И на вас тоже… С каким вкусом и, верно, тоже страшно дорогое… Садитесь возле меня, Иван. Мне так интересно услышать, как вас

приветствовал шведский король и как он вам кланялся.

Бунин, перед тем как занять место около нее, с той же царственной благосклонностью обошел всех, принимая поздравления. Я удостоилась даже его картавого передразнивания.

— Здрравствуйте, здрравствуйте. Страшно прррриятно вас видеть. ‹…›

Бунин красноречиво описывает свою поездку в Швецию, церемонию получения премии.

Мережковский, успевший овладеть собой, пускает в него несколько отравленных стрел, плохо закамуфлированных лестью. Недолет. Перелет. Ни одна стрела не попадает в цель. Бунин просто не замечает их и отвечает на вопросы Мережковского с той же величавой благосклонностью.

Снова звонок. На этот раз двери открывает прислуга, а не Злобин, весь ушедший в свою роль jeune fille de la maison — в угощение «высоких гостей» — чаем, печеньем и появляющимся только по большим праздникам ликером «moine miraculeux».

Из прихожей быстро входит известный художник Х, останавливается на пороге и, устремив взгляд на сидящего в конце стола Мережковского, как библейский патриарх, воздевает руки к небу и восклицает:

— Дождались! Позор! Позор! Бунину дать Нобелевскую премию!

Но только тут, почувствовав, должно быть, наступившую вдруг наэлектризованную тишину, он оглядывает сидящих за столом. И видит Бунина.

— Иван Алексеевич! — вскрикивает он срывающимся голосом. Глаза его полны ужаса, губы вздрагивают. Он одним рывком кидается к Бунину: — Как я рад, Иван Алексеевич! Не успел еще зайти принести поздравления… От всего сердца…

Бунин встает во весь рост и протягивает ему руку.

— Спасибо, дорогой! Спасибо за искреннее поздравление, — неподражаемо издевательски произносит он, улыбаясь [37, 61–62].

Сергей Кречетов *(Сергей Алексеевич Соколов, 1878–1936), поэт, критик, издатель. Из письма А. П. Бурову. 1.01.1934 г. Берлин:*

К нему уже текут моря, — буквально МОРЯ! — не только просительных и умоляющих, но и требовательных, вымогающих и угрожающих писем. Раскрой он кошелек, получится рассказ Тэффи ‹…›. Там гадатели о том, как некий лауреат «теперь ДОЛЖЕН» туда-то и туда-то столько-то дать, распределив

мысленно пожелания, увидели, что самому-то ему не останется ничего, и спокойно решили: — «Ну, что ж! Как-то раньше жил, проживет и дальше» [39, 592, 594].

Иван Алексеевич Бунин. *Из интервью с П. Пильским для газеты «Сегодня»:*

Как только я получил премию, мне пришлось раздать около 120000 франков. Да я вообще с деньгами не умею обращаться. Теперь это особенно трудно. Знаете ли вы, сколько писем я получил с просьбами о вспомоществовании? За самый короткий срок пришло до 2000 таких писем [6, 218].

Владимир Пименович Крымов:

Между прочим, Бунина ругают за то, что он не раздает денег. Это неверно — Бунин отдал десять процентов полученной премии, то есть около семидесяти пяти тысяч франков, для раздачи нуждающимся писателям и другим организациям по усмотрению комиссии, председателем которой был профессор Кульман [27, 205].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из письма А. К. Бабореко. 12 октября 1971 г.:*

Взять хотя бы изречение Тэффи: «Общество обиженных Буниным». Тэффи очень любила Бунина и фразу эту не раз повторяла при нас, смеясь над тем, что Бунин дал не только сто тысяч франков из своей Нобелевской премии «братьям-писателям», но «неофициально» еще совал многим тысячу-другую нуждающимся своим друзьям (фамилий не буду называть), и все-таки многие были «обижены» [5, 137].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

9 ноября 1934. Ровно год, как раздался звонок из Стокгольма и все завертелось. Кутерьма пошла и до сих пор мы не обрели покоя. Слава, деньги, поздравления, восторги, зависть, требования, обиды, радость, что можно помочь, огорчение, разочарование, бессилие, лесть — вот чувства, которые или мы испытали или окружающие. И все это мешалось, путалось, переплеталось, и до сих пор мы точно во сне. Это мешало сосредоточиться, работать, а тут еще горе без конца [55, 248].

Париж. «Яшкинская улица»

Антонин Петрович Ладинский:

В последние зарубежные годы Бунин жил во Франции, в Париже, в тихом квартале Пасси. В этом шестнадцатом округе французской столицы сто лет тому назад, когда здесь встречался с Ганской Бальзак, была настоящая деревня и в рощах прыгали дикие кролики. Теперь это чопорный и буржуазный уголок Парижа, без маленьких бистро, которыми полны парижские улицы. Здесь на малолюдной улице Жак Оффенбах у Буниных была скромная квартира. Недалеко от него жили Мережковские, Тэффи [36, 219].

Никита Алексеевич Струве:

Бунин — безбытен, его квартира ничем не отличается от других эмигрантских квартир, разве что беспорядка больше, чем обыкновенно. Принимать он любит в столовой — там чуть прибраннее, чем в других комнатах, — но она ничем не примечательна. ‹…› Бунин не прочь пойти в гости, проветриться, развлечься [50, 249].

Александр Васильевич Бахрах:

Я стал «захаживать» к нему на дом, на ту самую неуютную и едва ли не умышленно неприглядную квартиру на улице Оффенбаха, в которой он и скончался тридцать лет спустя. Иной раз он просил меня заглянуть к нему ‹…› чтобы сообща с Верой Николаевной обсудить технические детали предстоящего литературного чтения, уточнить щепетильный вопрос о том, как распространять билеты на этот вечер и составить «проскрипционные» списки, то есть списки потенциальных «меценатов», которым эти билеты предстояло и тут не будет большого преувеличения — «навязывать». Дело было сложное и требовавшее большого дипломатического такта: ведь упаси боже, если одному и тому же лицу билеты будут предложены несколькими из тех любвеобильных дам, которые свое «хождение по мукам» (иначе их самопожертвования и не назвать!) приравнивали к причастности к великой русской литературе! А ведь больно подумать — эти «благотворительные» вечера в течение долгих лет были чуть ли не основной статьей в бюджете последнего русского классика [8,21].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

1938 ‹…›. Труднее этого заработка — чтениями — кажется,

ничего нет. Вагоны, отели, встречи, банкеты — и чтения — актерская игра, среди кулис, уходящих к чертовой матери вверх, откуда несет холодным сквозняком.

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

Часто говорили мы о Париже.

— Любите ли вы Париж? — спрашивала я.

— Люблю, очень люблю, и не только потому, что это прекрасный город и памятник культуры. Сила Парижа в том, что он не накладывает на вас руку. Годами люди живут в Париже и отнюдь не становятся «парижанами», а остаются тем, чем были раньше. Сила Парижа в том, что он приемлет и чтит каждого.

— Да. Сколько писателей, мыслителей жили и творили в Париже! Для всех он вторая родина.

— О нет! Не родина, а только дом! И как значительно это слово «дом». В Париже люди обосновываются надолго потому, что это город-«светоч», он каждого освещает: каждый может найти тот «свет», который ищет. Потому-то элита всех стран и народов прошла через Париж. Здесь взвешивается все на общечеловеческих весах. А как хорошо дышать весной в Париже, когда распускаются почки каштанов, дышать этим издалека веющим ветром свободы и простора [32, 306].

Александр Васильевич Бахрах:

Довольно часто мне приходилось ‹…› встречаться с Буниным ‹…› в монпарнасских кафушках, в которых тогда чуть ли не ежевечернее любила сходиться литературная молодежь. Несмотря на разницу лет и положения в литературе Бунин ‹…› хоть и не терпевший фамильярности, все же стремился быть с каждым на равной ноге. На Монпарнасе он старался разыгрывать роль старшего товарища [8, 22].

Владимир Алексеевич Смоленский:

Помню его сидящего среди нас в Dom’e или в Select’e, всегда веселого, дружественного — первого среди равных [45, 257].

Антонин Петрович Ладинский:

Бунина в последние годы тянуло туда, где музыка, где танцуют, хотя сам он не танцевал, где можно в нарядной обстановке выпить стакан вина. Он терпеть не мог «скучных материй», как он говорил, философствования и переливания из пустого в порожнее. Иногда на каком-нибудь собрании академического характера, когда бородатый оратор говорил выспренне о «моральных идеалах» или разглагольствовал о

проблеме добра и зла, Бунин шептал, не спуская глаз с философа: «А может быть, сегодня где-нибудь вечеринка есть? А что если поехать на людей посмотреть?»

С важным видом, якобы связанные каким-то обязательствами и якобы с сожалением, мы выходили на цыпочках при явной зависти менее решительных слушателей, садились в такси и ехали куда-нибудь на вечеринку, где была музыка и было много молодых женщин [36, 221].

Война. Грасский дневник–2

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

В сентябре 1939 года неожиданно началась война.

Бунины были одиноки и растеряны. К этому времени они окончательно покинули дачу «Бельведер».

Новая вилла «Жаннет», снятая у англичанки мадам Юльбер, уехавшей на время войны в Англию, была гораздо лучше и просторнее «Бельведера». Хорошая, барская обстановка, изумительный вид на Грасс — все это подбодрило Буниных. Конечно, взбираться на те высоты, на которых находилась «Жаннет», было нелегко. Вилла была одной из последних по Наполеоновской дороге, почти при выезде из Грасса. Над ней в саду возвышалась каменная часовня, а за часовней сразу начинался хвойный лес. Нужно было полчаса, чтобы подняться из Грасса по сокращенной дороге: по крутым тропинкам и лестницам мимо кактусов и запущенных огородов.

Но Бунин любил «высоты» и «горные тропинки», боялся он только одиночества на этих «высотах» и поэтому желал как можно скорее заселить бунинское гнездо «живыми» людьми.

На самом верхнем этаже поселились «горцы» — Г. Н. Кузнецова и М. А. Степун (они назывались также «барышнями» или «Галиной» и «Маргой»). Это прозвище указывало на то, что они не всегда снисходили к живущим ниже. ‹…› К ним поднимались по приглашению по довольно крутой внутренней лестнице. Говорили о них во множественном числе, так как были они неразлучны, всегда их видели вместе: очень приятную на вид поэтессу, небольшого роста, мягкую, женственную, и рядом с ней высокую, худощавую певицу, часто в очках и штанах.

«Горцы» говорили о литературе, о музыке и любили уединяться, — часто выезжали вдвоем, несмотря на недовольные и укоризненные взгляды ревнивого Ивана Алексеевича.

В таких случаях сразу казался он старше, становился обрюзгшим, с мешками под глазами и отвисшими щеками, и быстро запирался у себя. Но бывало, что выезжали «горцы» вместе с И. А., — тогда опять на его лице был блеск и был он весь искрящийся и моложавый. ‹…›

Кабинет, куда он скрывался, находился на втором этаже. Полный света, солнца, с широкими окнами и дивным видом на расстилавшийся простор — на далекие холмы и горы Эстереля, на голубую полосу моря. Обстановка была самая располагающая к умственной работе: большой письменный стол, красивые мягкие

кресла, ковер и диван, на котором И. А. спал.

У Веры Николаевны была самая крайняя комната с большим, застекленным балконом, выходившим в сад. Стол, пишущая машинка, на которой годами перестукивала она рукописи И. А. Много бумаг, много книг, разложенных всюду. Семейные реликвии, иконы. Никаких безделушек, ничего уютного, специфически женского — скорее комната-келья. «Люблю мое уединение, — говорила она, — хорошо здесь думать и беседовать со своей памятью». На балконе горшки с цветами стояли и на полу, и на окнах. Тут же находилась большая тахта с подушками и садовая мебель: стол и кресла. Этот балкон предназначался для гостей В. Н., с которыми она особенно любила «поговорить по душам». ‹…›

На этом же этаже поселилась молодая дама — Ляля (Жирова), красивая шатенка с большими, широко расставленными, зеленовато-карими глазами. Она имела какое-то отношение к писательским кругам, всегда чем-то хворала, лежала и без конца курила. Маленькая дочь ее Олечка, которую Ляля обожала и неудержимо ревновала, была всеобщей любимицей.

Иногда, из-за этой всеобщей ревности «всех ко всем», в атмосфере на вилле «Жаннет» набиралось столько электричества, что разражалась гроза [32, 309–312].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

8. IX.40. Воскресенье. ‹…› 9 ч. вечера. Восьмичасовое радио: ‹…› «гигантская битва» немцев с англ., — тысяча авионов над Лондоном, сброшено миллион пудов бомб, сотни убитых и раненых, а англичане громят Берлин и сев. побережье Франции. Уже два часа идет дождь и через кажд. пять секунд тяжко, со стуком потрясает небо гром. Открывал окно: ежесекундно озаряется все небо дрожащим голубым светом, дождь летит на голову. Осенью мы будем сидеть здесь как на «Фраме» Нансена. И что будем есть? Оливкового масла осталось у нас 5 бутылок — очевидно, на всю осень, а может, и зиму. И чем будем топить? [55, 294]

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

22. VI.41. 2 часа дня. С новой страницы пишу продолжение этого дня — великое событие — Германия нынче утром объявила войну России — и финны и румыны уже «вторглись» в «пределы» ее.

После завтрака (голый суп из протертого гороха и салат) лег продолжать читать письма Флобера (письмо из Рима к матери от 8 апр. 1851 г.), как вдруг крик Зурова: «И. А., Герм‹ания›

объявила войну России!» Думал, шутит, но то же закричал снизу и Бахр‹ах›. Побежал в столовую к радио — да! Взволнованы мы ужасно. ‹…› Да, теперь действительно так: или пан или пропал [55, 317].

Георгий Викторович Адамович:

Должен без колебания, во имя истины, сказать, что за все мои встречи с Буниным в последние пятнадцать лет его жизни я не слышал от него ни одного слова, которое могло бы навести на мысль, что его политические взгляды изменились. Нет, взгляды эти, всегда бывшие скорей эмоциональными, чем рассудочными, внушенные скорей чувствами, воспоминаниями и впечатлениями, чем твердым, продуманным предпочтением одного социального строя другому, взгляды эти, настроения эти оставались неизменны. Война потрясла и испугала Бунина: испугала за участь России на десятилетия и даже столетия вперед, и этот глубинный страх заслонил в его сознании все то, что в советском строе по-прежнему оставалось для него неприемлемо. Он ждал и надеялся, что война, всколыхнувшая весь народ, придаст советскому строю некоторые новые черты, новые свойства, и был горестно озадачен, когда понял, что этого не произошло. ‹…›

За ходом военных действий Бунин следил лихорадочно и сетовал на союзников, медливших с открытием второго европейского фронта. Гитлеровцев он ненавидел и стал ненавидеть еще яростнее, когда вслед за сравнительно беспечными, даже добродушными итальянцами южная часть Франции была оккупирована именно ими. ‹…›

Бунин не в состоянии был себя сдерживать. Однажды я завтракал с ним в русском ресторане на бульваре Гамбетта, недалеко от моря. Зал был переполнен, публика была в большинстве русская. Бунин по своей привычке говорил очень громко и почти исключительно о войне. Некоторые из присутствующих явно прислушивались к его словам, может быть, и узнали его. Желая перевести беседу на другие темы, я спросил его о здоровии, коснулся перемены погоды: что-то в этом роде. Бунин, будто бравируя, во всеуслышание воскликнул, — не сказал, а именно воскликнул:

— Здоровие? Не могу жить, когда два этих холуя собираются править миром!

Два холуя, т. е. Гитлер и Муссолини. Это было до крайности рискованно. По счастью, бунинская смелость последствий для него не имела. ‹…›

Когда мы вышли, я упрекнул Бунина в бессмысленной неосторожности. Он ответил: «Это вы — тихоня, а я не могу

молчать». И, лукаво улыбнувшись, будто сам над собой насмехаясь, добавил:

— Как Лев Николаевич! [3, 122–123]

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

4.3.42. Серо, прохладно, нездоровье. ‹…› Второй день без завтрака — в городе решительно ничего нет! Обедали щами из верхних капустных листьев — вода и листья!

И озверелые люди продолжают свое дьяволово дело — убийства и разрушение всего, всего! И все это началось по воле одного человека — разрушение жизни всего земного шара — вернее, того, кто воплотил в себе волю своего народа, которому не должно быть прощения до 77 колена.

Нищета, дикое одиночество, безвыходность, голод, холод, грязь — вот последние дни моей жизни. И что впереди? Сколько мне осталось? И чего? Верно, полной погибели. ‹…›

Полнолуние. Битвы в России. Что-то будет? Это главное, главное — судьба всего мира зависит от этого [55, 343–344].

А. Б. Либерман, *пианист. Из письма А. К. Бабореко, 23 июня 1964 г.:*

Как сейчас помню жаркий летний день в августе 1942 года. Подпольная французская организация оповестила нас, что этой ночью будут аресты иностранных евреев (впоследствии и французские евреи не избежали той же участи). Мы сейчас же принялись за упаковку небольших чемоданов, чтоб скрыться «в подполье». Как раз в этот момент зашел Иван Алексеевич. С удивлением спросил, в чем дело, и когда мы ему объяснили, стал… настаивать на том, чтобы мы немедленно поселились в его вилле. Мы сначала отказывались, не желая подвергать его риску, но он сказал, что не уйдет, пока мы не дадим ему слова, что вечером будем у него.

Так мы и сделали — и провели у него несколько тревожных дней. Это как раз было время борьбы за Сталинград, и мы с трепетом слушали английское радио, совершенно забывая о нашей собственной судьбе… [6, 230–231]

Александр Васильевич Бахрах:

Бунин старался не думать о том, что происходит вокруг, потому что хотя и сохранял глубокий оптимизм по отношению к исходу войны, иной раз вдруг склонен был предаваться паническим настроениям. Всякое поражение союзных армий, раздуваемое местными радиостанциями, он переживал как трагическое и непоправимое событие. ‹…› Помню также, с каким

волнением он следил за Сталинградской битвой — то считая, что все потеряно, то — несколько часов спустя — переходя от чрезмерного пессимизма к преувеличенно радужным надеждам. В жизни Бунин был крайне нетерпелив, и оттого ему непременно хотелось, чтобы военные события развивались в том темпе, который был свойственен его природе [8, 181].

Иван Алексеевич Бунин:

3. VI.42. Май был необыкновенный — соверш. чудовищные битвы из-за Керчи и вокруг Харькова. Сейчас затишье — немцы, кажется, потерпели нечто небывалое. А из радио (сейчас почти одиннадцать вечера) как всегда они заливаются. Удивительно — сколько блядского в этом пении, в языке! Думаю все время: что же это впереди! Если немцы не победят, полная погибель их. Если победят — как может существовать страна, ненавидимая почти всем миром? Но и в том, и в другом случае — что будет со страной, у которой погибло все самое сильное чуть ли не с 15 лет до 50! А уже погибли миллионы и еще погибнут [55, 350].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

Жизнь на вилле «Жаннет» шла однообразно. Всегдашнее беспокойство Буниных о судьбе оставшихся в Париже, по ту сторону оккупационной зоны. Беспокойство о судьбе бездомной и больной Ляли и об Олечке. Грозные военные вести, которые жадно ловили по радио. Некоторое оживление внесли рождественские праздники, которые все в доме любили, а В. Н. особенно, и встреча Нового, 1943 года. ‹…›

За годы войны все вокруг одряхлело. Вилла «Жаннет» тоже потеряла свой элегантный, буржуазный вид. Центральное отопление давно перестало действовать. Водопровод, электричество часто закрывали. Полы не натирались годами; мебель расшаталась, запачкалась. Сад был запущен, деревья не подстрижены.

Сильный творческий дух Бунина сумел противостоять и этому материальному одряхлению, и всем житейским невзгодам и трудностям. Нобелевская премия ‹…› была щедро роздана неимущим и прожита. Бунины не умели «обращаться с деньгами» и «придерживать» их. Безденежье очень угнетало И. А. ‹…›

Жить в Грассе становилось все хуже. Ни продовольствия, ни денег. Кто мог поддержать писательское гнездо? Каждый думал о том, как бы прокормиться!.. «Горцы» давно уехали. Жили вчетвером: Бунины, Зуров и Бахрах [32, 319–321].

Александр Васильевич Бахрах:

Ежевечерне (в остальное время дня это никогда нам не удавалось) он сходил в столовую, где стоял большой радиоприемник, и силился поймать Лондон или Швейцарию и особенно стал интересоваться ходом военных действий с момента гитлеровского наступления на Россию. В своей комнате он развесил огромные карты Советского Союза и внимательно следил за штабными сводками, негодуя, когда какую-нибудь местность, упомянутую в этих сводках, он не находил на своих картах. Только когда нацистские армии проникли слишком далеко вглубь советской территории, перестал он делать отметки на картах, «чтобы не огорчаться». Помню, как в дни Тегеранского совещания он говорил: «Нет, вы подумайте, до чего дошло — Сталин летит в Персию, а я дрожу, чтобы с ним, не дай Бог, чего в дороге не случилось!» [8, 181–182]

Иван Алексеевич Бунин:

23.7.1944. Взят Псков. Освобождена уже вся Россия! Совершено истинно гигантское дело! [55, 374]

«Темные аллеи»

Александр Васильевич Бахрах:

Мне посчастливилось наблюдать за ним в период писания «Темных аллей». Большинство рассказов, составивших этот последний прижизненный том его художественной прозы, сочинял он в военные годы, в период нашего сидения на вилле «Жаннет» в Грассе. ‹…› Он писал свою книгу запоем, словно все время торопился, боялся не поспеть, боялся, что военные события воспрепятствуют ее завершению. Бывали недели, когда он с утра буквально до позднего вечера запирался (неизменно на ключ!) в своей большой комнате, во время оно уютной и очень «барской», но приведенной им в какое-то неописуемое, неправдоподобное, хаотическое состояние. Из четырех огромных итальянских окон этой комнаты вдалеке виднелось море, а в особо ясные дни — и очертания итальянских берегов (дом стоял на крутой горе, у той дороги, по которой бежавший с Эльбы Наполеон шел отвоевывать Францию), — на переднем плане причудливо расстилался Грасс, окруженный альпийскими отрогами с их жасминовыми и розовыми склонами. Чтобы отдохнуть от долгого писания, Бунин нередко подходил к этим окнам, смотрел на лазурное море ‹…› на прилегающий к вилле, расположенный террасами сад, в котором работал старый садовник-провансалец — главный его враг в это время! — а то стоял у окна в нетерпеливом ожидании весьма неаккуратного почтальона, приносившего газеты. ‹…›

Из своего обиталища он спускался только к скудным трапезам ‹…› возвещавшимся гонгом с некоторой неуместной торжественностью. Эти общие трапезы неизменно сопровождались проклятиями по адресу «фюрера» ‹…› Петена, домочадцев, не сумевших потрафить его гастрономическим потребностям, и легкими «ссорами» при дележе макарон, хотя и осточертевших, но все же всем нам казавшимися изысканнейшим из блюд. Выругавшись по поводу скудости пищи и вспомнив, каких рябчиков и с каким соусом подавали в «Праге», он забирал свою бутылку красного вина и снова взбирался к себе наверх, снова запирался и писал уже до самого вечера. Только в редкие дни прерывал он свою работу, ради поездок в Ниццу или в Канны, учащавшиеся во время летнего сезона, когда можно было искупаться в море [8, 174–176].

Иван Алексеевич Бунин:

С 8 на 9.V.44. Час ночи. Встал из-за стола — осталось дописать неск. строк «Чистого Понед‹ельника»». Погасил свет,

открыл окно проветрить комнату — ни малейш. движения воздуха; полнолуние, ночь неяркая, вся долина в тончайшем тумане, далеко на горизонте неясный розоватый блеск моря, тишина, мягкая свежесть молодой древесной зелени, кое-где щелканье первых соловьев… Господи, продли мои силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте и в работе! [55, 372]

Марк Вишняк. *Из письма М. Алданову. 25 января 1946 г.:*

Бунин, конечно, в отдельных местах хорош, но мне несносен; я имел как раз неудачную мысль прочесть его «Аллеи» и пришел, конечно, в полный раж: изнасилование, растление, опять насилование, и все в 43, 44 и 45 гг. — самый подходящий сезон… [58, 133]

Георгий Дмитриевич Гребенщиков *(1883–1964), писатель, публицист, издатель. Из письма М. Алданову. 14 февраля 1946 г.:*

Растлевающий дух, разящий от гордого олимпийца из дворян… Почему никто из почитателей Бунина не решился написать ему, что последний ряд его рассказов («Темные аллеи». — Сост.) — кокетство дурного тона и документ, изобличающий всю извращенность его гордости и благородства? [58, 133]

Марк Алданов. *Из письма Г. Д. Гребенщикову. 20 февраля 1946 г.:*

Ваш отзыв о Бунине меня огорчил. Я и сам не сочувствую его «уклону». Кажется, ему не сочувствует никто. ‹…› Но Вы согласитесь с тем, что порнографии в прямом смысле в его рассказах нет. Впрочем, что такое прямой смысл? Я понимаю под порнографией следующее: писатель нарочно, чтобы завоевать себе успех, играет на эротических инстинктах читателей. Этого у Бунина нет. Напротив, он сам себе вредит и у русского читателя, и особенно у иностранного. Попытки устроить американское издание «Темных аллей» не удались: издатели именно на это ссылались. Между тем его рассказ «Натали» (был в «Новом журнале»), принадлежащий к тому же тому, но не заключавший в себе грубых сцен, был не только издан по-английски, но включен в Фишеровскую антологию европейской литературы двадцатого века. Бунин всего этого не может не понимать (да я ему и писал об этом). Но он органически не способен писать не о том, что его волнует. Что же делать, если его в особенности волнует физическая любовь — именно теперь, в 75 лет. Вы скажете: это-то и гадко. Я не знаю, гадко ли, не думаю (вспомните толстовского «Дьявола»), но повторяю: что ж

делать? Ни Вам, ни мне еще 75 нет. Бунин по-своему прощается с жизнью [58, 133–134].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма Ф. А. Степуну. 10 марта 1951 г.:*

Жаль, что Вы написали в «Возрождении» что «в „Темных аллеях“ есть некий избыток рассматривания женских прельстительностей» ‹…› Какой там избыток! Я дал только тысячную долю того, как мужчины всех племен и народов «рассматривают» всюду, всегда женщин со своего десятилетнего возраста и до 90 лет (вплоть до всякой даже моды женской): последите-ка, как жадно это делается даже в каждом трамвае, особенно когда женщина ставит ножку на подножку трамвая! И есть ли это только развратность, а не нечто в тысячу раз иное, почти страшное? [19, 77]

В послевоенном Париже

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

1 мая 1945 г., навсегда расставшись с Грассом ‹…› Бунины с радостью и надеждой вернулись домой, в свою небольшую квартиру на улице Жак Оффенбах («Яшкинская» улица). Сразу наступило «жаркое» время парижской деятельности, плохо отразившееся на здоровье И. А. [32, 324].

Георгий Викторович Адамович:

Русский Париж в первые послевоенные дни находился в большом возбуждении. Было много споров, немало раздоров, а пожалуй, еще больше иллюзий и надежд. Казалось, в жизни эмиграции наступает перелом ‹…›. Из Москвы, например, приехал Илья Эренбург, выразивший желание встретиться с молодыми эмигрантскими поэтами, что прежде было бы невозможно ‹…› Вместе с Эренбургом приехал и Симонов, два или три раза встретившийся с Буниным. ‹…› Обед, на котором присутствовал и я, был ‹…› у Бориса Пантелеймонова, состоятельного человека, довольно популярного в то время писателя, которому покровительствовала Тэффи. Мне представляется, что именно у Пантелеймонова Бунин с Симоновым и познакомился, потому что я хорошо помню, как он с изысканной, слегка манерной, чуть ли не вызывающе старорежимной вежливостью обратился к нему, едка мы сели за стол:

— Простите великодушно, не имею удовольствия знать ваше отчество… Как позволите величать вас по батюшке? ‹…›

В начале обеда атмосфера была напряженная. Бунин как будто «закусил удила», что с ним бывало нередко, порой без всяких причин. Он притворился простачком, несмышленышем и стал задавать Симонову малоуместные вопросы, на которые тот отвечал коротко, по-военному: «не могу знать».

— Константин Михайлович, скажите, пожалуйста… вот был такой писатель, Бабель… кое-что я его читал, человек бесспорно талантливый… отчего о нем давно ничего не слышно? Где он теперь?

— Не могу знать.

— А еще другой писатель, Пильняк… ну, этот мне совсем не нравился, но ведь имя тоже известное, а теперь его нигде не видно… Что с ним? Может быть, болен?

— Не могу знать.

— Или Мейерхольд… Гремел, гремел, даже, кажется, Гамлета перевернул наизнанку… А теперь о нем никто и не вспоминает…

Отчего?

— Не могу знать.

Длилось это несколько минут. Бунин перебирал одно за другим имена людей, трагическая судьба которых была всем известна. Симонов сидел бледный, наклонив голову. Пантелеймонов растерянно молчал. Тэффи, с недоумением глядя на Бунина, хмурилась. Но женщина это была умная и быстро исправила положение: рассказала что-то уморительно смешное. Бунин расхохотался, подобрел, поцеловал ей ручку, к тому же на столе появилось множество всяких закусок, хозяйка принесла водку, шведскую, польскую, русскую, у Тэффи через полчаса оказалась в руках гитара — и обед кончился в полнейшем благодушии.

Знаю со слов Бунина, что через несколько дней он встретился с Симоновым в кафе и провел с ним с глазу на глаз часа два или больше. Беседа произвела на Ивана Алексеевича отличное впечатление: он особенно оценил в советском госте его редкий такт [3, 123–124].

Банин:

Придя «на минутку», он просидел битых три часа, к тому же три часа ожесточенного спора. Чтобы поднять себе цену, он заявил, что Советы сулят ему мосты из золота, лишь бы возбудить в нем желание ехать в Россию; предпочтительнее — навсегда, но в крайнем случае, хоть на время. Что же они ему обещают? Все. Золотой дождь, одну дачу в окрестностях Москвы, другую — в Крыму; почести, славу, благодарность, любовь молодого поколения ныне и присно. Когда он кончил перечислять, я глумливо спросила:

— Почему бы не признаться, что вам обещали гарем, где каждая социалистическая республика будет представлена красоткой, избранной на конкурсе красоты?

— Смейтесь, дорогая моя ‹…›. Все равно, если я соглашусь вернуться в СССР, мне это не помешает быть там знаменитым писателем, не помешает тому, что передо мной будут заискивать, что меня будут ласкать и осыпать золотом. — Это была правда [53].

Андрей Седых:

В конце 47-го года случилось событие, которое вызвало у Бунина даже не гнев, а подлинный припадок ярости.

В некоторых эмигрантских газетах, в Париже и в Сан-Франциско, появились статьи, явно порочившие имя Бунина. Автор одной из этих статей, покойный ныне И. Окулич, обвинял

Бунина в том, что он «перекинулся» к большевикам, бывал в советском посольстве и чуть ли не успел съездить в СССР. Литературный критик Г. П. Струве счел нужным выступить в «защиту» И. А. Бунина и сделал это столь неудачно и в такой двусмысленной форме, что автор «Жизни Арсеньева» прислал через меня в редакцию «Нового Русского Слова» письмо резкого содержания по адресу Струве и Окулича. ‹…›

«…› Глеб был прошлой осенью в Париже, и я его видел у брата Алексея, и он в постоянной переписке с ним — как же он „сомневается“, ездил я или не ездил? И почему он «не вдается в оценку по существу этого сопоставления» (сопоставления Окуличем моей поездке и расстрела ‹выданного Москве американцами генерала› Краснова?)

‹…› Какие такие «действия» я совершил? Напечатал несколько рассказов в „Р‹усской› Нов‹и›“ — да, это очень мне грустно, но нужда, нужда! И все-таки, ужели это „аморально“?

Что еще? Был *приглашен* в посольство *позапрошлой осенью* — и поехал — как раз в это время получил две телеграммы от Государственного издательства в Москве — просьбы немедленно выслать сборник моих последних рассказов для издания и еще несколько старых моих книг для переиздания. Увы, посол не завел об этом разговора, *не завел и я* — пробыл 20 минут в „светской“(а не советской) беседе, ничего иного не коснулся и уехал. Ужели это тоже аморальные, преступные действия?

Позапрошлой осенью получил от писателя Телешова из Москвы известия, что издается большой том моих избранных произведений Государственным издательством — и написал столь резкое письмо в это издательство («Вы распоряжаетесь мною, как своим добром, и даже не советуясь со мной, точно Вам наплевать на меня»), что получил позапрошлой осенью французскую телеграмму от этого Государственного издательства: „Согласно вашему желанию, издание ваших избранных произведений suspendue ‹приостановлено›“.

Вот ‹…› *все мои* „действия“. И никуда я не поехал, хотя советский консул и старший советник посольства довели до моего сведения, что, если бы я поехал, я был бы миллионер, имел бы дачи, автомобили и т. д. *Я остался доживать свои истинно последние дни в истинной нищете да еще во всяких болезнях старости*. Кто поступил бы так на моем месте? Кто? ‹…»

Я не стал бы опубликовывать это письмо, если бы оно не имело первостепенного значения для определения политической позиции И. А. Бунина по отношению к советской власти после второй мировой войны. ‹…› Визит его в посольство нужно

рассматривать в связи с той атмосферой, которая царила в русском Париже после окончания войны. Слишком много было пережито, слишком велики были надежды эмигрантов на то, что «к старому теперь не может быть возврата». И в посольстве побывали в дни побед такие заядлые антикоммунисты, как В. А. Маклаков и адмирал Кедров, один из руководителей Общевоинского союза. Политическая «оттепель» быстро кончилась, очень скоро выяснилось, что надежды эмиграции не оправдались, и визиты не повторились [43, 195–198].

Антонин Петрович Ладинский:

Куда-то распылилась Нобелевская премия, и по-прежнему он устраивал свои литературные вечера, билеты на которые распространял особый «дамский комитет». По установившейся традиции эти вечера устраивались в нарядном зале отеля «Лютеция», на Левом берегу. Читал он свои произведения превосходно, очень просто, без всяких риторических приемов, и было в его чтении какое-то русское благородство. Весь вечер Бунин выдерживал на своих плечах. В последние годы, чтобы поддержать свои силы, вынимал перед чтением аптекарскую бутылку с коньяком и преспокойно наливал содержимое в стакан, стоявший на пюпитре. За чтением время от времени он прихлебывал из стакана [36, 223].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

В октябре 1947 г. мне с мужем удалось быть на вечере Бунина. Похудевший, довольно усталый, но бодрящийся (графинчик с коньяком стоял перед ним на столике), он начал ‹…›. На раздавшийся среди публики смех Бунин улыбается своей подкупающей улыбкой и вдруг яростно обрушивается ‹…› на некоторых представителей современной литературы. ‹…› Обрушивается со всей свойственной ему страстностью и по бунинской «мерке».

Это его выступление перед широкой публикой было последним. Он все чаще задыхался, кашлял, его мучила эмфизема. Я всегда видела Бунина подтянутого, выбритого и знала, что он не любил показываться «не в приборе». Поэтому я не удивлялась, когда при моих посещениях он говорил мне из кабинета: «Рад вашему приезду. Целую вас, а выйти не могу! Болен!» [32, 325]

Иван Алексеевич Бунин:

Знаете ли вы чьи-то чудные стихи:

Какое самообладание
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования!

Но где же мне взять самообладания? Я лошадь не совсем простого звания, а главное, довольно старая, и потому трудности существования ‹…› переношу с некоторым отвращением и даже обидой: по моим летам и по тому, сколько я пахал на литературной «ниве», мог бы жить немного лучше. И уже давно не пишу ничего, кроме просьб господину сборщику налогов о рассрочке их для меня. Я и прежде почти ничего не писал в Париже, уезжал для этого на юг, а теперь на какие средства поедешь? Вот и сижу в этой квартирке, в тесноте и уже если и не в холоде, то в довольно неприятной прохладе [8, 198–199].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма М. Алданову. 1 июня 1948 г.:*

Жить чуть ли не на краю могилы и сознавая свою некоторую ценность, с вечной мыслью, что, может быть, завтра у тебя, больного вдребезги старика, постыдно, унизительно доживающего свои последние дни на подачки, на вымаливание их, не будет куска хлеба, — это, знаете, нечто замечательное! [58, 140]

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Бедность Буниных была удивительна. При умении и малой доли практичности денег Нобелевской премии должно было хватить им до конца. Но во времена «жирных коров» Бунины не купили ни квартиры, ни виллы, а советники по денежным вопросам, видимо, позаботились больше о себе, чем о них. ‹…›

Кажется, это вечная попечительница русских зарубежных писателей, Софья Прегель, надоумила меня обратиться во французский ПЕН-клуб и через его посредство собрать немного денег для Буниных.

‹…› Если я к русским судьбам и их превратностям привыкла (мы сами с мужем уже хорошо знали русские горки «то на коне, то под конем»), то Анри Мембре (секретаря ПЕН-клуба. — *Сост.*) русское чудо — бедность писателя, получившего Нобелевскую премию, — так изумило, что он мне с трудом поверил. Поверив, принялся за сбор. Надо сказать, что многие писатели откликнулись на призыв, в том числе и Мориак. Собрано, кажется, было около 30000 старых франков, сумма тогда немалая.

Сам Мембре понес ее Буниным.

Потом он мне рассказывал: «Знаете, я даже растерялся. Обстановка самая убогая. Но у Буниных сидела толпа людей, кто на чем мог, и все что-то пили и закусывали. Я подумал — ведь на такое количество людей денег этих хватит не надолго, а второй раз собирать нельзя» [10, 213].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

В измученном Иване Алексеевиче жил его прежний творческий дух. Любил он по-прежнему общение с друзьями, живо всем интересовался. Чтобы частые посетители не очень его утомляли, решили назначить один день в неделю — «пусть лучше в один день вместе приходят!» Но все же гостей с сентября (1949 г. — Сост.) стало слишком много, и тогда назначили приемные дни: первый и третий четверг каждого месяца. Иногда бывало больше 20 человек. Это утомляло, но и очень радовало И. А. ‹…›

Дом Буниных оставался открытым: несмотря на болезнь, на безденежье, они продолжали живо интересоваться писателями, их судьбой, и никогда не замыкались в свои личные интересы. Я думаю, другого такого «писательского дома» в Париже не было. «Центро-помощь», сказал кто-то. И это было действительно так. Никто не уходил из этого дома «пустым». Все что-то получали, если не материальную поддержку, то совет, или одобрение, или просто симпатию. Если В. Н. была душой этой «центро-помощи», то И. А. ее в этом всегда одобрял, поддерживал, поощрял. Если доброта В. Н. была «активной», то несомненная доброта И. А. была почвой, необходимой для ее деятельности. Про его доброту знала она одна! И. А. ее тщательно скрывал, нигде никогда не афишировал, не терпел никаких благодарностей. Всегда выставлял он вперед В. Н. как зачинщицу [32, 327].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма М. Алданову. 23 августа 1952 г.:*

Буду продавать свое добришко, вплоть до Нобелевской медали, и как-нибудь доживу до смерти, уже близкой… [58, 148]

Угасание

Георгий Викторович Адамович:

В последние годы жизни Бунин был тяжело болен — или, вернее, мучительно слаб. Свела его в могилу ‹…› не какая-нибудь одна, определенная болезнь, а скорее общее истощение организма. Больше всего он жаловался на то, что задыхался: писал об этом в письмах, говорил при встречах.

Помню его сначала в кресле, облаченного в теплый, широкий халат, еще веселого, говорливого, старающегося быть таким, как прежде, — хотя с первого взгляда было ясно, и с каждым днем становилось яснее, что он уже далеко не тот и таким, как прежде, никогда не будет. Помню последний год или полтора: войдешь в комнату, Иван Алексеевич лежит в постели, мертвенно-бледный, как-то неестественно прямой, с закрытыми глазами, ничего не слыша, — пока Вера Николаевна нарочито громким, бодрым тоном не назовет имя гостя.

— Ян, к тебе такой-то… Ты что, спишь?

Бунин слабо поднимал руку, силился улыбнуться.

— А, это вы… садитесь, пожалуйста. Спасибо, что не забываете [3, 125].

Андрей Седых:

В последний раз виделись мы в Париже в декабре 51-го года, когда Иван Алексеевич уже не покидал постели. Печальная была эта встреча… За два года болезнь изменила его ужасно. В приезд 49-го он еще выходил в столовую и присаживался за стол, принимал людей. На этот раз все было иначе. Вера Николаевна, сама очень постаревшая и измученная, с вечным страхом в глазах, вышла ко мне и как-то смущенно сказала:

— Яну плохо, он совсем уже не встает и никого не принимает. Но вас, конечно, рад будет увидеть…

Мы зашли в столовую и сели за стол, накрытый клеенкой. Она рассказывала, жаловалась на старость, на болезни. Время от времени за стеклянной дверью, в соседней комнате, кашлял Иван Алексеевич. Кашель у него был сухой, мучительный, разрывавший грудь.

Наконец, она повела меня в эту комнату. Там был полумрак и стоял тяжкий запах, какой бывает в комнатах больных, боящихся открытых окон, — сложный запах лекарств, крепкого турецкого табака и немощного, старческого тела. Горела в комнате одна лампочка. В углу, на низкой железной кровати, под солдатским одеялом, полулежал, полусидел Бунин.

Сначала я испугался — так страшен был его вид. Он как-то высох, стал маленький, щеки впали и обросли седой щетиной — чем-то он напоминал мне Шмелева. И на этом измученном лице, изрытом глубокими морщинами, я увидел большие глаза, внимательно на меня смотревшие, — он хотел, видимо, проверить, какое впечатление произвел на меня… Тяжело вспомнить, но я так растерялся, что даже не успел придать лицу то «бодрое» выражение, с которым принято входить в комнату к тяжело больным людям, и так беспомощно простоял несколько секунд, а потом шагнул вперед, чтобы его обнять. Но Иван Алексеевич меня остановил:

— Дорогой мой, теперь больше ни с кем не целуюсь и за руку не здороваюсь… Боюсь, занесут заразу. Да и Вас могу заразить: меня вечно теперь лихорадит [43, 214–215].

София Юльевна Прегель:

Бунин отталкивался от своей старости. Считал ее чем-то навязанным, противоестественным. Ему была невыносима мысль, что Андре Жид во фраке едет на свою премьеру в «Комедии Франсез», а он, Бунин, в халате, с трудом и неохотой добирается до столовой, где его ждут посетители.

Болезнь Бунина затягивается, но сознание, что за ним будет ухаживать сестра милосердия, ему ненавистно. «Этих сестер надо гнать в шею». Любови Алексеевне Махиной (нечто среднее между добрым другом и домашней работницей) он позволил заходить в его комнату и даже убирать там, но без особого пыла. Он называет ее полковницей и ведет с ней беседы на литературные темы. Бедная Любовь Алексеевна всей душой предана ему и Вере Николаевне. Сил у нее маловато, и поэтому после ее ухода остаются только «островки чистоты».

Есть дни, когда Иван Алексеевич никого к себе не допускает и разговаривать с ним можно только через закрытую дверь. Не помогают уверения в любви и преданности. «Меня нельзя любить, — говорит Иван Алексеевич. — Я отвратительный больной старик. Не притворяйтесь, вы любите не меня, а Нобелевского лауреата».

Иногда, по собственному желанию, Иван Алексеевич выходит и ложится на кушетку в столовой. ‹…› «Посидите с ним», — говорит Вера Николаевна. Она полна любви без какого бы то ни было оттенка жертвенности. Бунин загорается. Он начинает ругательски ругать одного старого писателя за его вычуры и пристрастие к словарю Даля. По его словам, это притворщик и все, что он пишет, — фальшивка. Бунин явно несправедлив к нему, но в его выпадах столько негодования, что невольно

склоняешься перед ними. Главное, Бунин будет жить. Не представляю себе, чтобы медленно угасающий человек был исполнен такого страстного неприятия [43, 352].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Не только бедность и постаренье И. А. вызывали жалость. В нем в ту пору остро чувствовался непреодолимый страх смерти — и если был на свете человек, томящийся о бессмертии, то это был Бунин. Все естество его противилось тлену и исчезновению. С такой же яростью, с которой он ощущал жизнь, земные радости и цветенье, предчувствовал и понимал он и тленье. Не было в Бунине мудрости и пресыщенности Соломона, но жила в нем память о конце всего существующего, память Экклезиаста [10, 211].

Андрей Седых:

Видно было, что разговор его утомлял и, кажется, впервые Иван Алексеевич ни разу не улыбнулся, никого не изобразил, ни над кем не пошутил. Не до того ему было! Все же я быстро убедился. что при ужасающей физической слабости, при почти полной беспомощности голова его работала превосходно, мысли были свежие, острые, злые… Зол он был на весь свет — сердился на свою старость, на болезнь, на безденежье, — ему казалось, что все хотят его оскорбить и что он окружен врагами. Поразила меня фраза, брошенная им вдруг, без всякой связи с предыдущим.

— Вот, я скоро умру, — сказал он, понизив голос почти до шепота, — и вы увидите: Вера Николаевна напишет заново «Жизнь Арсеньева»…

Мне показалось сначала, что он шутит. Нет. Бунин не шутил, смотрел испытующе, не спускал с меня пристальных глаз и, как всегда бывало с ним в минуты душевного расстройства, словно отвечая на свои собственные мысли, сказал:

— Так… так…

Понял я его много позже, когда уже после смерти мужа Вера Николаевна выпустила свою книгу «Жизнь Бунина» [43, 216].

Владимир Михайлович Зернов:

Он страдал эмфиземой и склерозом легких и прогрессивным ослаблением сердечной деятельности. Постепенно здоровье его слабело. Первое время я заставал его еще передвигающимся по комнатам его скромной квартиры, но довольно скоро, все чаще и чаще я видел его лежащим в кровати. «Вот вы еще молодой, — говорил Иван Алексеевич, — вы полны жизни, вы не можете понять, что значит быть больным и старым. Раньше для меня все

было нипочем, а теперь добраться от кровати до стола для меня настоящее событие». Но несмотря на свою болезнь, на слабость, Иван Алексеевич до последних дней своей жизни сохранил свой острый ум, память, резкость и меткость суждений, которые часто таили в себе некую желчность и даже озлобленность. Но наряду с этим у него было много сердечности и горячего отношения к окружающим. Скажу, что он был озлобленным, но не злым [32, 360].

Георгий Викторович Адамович. *Из письма М. Алданову. 22 декабря 1952 г.*[19]*:*

Вчера был у Буниных. Иван Алексеевич — лучше, чем был осенью, и при мне сделал надпись на портрете Горького в какой-то книге: «Полотер, вор, убийца». Так что все в порядке. Сейчас его главный враг — Зин. Гиппиус, не знаю почему. Вы знаете, что я его очень люблю и чувствителен к его «шарму» и многому другому в нем. Но жаль все-таки, что к старости у него ничего лафайетско-дюммлеровского не осталось или, вернее, не появилось.

Федор Августович Степун:

Последний раз я видел Ивана Алексеевича незадолго до смерти. Это было страшно. Смерть уже явно молчала, дожидаясь, в нем. А он все еще жил в привычной для него жизненной суете. Зорко говорил о литературе и зло о товарищах-писателях [47].

Владимир Михайлович Зернов:

И больной, и умирающий, Иван Алексеевич страстно любил жизнь, ему хотелось жить, хотелось выздороветь, поправиться. Хотя болезнь его была хронической и длительной, но я чувствовал, что он ждал каждого моего посещения, ждал, что доктор принесет ему что-то, что поможет ему жить, вернуться к той жизни, которую он так любил. В этом ожидании было нетерпение, и почти каждый раз, когда я приходил к нему, он брал свою палку, всегда лежавшую около его кровати, стучал ею в стену, разделявшую его комнату и комнату его жены, чтобы этим позвать ее. Если же она не появлялась сразу, то он звал ее: «Вера, Вера, иди скорей, слушай, что будет говорить доктор». Но как только торопливо прибегала уже плохо слышавшая и плохо видевшая Вера Николаевна, готовая исполнить все что угодно для своего Яна, он нетерпеливо говорил: «Ну что ты пришла, оставь нас вдвоем с доктором и приходи потом».

Был ли Бунин трудным больным? Болезнь его была мучительной, с многочисленными осложнениями, переносил он

все терпеливо, без жалоб. В 1950 г. он подвергся хирургической операции и вынес ее стойко и мужественно, по-видимому страстно желая жить, но отдавая себе отчет, что жизнь приходит к концу и надежд на улучшение здоровья нет. Говорил об этом просто, как о неизбежном, ясно сознавая свое положение и не создавая себе иллюзий.

И свое материальное положение, и состояние своего здоровья он если и не принимал примиренно, то переносил мужественно, без излишних жалоб и малодушия. Незадолго до своей смерти он говорил мне, что со смертью нельзя примириться: «Разве можно примириться, что мое тело скоро будут есть черви, вот этого я принять не могу». Принять не мог, но говорил об этом спокойно, может быть, с некоторым раздражением, как говорил о плохо написанном литературном произведении [32, 361].

Надежда Александровна Тэффи *(урожд. Лохвицкая, 1872–1952), прозаик, поэт, драматург:*

Несколько дней тому назад навестила Бунина. У него вид лучше, чем был на юбилее. С аппетитом поговорили о смерти. Он хочет сжигаться, а я отговаривала [6, 243].

Иван Алексеевич Бунин. *Последняя запись:*

2 мая 53 г. Это все таки поразительно до столбняка! Через некоторое очень малое время меня не будет — и дела и судьбы всего, всего будут мне неизвестны! И я приобщусь к Финикову, Роговскому, Шмелеву, Пантелеймонову!.. И я только тупо, умом стараюсь изумиться, устрашиться! [55, 406]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из письма А. Седых. 13 ноября 1953 г.:*

А теперь сообщу вам ‹…› о последнем месяце жизни дорогого ушедшего.

В середине октября он заболел воспалением левого легкого. Конечно пенициллин и все прочее, и температура скоро стала нормальной, но после этого он все никак не мог поправиться, — очень был слаб и совсем не покидал постели. Доктор Зернов ездил через день, а во время болезни ежедневно. В конце октября ‹…› последний раз Ян вышел в столовую. После был сделан анализ крови ‹…›: 50 процентов гемоглобина ‹…› От переливания крови он отказался категорически: «Не хочу чужой крови…» Стали энергично лечить. Но тут опять беда: не принимает лекарств и ест очень мало ‹…› хотя все готовилось, что он любил. Голова его была прежняя. ‹…›

Это была суббота (последний день. — *Сост.*), день, когда я

отлучалась из дома на три часа, уезжая в клинику к Л. Ф. Зурову. Обычно дома оставалась Л. А. Махина, наш друг и помощница, но на этот раз я попросила А. В. Бахраха прийти к нам ‹…› и посидеть или с Яном, или рядом в столовой, если он его не примет ‹…›

Вернувшись, я не застала Бахраха, у него было какое-то дело в 5 ч. И. А. сидел. Я помогла ему лечь. ‹…› Скоро он попросил, чтобы я позвонила Зернову и попросила его приехать опять. ‹…› Я сосчитала пульс — около ста и как ниточка. Позвонила Зернову, он обещал приехать. Дала камфары. Уговаривала пообедать, но от еды, даже от груши, он отказался.

В субботу всегда приходит к нам кто-нибудь из друзей. На этот раз была только Н. И. Кульман, но Ян не мог ее принять — задыхался. Около девяти часов приехал В. М., впрыснул в вену ‹…› джебаин. ‹…› У лифта он мне сказал, что пульс очень слабый, дыхание плохое.

Около десяти часов мы остались вдвоем. Он попросил меня почитать письма Чехова, мы вторично прочитывали их, и он говорил, что нужно отметить. ‹…› Дочитала до письма к В. Н. Ладыженскому 4 февраля 1899 года. И Ян сказал: «Ну довольно: устал». — «Ты хочешь, чтобы я с тобой легла?» — «Да…» Я пошла раздеваться, накинула легкий халатик. — Он стал звонить. «Что ты так долго». Но ведь нужно и умыться, и кой-что было сделать в кухне. Затем, это было 12 часов, я, вытянувшись в струнку, легла на его узкое ложе. Руки его были холодные, я стала их согревать, и мы скоро заснули. Вдруг я почувствовала, что он приподнялся, я спросила, что с ним. «Задыхаюсь», «нет пульса… Дай солюкамфр». Я встала и накапала двадцать капель… «Ты спал?» — «Мало. Дремал»… «Мне очень нехорошо». И он все отхаркивался. «Дай я спущу ноги». Я помогла ему. Он сел на кровать. И через минуту я увидала, что его голова склоняется на его руку. Глаза закрыты, рот открыт. Я говорю ему — «возьми меня за шею и приподнимись, и я помогу тебе лечь», но он молчит и недвижим… Конечно, в этот момент он ушел от меня… Но я этого не поняла и стала умолять, настаивать, чтобы он взял меня за шею. Попробовала его приподнять, он оказался тяжелым. И в этот момент я не поняла, что его уже нет. Думала, обморок. Я ведь в первый раз в жизни присутствовала при смерти. Кинулась к телефону, перенесла его в кабинет. Телефон оказался мертвым. Тогда я побежала на седьмой этаж к нашему близкому знакомому… Стучу и громким шепотом умоляю: «Николай Иванович, кажется, Иван Алексеевич умирает…» Он вышел в халате и сказал, что сейчас придет. Я опрометью кинулась к себе. Ян был в той же позе. Взяла телефон, не реагирует… В это время

вошел Н. И. Введенский, и мы подняли и положили Ивана Алексеевича на постель. Но и тут мне еще не приходило в голову, что все кончено. Я кинулась к Б. С. Нилус, которая живет напротив нас. Мне было неприятно беспокоить ее, так как она сама нездорова, но я все же позвонила. Она сейчас же проснулась, и я кинулась к телефону, но телефон не работал. ‹…› Телефон вдруг очнулся, и я позвонила: «Владимир Михайлович, вы необходимы!» — «Сейчас приеду». Живет он далеко. Нужно было одеться, дойти до гаража, взять машину. В это время пришла Б. С. Нилус: и мы стали греть его холодные руки и ноги. У меня уже почти не было надежды, но Б. С. все повторяла: «Он теплый, спина, живот, только руки, руки холодные…» Вскипятили воду и клали мешки к конечностям. Дверь входная была открыта. Мы как раз вышли в столовую, и я увидала входящего бледного, с испуганными глазами Зернова. Он прошел прямо к И. А. Я осталась, не знаю почему, стоять в столовой. Через минуту он вышел к нам: «Все кончено…» Я пошла к постели. «А вы прикладывали зеркало?..» — «Не стоит…»

Мы вышли в столовую, сели вокруг стола. Это были очень жуткие минуты. Я сказала: «Дайте мне собраться с силами», — и мы минуты три молчали. Я вспомнила слова Яна, когда он говорил мне о своей смерти: «Главное, ты не растеривайся, помни, где мое завещание, как меня хоронить…» Он хотел, чтобы его сожгли, но сделал мне уступку. И, собрав все свои силы, я сказала: «Что же нам теперь делать?» Было три часа ночи. Зернов сказал, что он может закостенеть, и предложил его одеть. И мы принялись за работу. Я, конечно, меньше делала, чем Вл. Мих. и Берта Соломоновна. Я обтерла его одеколоном. Затем стали обряжать его. Все самое новое. Пришлось открыть черный «нобелевский» сундук, где хранились его костюмы.

Я прочла его завещание: чтобы лицо его было закрыто, «никто не должен видеть моего смертного безобразия», никаких фотографий, никаких масок ни с лица, ни с руки; цинковый гроб (он все боялся, что змея заползет ему в череп) и поставить в склеп. И, слава Богу, все было, как он хотел, за исключением того, что служба была торжественная… Мы вытащили его диван в столовую, поставили на место моего, покрыли белой простыней, и когда переложили тело, уже одетое, на эту его постель, то, скрестив руки, я вложила деревянный маленький крестик в руку и закрыла его лицо. Кроме нас трех, видели его еще трое, когда положили в гроб. Последние дни лицо его было прекрасным. Я неоднократно прощалась с ним и была счастлива, что из-за праздника его оставили лишний день дома. Панихиды бывали ежедневно в половине седьмого вечера. Народу перебывало

много. С каждым днем цветов было все больше и больше. В воскресенье посланы были телеграммы и письма, вам, Алданову, Адамовичу, моим близким друзьям. В этот день я спала один час: уезжая, Зернов мне что-то впрыснул в руку. ‹…› С восьми часов я стала звонить по телефону. Первым позвонила Струве [Алексею Петровичу], так как у них уже был опыт с похоронами. И младший сын Алексея Петровича быстро ко мне приехал и очень помог [6, 243–250].

Владимир Михайлович Зернов:

Вечером 8 ноября 1953 г. меня вызвали по телефону к Бунину. Он задыхался, сердце слабело, приближался конец. Я сделал необходимые впрыскивания, успокоил больного и Веру Николаевну, обещав приехать, если нужно, попозже. Ночью меня вызвали снова. Когда я приехал, то Бунина уже не было в живых.

По его желанию, его верная Вера Николаевна закрыла его лицо платком, он не хотел, чтобы кто бы то ни было видел его лицо после смерти. Для меня она приоткрыла платок с лица покойника, и я в последний раз увидел красивое лицо, ставшее вдруг чужим и спокойным, точно он что-то увидел, что разрешило ему ту загадку смерти, которая мучила его в жизни.

Я помог привести в порядок тело и перенести его в другую комнату. Шею покойного Вера Николаевна повязала шарфиком. «Я знаю, — сказала она, — ему было бы приятно, этот шарфик ему подарила…», — и она назвала женское имя… [32, 362]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из письма А. Седых. 13 ноября 1953 г.:*

Во вторник было положение во гроб. В четверг похороны. Половина девятого приехали за гробом. Мы в немногочисленном числе его сопровождали. ‹…› Служили владыка Сильвестр, отец Григорий Ломако, отец Александр Чекан, отец Антониз Карпенко и отец Димитрий Василькиоти. Все было очень торжественно при полном освещении. Хор пел необыкновенно хорошо. Все говорят, что такого отпевания никогда еще не было и по какому-то особенному настроению, и по сосредоточенности, и по сдержанному горю, хотя многие плакали. Увы, я плакать не могу, подступают слезы, глаза делаются влажными, и все. ‹…› Много народу ко мне подошло, вероятно, прощание заняло около получаса. Затем гроб вынесли на руках. ‹…› Со мной везли гроб самые близкие: моя племянница, наша Олечка, которая зовет И. А. «Ваней», ее мать, Л. А. Махина, Н. Ф. Любченко, М. А. Каллаш, Т. Ф. Ляшетицкая, Т. И. Алексинская. Мои родные, жена Шестова и ее дочь Баранова с мужем ехали в своей машине,

был и большой автобус переполненный и собственные машины.

Много было жерб[20]. ‹…›

День был чудесный и, когда мы ехали уже мимо лесов, то все вспоминалось: «Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный…» — и меня как-то успокаивало, что это осенью в такой солнечный день, какой он особенно любил.

На кладбище ‹…› пошли к нашей могиле. Она вблизи Тэффи и других друзей и знакомых. На могилу Тэффи положили цветы от Ивана Алексеевича.

Возвращались с Конюс на их машине. По дороге мы купили кое-что для еды ‹…› Все принялись за работу, вымели пол, накрыли стол ‹…› и когда все было готово, то стали говорить о нем. ‹…› Настроение было печально-радостное, пишу радостное потому, что опять царствовала любовь к нему и чувствовалось общее горе. ‹…› Часам к десяти все разошлись, и я осталась одна [6, 249–251].

Леонид Федорович Зуров:

30 января (1954 г. — Сост.), на восходе солнца, перенесли тело Ивана Алексеевича из временного склепа в постоянный (временный склеп находился недалеко от кладбищенских ворот. В нем стоял, дожидаясь погребения, — среди других гробов, — гроб Ивана Алексеевича. ‹…› Мы с Верой Николаевной выехали в это морозное утро из спящего еще Парижа с Конюсами в Сен-Женевьев-де-Буа. Поля были под снегом. Во время панихиды перед поднятием гроба солнце выходило из-за леса. Снег розовел. Служба была строгая, напоминающая зимнее фронтовое погребение. Бенуа построил там псковскую церковь с звонницей. Когда гроб понесли к могиле, перезванивали маленькие колокола. А гроб был за сургучными печатями. ‹…› Мороз был жестокий. Нам подали на лопате землю, она смерзлась комками. Провожало Ивана Алексеевича к могиле всего одиннадцать человек (кладбищенский священник, Вера Николаевна, Татьяна Сергеевна Конюс, князь Голицын с женой, Л. Ф. Зуров, четыре певчих. На кладбище находился полицейский комиссар, а гроб несли четыре служащих из бюро погребальных процессий). Утро было суровое, на дорогах гололедица, надо было встать в шесть часов утра (таковы французские правила: тело переносят всегда утром до девяти часов в присутствии полицейской власти). Вера Николаевна очень страдала. Это погребение она перенесла тяжелее торжественного отпевания Ивана Алексеевича осенью на рю Дарю [6, 300].

Краткая летопись жизни и творчества И. А. Бунина

1870, 10(22) октября. В Воронеже в семье орловского дворянина Алексея Николаевича Бунина и Людмилы Александровны Буниной (урожд. княгини Чубаровой) родился сын Иван.

1874. Переезд семьи Буниных в поместье — на хутор Бутырки Предтечевской волости Елецкого уезда Орловского губернии.

1877. С детства пробует себя в стихосложении.

1881. Бунин поступил в гимназию г. Ельца.

1886. Отчислен из гимназии. Живет в родовом имении Озёрки, где его обучает брат Юлий.

1887, 22 февраля. Первая стихотворная публикация (стихотворение «Над могилой Надсона» в петербургской газете «Родина»).

1889. Едет в Харьков к брату Юлию.

1889, осень. Переезжает в Орел, где работает журналистом в «Орловском вестнике». Знакомится с Варварой Владимировной Пащенко.

1991. Выходит книга «Стихотворения. 1887–1891» (в качестве приложения к «Орловскому вестнику»).

1892. Переезд с В. Пащенко в Полтаву. Служит в управе. Публикует первые рассказы.

1893–1894. Увлекается идеями Л. Толстого, встречается с ним в Москве. Путешествует с братом Юлием по Малороссии. Арестован за распространение толстовской литературы. Амнистирован.

1894. Разрыв отношений с В. Пащенко.

1896. Выходит выполненный Буниным перевод «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло.

1897. В Санкт-Петербурге опубликован сборник рассказов Бунина «На край света».

1898. Выходит поэтический сборник «Под открытым небом» (Москва). Бунин знакомится в Одессе с Анной Николаевной Цакни и вступает с ней в брак.

1899. В Ялте знакомится с М. Горьким, с которым Бунина связывали дружеские отношения до осени 1917-го.

1900. Рождение сына Николая. Развод с А. Цакни. Знакомство в Ялте с С. В. Рахманиновым, дружбу с которым Бунин поддерживал в течение всей жизни. Написан рассказ «Антоновские яблоки». Совершает путешествие в Европу

(Германия, Франция, Швейцария).

1901. В издательстве «Скорпион» в Москве выходит поэтический сборник «Листопад».

1903. Присуждение Бунину Пушкинской премии Российской Академии наук за сборник «Листопад» и «Песнь о Гайавате».

1903–1904. Путешествует по Европе, посещает Константинополь.

1904. Совершает поездку на Кавказ. Работает редактором беллетристики в журнале «Правда», а затем в журнале «Северное сияние».

1905. Смерть сына Николая.

1906. Знакомство с Верой Николаевной Муромцевой.

1907. Поездка с В. Муромцевой-Буниной в Египет, Сирию и Палестину.

1909. Тесное общение с литературным кругом М. Горького.

1902–1909. В издательстве «Знание» выходит пятитомное собрание сочинений Бунина.

1909. Присуждение второй Пушкинской премии. Бунина избирают почетным академиком.

1910. Выходит повесть «Деревня».

1910–1911. Бунин путешествует по Европе, заезжает к М. Горькому на Капри. Вместе с В. Муромцевой-Буниной едет в Алжир, Египет и на Цейлон.

1912. Опубликована повесть «Суходол», под тем же названием выходит сборник повестей и рассказов. Избран членом Общества любителей российской словесности при Московском университете; до 1920 был товарищем председателя или временным председателем общества.

1912–1914. Принимает деятельное участие в работе «Книгоиздательства писателей в Москве».

1913, лето. Вместе с братом Юлием путешествует по югу, посещает Батум, Трапезунд, Константинополь, Констанц, Бухарест и Кишинев. Опубликован сборник «Иоанн Рыдалец. Рассказы и стихи 1912–1913 гг.» (Москва).

1914, лето. Совершает путешествие по Волге.

1915. В издательстве А. Ф. Маркса выходит шеститомное собрания сочинений Бунина. Выходит сборник «Чаша жизни. Рассказы 1913–1914 гг.» (М.).

1916. Выходит сборник «Господин из Сан-Франциско. Произведения 1915–1916 гг.» (М.).

1917. Бунин делает заметки, осмысливая происходящие перемены; позднее это составит книгу «Окаянные дни».

1918, 21 мая. Бунины уезжают из Москвы в Одессу.

1920, 26 января. Отплытие из Одессы в Константинополь.

Затем через Турцию и Болгарию Бунины перебираются во Францию.

1922. Поселяются в городе Грасс, близ Ниццы. Вера Николаевна Муромцева-Бунина становится официальной женой писателя.

1924. Выходит сборник рассказов «Роза Иерихона» (Берлин).

1925. Выходит повесть «Митина любовь» (Париж).

1927. Опубликован сборник рассказов «Солнечный удар» (Париж). Знакомство с Галиной Николаевной Кузнецовой.

1927–1933. Бунин работает над романом «Жизнь Арсеньева» (Первое издание — Париж, 1930; полное издание — Нью-Йорк, 1952).

1929. Публикуется книга «Избранные стихи» (Париж).

1931. Выходит сборник прозы «Божье древо» (Париж).

1933. Присуждение Бунину Нобелевской премии по литературе «за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер». Поездка в Стокгольм на церемонию вручения Нобелевской премии.

1934. Выход собрания сочинений писателя в одиннадцати томах в Берлине.

1937. В Париже издана книга Бунина «Оправдание Толстого».

1940. Оккупация Франции немецкими войсками. Попытки Буниных бежать из Грасса не увенчались успехом.

1943. В Нью-Йорке опубликованы «Темные аллеи».

1945. Переезд из Грасса в Париж. Бунин отказывается от предложения вернуться на родину.

1946. Полное издание книги рассказов «Темные аллеи» на русском языке в Париже.

1947. Ухудшение состояния здоровья. Бунин лечится в Жуан-лэ-Пэне.

1950. Публикация книги «Воспоминаний».

1953, 8 ноября. Бунин скончался в Париже. После отпевания гроб с телом Бунина установлен во временном склепе.

1954, 30 января. Перенос тела Бунина из временного склепа и захоронение в могиле на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Библиография

Тексты цитируются по следующим источникам с указанием порядкового номера по списку и страницы:

1. *Адамович Г. В.* [Памяти В. Н. Буниной] //Рус. мысль, Париж, 1961, № 1666, 8 апреля.

2. *Адамович Г. В.* Письма А. В. Бахраху (1966–1968) // Новый журнал, 2002. № 228.

3. *Адамович Г. В.* Сомнения и надежды. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

4. *Алданов М.* О Бунине // Новый журнал. 1953. № 35.

5. *Бабореко А. К.* Дороги и звоны: Воспоминания. Письма. М.: Московский рабочий, 1993.

6. *Бабореко А. К.* И. А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). М.: Худож. лит., 1967.

7. *Бабореко А. К.* И. А. Бунин на Капри // В большой семье. Проза. Стихи. Литературная критика. Смоленск: Смоленское книж. изд-во, 1960.

8. *Бахрах А. В.* Бунин в халате и другие портреты. По памяти, по записям. М.: Вагриус, 2005.

9. *Белый Андрей.* Начало века. / Подгот. текста и коммент. А. В. Лаврова. М.: Худож. лит., 1990.

10. *Берберова Н. Н.* Курсив мой: Автобиография. М.: Согласие, 1996.

11. *Бунин И. А.* Воды многие // Бунин И. А. Собр. соч.: В 8 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А. К. Бабореко. М.: Моск. рабочий, 2000. Т. 5.

12. *Бунин И. А.* Воспоминания. Париж: Возрождение. 1950.

13. *Бунин И. А.* Дневники // Бунин И. А. Собр. соч.: В 8 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А. К. Бабореко. М.: Моск. рабочий, 2000. Т. 8.

14. *Бунин И. А.* Жизнь Арсеньева // Бунин И. А. Собр. соч.: В 4 т. М.: Правда, 1988. Т. 3.

15. *Бунин И. А.* Записи // Новый журнал. Нью-Йорк, 1965. Кн. 80.

16. *Бунин И. А.* «Не до любви теперь людям…» [Письма] / Публ. Ж. Шерона // Дружба народов, 2005. № 1.

17. *Бунин И. А.* Окаянные дни. М.: Эксмо, 2007.

18. *Бунин И. А.* Письма 1885–1904 гг. / Под ред. О. Н. Михайлова. М.: ИМЛИ РАН, 2003.

19. И. А. Бунин: pro et contra / Сост. Б. В. Аверин, Д. Риникер, К. В. Степанов. СПб.: Изд-во Русского Христианского

гуманитарного института. 2001.

20. *Вересаев В. В.* Литературные портреты. М.: Республика, 2000.

21. *Зайцев Б. К.* Две Веры // Зайцев Б. К. Золотой узор: Роман, повести. М.: Интерпринт, 1991.

22. *Зайцев Б. К.* Дни. Париж; М.: YMKA-PRESS; Русский путь, 1995.

23. *Зайцев Б. К.* Улица Святого Николая: Повести и рассказы. М.: Худож. лит., 1989.

24. Здесь бывал Бунин: Выдержки из воспоминаний Л. В. Рышковой-Колбасниковой // Новый журнал. 1965. Кн. 81.

25. Встречи. 1999. № 1/2.

26. *Катаев В. П.* Трава забвения. М.: Дет. лит., 1967.

27. *Крымов В. П.* О Бунине // Москва, 1998. № 4.

28. *Кузнецова Г. Н.* Грасский дневник. М.: Моск. рабочий, 1995.

29. *Кузнецова Г.* [К 100-летию И. А. Бунина] // Новое русское слово. 1970.

30. *Лавров В.* «Высоко нес я стяг любви…»: И. А. Бунин: Письма, дневники, воспоминания. Новые материалы // Москва. 1986. № 6.

31. Литературное наследство. Т. 84. [Иван Бунин]. М.: Наука, 1973. Кн. 1.

32. Литературное наследство. Т. 84. [Иван Бунин]. М.: Наука, 1973. Кн. 2.

33. *Любимов Н. В.* Неувядаемый цвет: В 2 т. М.: Языки славянской культуры, 2004. Т. 2.

34. *Мальцев Ю.* Иван Бунин: 1879–1953. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1994.

35. *Муромцева-Бунина В. Н.* Жизнь Бунина: 1870–1906. Беседы с памятью. М.: Сов. писатель, 1989.

36. О Ф. И. Шаляпине, И. А. Бунине, К. Д. Бальмонте… (Из «Парижских воспоминаний» А. П. Ладинского) / Публ. Е. Ю. Филькиной // Встречи с прошлым. Вып. 6. М.: Сов. Россия, 1988.

37. *Одоевцева И. В.* На берегах Сены. М.: Худож. лит., 1989.

38. Письма И. А. Бунина // На родной земле. Литературно-художественный сборник. Орел: Орловское книжн. изд-во, 1958.

39. Письма русских литераторов А. П. Бурову // Встречи с прошлым. М.: РОССПЭН, 2004. Вып. 10.

40. *Рощин Н. Я.* Воспоминания о Бунине и Куприне / Публ. Л. Голубевой // Вопр. лит. 1981. № 6. С. 158–177.

41. *Рышков В. В.* Рядом с Буниным: Воспоминания // Москва. 2003. № 12.

42. *Саакянц А.* Только ли о Марине Цветаевой? М.: Аграф, 2002.

43. *Седых А.* Далекие, близкие: Воспоминания. М.: Захаров, 2003.

44. *Седых А.* [О Бунине] // Новое русское слово. Нью-Йорк. 1933. 28 ноября.

45. *Смоленский В. А.* «О гибели страны единственной…» М.: Русский путь, 2001.

46. *Сосинский В. Б.* Второе письмо о «Воле России». Москва, 25 октября 1972. Б. А. Слуцкому // Встречи с прошлым. М.: РОССПЭН, 2004. Вып. 10.

47. *Степун Ф. А.* Встречи и размышления. Лондон: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992.

48. *Степун Ф. А.* Портреты. СПб: Изд-во Русского христианского гуманитарного ин-та, 1999.

49. *Степун Ф. А.* Русские письма // Вестник Европы. 2001. № 3.

50. *Струве Н. А.* Православие и культура. М.: Христианское издательство, 1992.

51. *Струве Н. А.* Иван Бунин: поэт в прозе и… прозаик в поэзии // Студенческий меридиан. 2002. № 1.

52. *Телешов Н.* Записки писателя. М.: Моск. рабочий, 1966.

53. *Ум-эль-Банин.* Желчь и мед: Последний поединок Ивана Бунина // Литературный Азербайджан. Баку, 1988. № 9.

54. Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / Под редакцией М. Грин. В 2 т. М.: Посев, 2004. Т. 1.

55. Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / Под редакцией М. Грин. В 2 т. М.: Посев, 2005. Т. 2.

56. *Чуковский К. И.* Дневник 1901–1929. М.: Сов. писатель, 1991.

57. *Шаховская З. А.* Бунин // Шаховская З. А. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991.

58. «Этому человеку я верю больше всех на земле»: Переписка Бунина и Алданова / Публ. А. Чернышева // Октябрь. 1996. № 3.

59. *Яновский В. С.* Поля Елисейские: Книга памяти // Яновский В. С. Собр. соч.: В 2 т. М.: Гудьял-Пресс, 2000. Т. 2.

notes

Сноски

1

O rus!.. О Русь! Hor. (лат.) — О деревня!.. Гораций.

2

«Возвеличивающее множественное число» *(лат.)*.

3

«Жить с самим собой» *(фр.)*.

4

Бунин о себе и своем творчестве. Архивные материалы. Публикация М. Грин // Новый журнал. Нью-Йорк. 1972. № 107. С. 168.

5

Соответствует русскому «синий вагон» *(фр.)*.

6

Бунин о себе и своем творчестве… С. 163.

«Происхождение обязывает» *(фр.)*.

8

В лицо (*искаж. фр.* dans le visage).

9

«Иван Бунин, бессмертный» (фр.). Так называют членов Французской Академии. — *Сост.*

10

Друг президента *(фр.)*.

11

Бунин И. А. Конец // Бунин И. А. Собр. соч.: В 8 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А. К. Бабореко. М.: Московский рабочий, 2000. Т. 4. С. 328–334.

12

Русский изгнанник *(фр.)*.

13

Домработница *(фр.)*.

14

«Ваш муж — лауреат Нобелевской премии, мы хотели бы поговорить с мсье Буниным» *(фр.)*.

15

«Мой муж вышел, не более чем через полчаса возвратится» *(фр.)*.

16

Господин Бунин вернется через каких-нибудь пятнадцать минут *(фр.)*.

17

Изгнание *(фр.)*.

18

Визит вежливости *(фр.)*.

19

«Приблизиться к русскому идеалу искусства…»: Из литературной переписки М. А. Алданова / Публ. А. А. Чернышева // Октябрь. 1998. № 6.

Венков *(фр.)*.